Алексей Яшин

АКАДЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»

Алексей Яшин

СТРАНА ХОЛОДА (2):
ПОД ОПЕКОЙ АРКТОГЕИ

Повесть

Москва
Академия российской литературы
«Новые Витражи»
2021

ББК 84 Р7(Рос.—Рус.)
УДК 882
Я 96

Алексей Яшин. Страна холода (2): Под опекой Арктогеи: Повесть (одиннадцатая книга рассказов Николая Андреяновича): Академия российской литературы.— Москва: «Новые Витражи», 2021.— 409 с., ил. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

ISBN 978-5-6045542-5-8

Десять лет назад в издательстве «Московский Парнас» с предисловием тогдашнего вице-президента Академии российской литературы (ныне Почетного президента) Леонида Васильевича Ханбекова вышла наша повесть «Страна холода (Детство в Гипербореях)», в которой автор обращается к раннему детству своего героя, только-только начинающего осознавать себя частью неведомого пока, огромного мира, даже если этот мир вмещается в крохотный островок в Кольском заливе с десятком его насельников. И вот следующая повесть в том же ключе, но уже с вступающим в пору отрочества Николкой, будущим Николаем Андреяновичем, литературным *alter ego* автора. Остров проживания тоже другой: Большой Олений, в трех километрах от Полярного, с названием которого неразрывно связана вся история Краснознаменного Северного флота: от создания царской еще Флотилии Ледовитого океана до подвигов подводников и катерников в Великую Отечественную войну, а далее — самый мощный, океанский военно-морской флот СССР. Побольше прежнего новый остров проживания, но все одно невелик. Но помножьте эту невеликость на необычность «малой родины» Николки: самое что ни на есть Заполярье с великолепными, суровыми красотами здешнего лета и зимы, северных сияний. Голые скалы, шторма и многомесячные туманы, полярные дни и ночи... Из окна маячного дома Николка, как обычное, видит стаи резвящихся касаток, а на траверсе Большого Оленьего приветствуют друг друга гудками идущие встречными курсами трудяга «Ермак», спроектированный адмиралом С.О. Макаровым, и первый атомный ледокол «Ленин». Старина и новь, первозданная дикая природа и энергичная людская деятельность — таков ландшафт отрочества Николки. А на иной уже взрослый Николай Андреянович даже и в мыслях не поменял бы... Пока же отрок Николка растет и воспитывается морем и людьми под опекой Арктогеи — богини Севера.

Иллюстрации в тексте и обложка Н. Н. Каразина из книги «Страна холода» В. И. Немировича-Данченко (1877 г.)

© Яшин Алексей Афанасьевич, текст, 2021
© Яшин Алексей Афанасьевич,
художественное оформление, 2021

ПЕРВОКЛАССНИКАМ КОСТЕ И ВАНЕ ЯШИНЫМ

Современный вид Города воинской славы Полярного: северо-западный выход из Екатерининской гавани; на заднем плане остров Екатерининский, на переднем — здание, в котором в 1930—1950-е гг. располагался главный штаб Северного флота СССР.

Фото А. Ямаш из комплекта открыток
«Полярный — колыбель Северного флота»

ОТ АВТОРА

Как, несомненно, обратит внимание читатель, книга иллюстрирована одним из самых замечательных художников XIX века, работавших в этом жанре. Приведем его краткую творческую биографию из «Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона»: «Николай Николаевич Каразин (1842—1908 гг.), художник-этнограф, иллюстратор и писатель, один из учредителей «Общества русских акварелистов». Сюжеты иллюстраций Каразина —

типы и сцены из среднеазиатской жизни*, военные сцены и пр. Романы и повести: «Двуногий волк», «В камышах», «На далеких окраинах» и др.».

Воспроизводимые ниже иллюстрации Н. Н. Каразина взяты нами из книги «Страна холода» (издана в 1877 году); также приведем из словаря Брокгауза — Ефрона биографическую справку об авторе этой замечательной книги: «Василий Иванович Немирович-Данченко (1848—1936), писатель. Увлекательно написаны путевые очерки: «Соловки», «Кама и Урал», «Очерки Испании», «Год войны» (собрание корреспонденций с театра войны 1877—78). Романы: «Плевна и Шипка», «Цари биржи» (1886), «Кулисы» (1886) и многие другие. Сборники рассказов: «Незаметные герои» (1889), «Семья богатырей», «Святочные рассказы» (1890)».

Полагаем, что приведенное выше напоминание не лишне, ибо сегодняшний читатель вряд ли что слышал о Каразине, а фамилию Немирович-Данченко ассоциирует исключительно с братом писателя — драматургом и совместным со Станиславским основателем и соруководителем МХАТ'а Владимиром Ивановичем (1858—1943). А вот в последней трети XIX — начале XX вв. их имена, как иллюстратора книг и писателя — причем оба выраженные этнографы — были известны всем читающим в России; как говорится, от семинаристов и гимназистов до царевых министров. Являясь корреспондентами ведущих русских журналов и газет, Немирович-Данченко и Каразин «из первых рук» знакомили Россию с событиями почти всех балканских и среднеазиатских войн империи названного периода отечественной истории.

...Купив в 1969 г. в тульской «Буккниге» (на этом месте сейчас площадь Ленина перед зданием

* «Ориенталистские» иллюстрации Н. Н. Каразина были использованы в нашей книге: «Без руля и без ветрил» (М.: «Московский Парнас», 2009).— Прим. авт.

администрации), удивительно богатой в те годы на книжные раритеты, книгу Немировича-Данченко с иллюстрациями Каразина, ахнул: ведь в точно такой же шестилетним разглядывал картинки у маячника Матронина, а брат Толька читал мне, тогда неграмотному, оттуда сказки из жизни местных лопарей; прочитал уже сам в один присест — и не удивительно: минуло всего три года, как наша семья уехала из Заполярья, а именно этим местам и посвящена «Страна холода». И пусть в год издания книги еще не были основаны города Романов-на-Мурмане и Александровск, ныне Мурманск, где я родился, и колыбель Северного флота Полярный, где я жил, но все в книге было предельно хорошо узнаваемо. И хотя герой уже нашей книги, все взрослеющий Николка, с радостным изумлением постигает открывшийся ему после беспамятных лет младенчества мир людей и предметов порой в самое теплое летнее время, но он постоянно держит в уме, что живет в Стране холода, где, по присказке, девять месяцев зима, остальное лето. Поэтому-то и названа — в продолжение литературных традиций — наша книга тоже «Страной холода». Главное — рос Николка в то прекрасное время, когда холод физический, атмосферный многократно перевешивался теплом добрых, хотя внешне и грубоватых, людей советской, русской Гипербореи.

Как и в предыдущей повести* о дошкольнике Николке, в этой книги мы также вставили в текст рисунки Н. Н. Каразина из «Страны холода». Несмотря на разницу в восемьдесят лет от создания их до отрочества Николки, не так уж разительно отличен быт маячников, а природа тех суровых мест изменений не претерпела...

Яшин А. А. Страна холода (Детство в Гипербореях): Повесть / Предисл. Л. В. Ханбекова.— М.: «Московский Парнас», 2009.— 351 с. (в электронной форме см. на сайте www.pz.tula.ru).— Прим. авт.

СТРАНА
ХОЛОДА.

ВИДѢННОЕ И СЛЫШАННОЕ.

В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО.

Бѣлое море. — Мурманъ и сѣверная Норвегія. — Лапландія. — Новая Земля. — Вайгачъ. — Племена глухаго угла.

СЪ 25 РИСУНКАМИ Н. Н. КАРАЗИНА.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Гостиный дворъ, №№ 13, 19 и 20.

МОСКВА.
Кузнецкій мостъ, домъ Третьякова.

1877.

Итак, в будущем, которое сестра прошлого, я, может быть, снова увижу себя сидящим здесь, как сейчас, но только глазами того, кем я буду тогда.

Джеймс Джойс «Улисс», часть II. Эпизод 9

Бревенчатые пирсы. Серый блеск
натянутого Кольского залива.
Мыс Мишуков. Желтеет редкий лес,
но выглядит он слишком неправдиво.

Виктор Тимофеев

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО, А МЫ ПОЙДЕМ С КОНЦА МАЯЧНОЙ ЖИЗНИ НИКОЛКИ

♦ С окончанием шестого класса завершилась и маячная жизнь Николки в череде Белокаменки, где он появился на свет, не отложившегося по младенчеству в голове Ретинского, далее уже осознанно памятных Палагубского и островных маяков Седловатого и Большого Оленьего. Понятно, что с началом школьного возраста девять месяцев в году пребывал он в Полярном, в интернате при школе. «Девять месяцев зима, остальное лето»,— как в присказке. Из этих «зимних» месяцев не более трех недель на каникулы приходится. Зато все лето — Николкин дом на маяке! Но и здесь поболее половины — на Большой земле в родительский отпуск, в отцовой калужской деревне Дворцы на реке Угре, как раз в том месте, где происходило «великое противостояние» войск Ивана Третьего с ордой хана Ахмета, что они на уроках истории проходили... Еще с дошкольных лет Николка твердо запомнил отцово разъяснение странного названия деревни: «Мы на левом, высоком берегу Угры, татары же на противоположном, пойменном, заливном. Коль скоро противостояние затя-

нулось на осеннюю непогодь, то для воевод и наезжавшего великого князя Ивана Васильевича — ты, Николка, будешь в школе учиться, не путай его с Иваном Грозным, тож Васильевичем,— и были срублены избы, благо сосновый лес от порога начинается, по статусу жильцов и поименованные дворцами. Ближние же от нас деревни Баскаково, Ярлыково — это все от татарских времен...»

Еще с весенних, мартовских каникул, что шестиклассник Николка с «третьеклассным» брательником Славкой и первоклашкой Сережкой, вестимо дело, проводили на Большом Оленьем, благо до города всего три километра — через Екатерининский же остров,— знал он твердое решение родителей покончить с хлопотным житьем-бытьем на маяках и перебраться в Полярный. С Николкой, конечно же, никто на этот счет не советовался, но на то и уши даны слышать разговоры отца с матерью. Секретничать же в семье и в заводе не было принято. По северным, маячным меркам тринадцатилетний парень по разумению — если не дурак, перед которым шапки не снимают, от рождения — уже не задает глупых вопросов по житейской части. И без родительских рассуждений понимал: когда все трое неоперившихся, как старшие Георгий и Толька, сыновей большую часть времени на отлете в Полярном, то и сама семья внешне и по сути смотрится этакой кривобокой... И смеху тут места нет, ибо чему посмеешься, тому и поработаешь. Именно неурядица с родительской работой и вовсе торопила с переездом в Полярный.

Кто только из знаемых Николкой взрослых не матерился в адрес Никиты Кукурузника! Женщины, но уже без матюков, роптали: дескать, своим Карибским кризисом едва не довел страну до атомной войны с Америкой. Даже в своих сетованиях друг дружке-подружке забывали опасения не столь уж и

далекого времени — это по части сказал бы словечко, да волк, что с ушками топориком и отменной памятью на кто что сказал, недалечко. Моряки, особенно офицерского состава, а вся жизнь Николки проходила в сугубых владениях Северного флота, по воинской дисциплине и ленинградскому воинскому воспитанию в ЛВВУПП* матерились беззвучно. И хотя собственно советский подводный флот в хрущевщину не пострадал, наоборот, приобрел еще Сталиным заложенный атомный статус, но моряки сочувствовали братишкам с надводных кораблей: в разгар холодной войны сокращать (без пенсий!) офицерский и ундерский состав, резать на металлолом, в лучшем случае отправляя в Лиепаю на консервацию, крейсера и репарационные германские и итальянские рейдеры, свертывать сталинскую же программу строительства океанского флота, линкоров и авианосцев... да все ли в порядке в башке этого колхозника?!

♦ Где та мышь, чтобы коту звонок привесила? — и далее сплошь уже на полную ярость озвученным матросским семиэтажным в адрес Кукурузника материлось все гражданское население заполярной Мурманской области после случившегося приезда Никиты на Кольский полуостров, особо на север его — в Мурманск. Нелегкая принесла его в Заполярье в самый разгар короткого северного лета, что природа дарует «ребятам семидесятой широты», извиняясь за «девять месяцев зимы», роскошным по незаходящему солнцу, зеркальной глади морской воды, полному безветрию, чистейшему воздуху с целебным ароматом йода и цветущей наскальной растительностью. Выступая перед мурманчанами, Ники-

* Ленинградское высшее военное училище подводного плавания — кузница кадров советских подводников, а Полярный — город подводников-североморцев.— Прим. авт.

та Сергеевич обиженно заявил, что-де я шубу с валенками захватил, а у вас здесь второй Крым! В народе поговаривают, что из толпы раздался умеренно нетрезвый голос острослова: «Ну так за чем дело стало? И присоединяй нас, вослед за Крымом, к своей Хохляндии!»

...Быль она и есть быль, болтать — не мешки ворочать, но в итоге дорого обошелся шестистам тысячам мурманских жителей высокопоставленный визит. Если раньше к зарплате прибавлялся сорокапроцентный поясной коэффициент и стопроцентная полярная надбавка, то последнюю разобиженный непристойно жарким летом на берегу Баренцева моря, то есть Арктики, Первый секретарь ЦК и Предсовмина срезал в два раза — до пятидесяти. Причем если прежде «полярка» для начинавшего работать в этом крае набегала по десяти процентов каждые полгода, то теперь — те же, но раз в год.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — Для маячников же вышло, правда, здесь скорее всего по совпадению, впрочем, все одно от усердия командования Северным флотом и руководства Главсевморпути (две мамки у маячников) на призыв Хрущева «не транжирить народные деньги», целых два Юрьева дня: сократить на маяках в два же раза число рабочих мест. То есть жены и матери таковых лишались. Другой работы на маяках нет. Посчитали — прослезились: семья в пять душ очутилась на одной, уменьшенной отцовой зарплате. Все бы ничего, можно как-то извернуться, ибо маячники приравнены к военнослужащим, пайковые кормовые им полагаются, а рыбы и летающей дичи в непуганых островных местах — не ленись только ловить и третьим номером дроби стрелять, опять же летом грибы и ягоды на зимний запас только ведрами и собираются, но... Вот это «но» Николка и без родительских разговоров прекрасно понимал. Все заполярные северяне ко-

пят деньги для последующего своего устройства, как принято говорить, в Средней полосе. Мало кто планирует всю свою жизнь, а детей в особенности, провести на кромке Арктики. А для их семьи с тремя учениками еще надо платить за их содержание в школьном интернате Полярного ежемесячно по триста (после реформы текущего года по тридцать) рублей за душу.

Только переезд в Полярный снимал денежные заботы и хлопоты с отца и матери, а Николке с братьями даровал нормальную, не «походную» жизнь в семье. Что другим само собою от рождения, то для Николки приходит через шесть лет жизни «в людях». Как у героев Горького, что они изучают в школе. «Все равно, какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила»*,— почему-то именно эта присказка из повторно перечитываемого в те *последние* интернатские весенние каникулы трехтомника рассказов и повестей любимого писателя, имевшегося в домашней библиотечке, запала в голову Николки — и в прямой связи с окончательным решением родителей перебраться в Полярный. А как быть с «нельзя ждать милостей от природы» все из той же школьной премудрости? — Подумав, Николка отложил ответ на последующие времена.

♦ Через пару недель после весенних каникул, вернувшись пополудни из школы в интернат, Николка переоделся в своей палате, так здесь именовались спальные комнаты для общежитейских возрастных групп, и зашел проведать в младшеклассной палате Сережку — первоклассники в школе все учились в первую смену, зная что третьеклассник Славка уже в школе во вторую. Сережка же явно портил себе аппетит перед обедом здоровенным куском пирога с палтусом, что выпекала закрытым и во весь

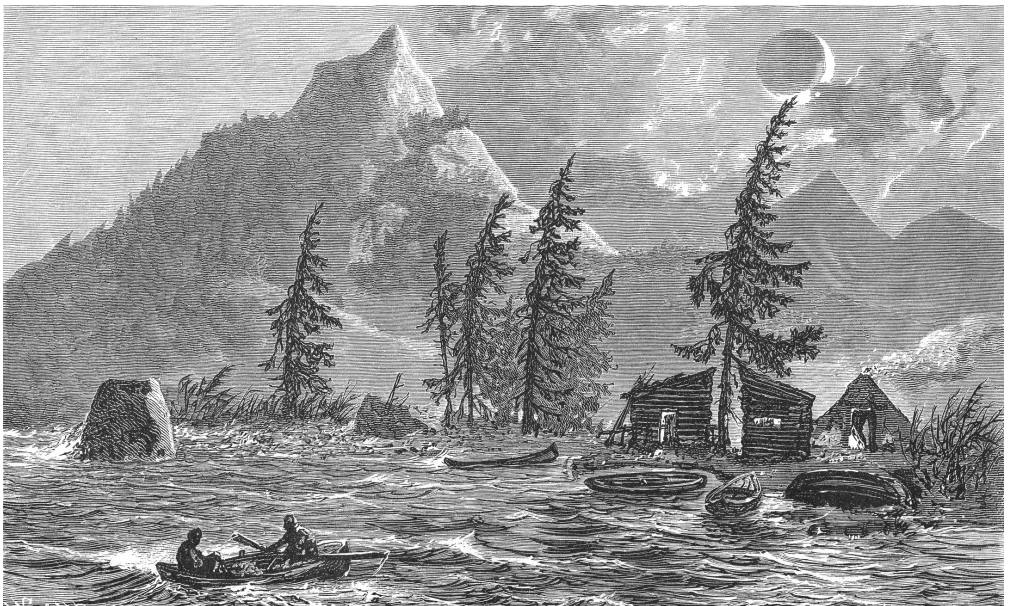
* Н. С. Лесков «Старый гений».— Прим. авт.

противень мать, которая сидела на табуретке возле младшего.

— А мы думали, что в субботу придешь, заберешь нас на выходной,— несколько удивился Николка приходам матери сегодня, во вторник. За годы проживания семьи на Большом Оленьем он попривык к приходу матери, в отличии от житья на Седловатом, когда и вовсе она приезжала на катере «аркашке» (от обозначения катера «РК — <номер такой-то>»), выделяемом Гидроотделом флота для развоза интернатовских школьников по маякам и военным «точкам» на зимние и летние каникулы, раз в учебную четверть: ребят забрать на домашнюю побывку и закупить в магазинах что потребно по хозяйству сверх пайкового прокорма, завозимого по осени на маяки «продовольственным» судном — с запасом на текущий год. Обязательной статьей таких закупок являлся отцов заказ: индийский, а если повезет, китайский цветочный чай и трубочный табак «Золотое руно» — с медовым ароматом, в желтых коробочках с откидывающейся крышкой. Пару раз в год покупались анодная и катодные батареи для домашнего радиоприемника, а из охотничьих принадлежностей — бездымный порох и капсули для снаряжения патронов двухствольной «ижевки» шестнадцатого калибра. Готовыми магазинными патронами в картонных гильзах отец брезговал, сам заряжал в латунные. Впрочем, уже три года как передал эту работу Николке. Дробь также сами катали в ветряных мельничках.

— Да хватит в себя впихивать через силу! Сейчас на обед звонок будет,— совсем рассердился Николка на брата. И мать, понимая, что здесь-то ее права переданы старшему сыну, заметила:

— А то право, Сережка, наешься, а в столовой воспитательница заругается: что, мол, ложкой по тарелке водишь и ко рту не подносишь? Небось, мать



Береговая почтовая станция

Промысловые избушки у урочища «Кедов»

приходила с пирогами? Мне же как-нибудь и припомнит, все выскажет! — И уже обратившись к Николке, пояснила неурочный приход в Полярный:

— Так я попуткою пришла с отцом, а тот сейчас в дэкафе*...— мать замолчала на полуслове, кивнув головой в сторону младшего, все же доедавшего пирог. Николка понимающе моргнул. А тут и звонок на обед для пришедших из первой школьной смены.

— Ты, Сережка, в столовую спускайся, а я за вами в конце следующей недели приду.

Зайдя с Николкой в его палату, мать выгрузила в прикроватную тумбочку принесенное из дома и купленное сегодня в магазине, выждала, пока все ребята уйдут на обед, и рассказала сыну причину прихода в город с отцом. Получалось, что дело пока тайное от маячников Большого Оленьего, а Сережка со Славкой растрезвонят, и связано оно с грядущим переездом в Полярный. Отец же отправился в дэкаф к его начальнику полковнику Зинченко, с которым с войны знаком: в сорок втором году во флотском госпитале Полярного оба лечили обострившиеся желудочные язвы. Зинченко тогда начинал службу береговым лейтенантом по политчасти. Потом в мирное время пару раз в Полярном встречались, а затем и на маяках, когда тот служил по этой же части в гидроотделе. Сейчас вот дэкафом перед пенсией командует. Он хотя и хохол полтавский, но давно в наших краях служит, однополчан не забывает. Отец и хочет посоветоваться с ним насчет работы и квартиры, имея в виду — тоже слышал,— что в дэкафе

---

* От ДКФ — Дом командиров флота, довоенное еще, но в разговорном языке бытующее название ДОФ'а — Дома офицеров флота Полярного. См.: Алексей Яшин. Дэкаф: Северные повести (шестая книга рассказов Николая Андреяновича) / Предисл. Л. В. Ханбекова.— М.: «Московский Парнас», 2013.— 299 с. (в электрон. форме см. на сайте www.pz.tula.ru).— Прим. авт.

ищут старшего электрика надежного. Опять же хорошо устроить переезд переводом из гидроотдела — для непрерывности трудового стажа. Здесь Николка усмехнулся, припомнив слова отца, что его стажа, с учетом двух войн, Финской и Отечественной, когда год за три, на двоих хватит... Да еще в тридцатых годах, перед призывом во флот, в калужском техникуме учился и молотобойцем на Волховстрое под Ленинградом работал. Усмехнулся, дескать, как-то все взрослые серьезно заботятся о стаже, но промолчал: значит так надо по жизни. Опять же заполярным северянам и пенсия на пять лет раньше. Про пенсию и вовсе рот примкнул, зная больную эту для матери тему: в любом разговоре с маячными бабами она в бессчетный раз упрекала мужа: «До пенсии флотской — это в тридцать-то один год! — по сроку службы и военным летам всего шесть месяцев оставалось, а тут поругался с замполитом части и в сердцах уволился. Не мог со своим характром вредным калуцким потерпеть-то!»

И причину неизменно крутых разговоров отца с политическими начальниками Николка давно знал: еще с предвоенных, даже до Финской кампании, времен его настойчиво уговаривали вступить в партию. Главное, слабой политграмотностью отговориться он не мог, поскольку учился в техникуме. В партию же не хотел вступать не по причине контрреволюционности, но исключительно из-за врожденной староверческой нелюбви и подозрительности ко всяким мирским сообществам: все одно что общую посуду на всех иметь!

Но — не каркай на начальство, оно клюется! — вот и отыгралось беспартийному Андреяну, кстати полному материалисту и неверующему, его нежелание пополнить ряды славной ВКП(б). Хоть и старшинская, но уплыла пенсия-то!

...Но раз отец пошел в дэкаф приискивать город-

ское устройство для семьи, так уже не разговоры праздные, но дело: заканчивалась и для Николки маячная жизнь.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ НАХИМОВЕЦ, А ВПЕРЕДИ ПОЕЗДКА В ПИОНЕРЛАГЕРЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

♦ Улита едет — когда-то будет? Это присказку Николка часто слышал от родителей. Дошкольником и младшеклассником, на Седловатом тогда проживали, понимал он ее однобоко, имея в воображении разлапистую походку Клавки, жены начальника маяка Федорова. Андреян, как злоязычный калужский мужик, на любом из маяков проживания и всем без исключения давал такие прилипчивые прозвища, от которых осчастливленный уже никак не мог избавиться: заглаза и по всему кольскому побережью с десятком островных и береговых маяков и далее уже с выходом в Баренцево море от Лодейного до Кильдинского Западного — до самого окончания северной или вообще земной жизни тех же Федоровых иначе как Колуном и Улитой не именовали. Прилипчивость же Андреяновых прозвищ, как теперь четко осознавал уже здравомыслящий шестиклассник Николай, состояла в их меткости — самом полном описании всего лишь одним словцом отличительной внешности, характера и поведения прозываемого. Взять того же Федорова — этакого прямоугольного в обычных сапогах, ватнике-фуфайке, а на такой же геометрической, но ближе к квадрату, голове с ефрейторским шиком набочь и на лоб надвинута шапка с кожаным верхом, причем уши ее не завязаны друг с другом, но изогнуты и концами втиснуты за отворот. Посмотришь на него — так и есть топор-колун,

которым Николка по домашней разнарядке уже с восьмилетнего возраста колол на печные дрова аккуратные чурбаки, им же с отцом на пару пиленые двуручной пилой. В отличие от обычного топора, колун нарочито округло тупой по лезвию, более тяжел и груб на вид, прямоуголен в профиль, деревянная рукоять безо всяких игривых изгибов... Так и Федоров: колун по внешности, по отрывистой грубой речи и поведению. Еще больше на улитку, что во множестве в отлив под листьями морской растительности замирают, похожа федоровская Клавка: и по веретенообразной фигуре и по медленной, развалочной походке, а особенно — по тугодумности и слабой сообразительности даже в чисто домашних, бабских делах.

...Теперь же, полузабыв седловатовские фигуры и их прозвища, присказку про долго едущую Улиту Николка постоянно держал во все умнеющей с отроческими годами голове именно как явственно ощущаемое замедление времени в ожидании судьбоносного события: окончания маячной неустроенной жизни и переселения в город. Такое растяжение времени ожидания и раньше посещало его; например, условно в два-пять-десять раз медленнее, тоскливо тягостнее тянулись дни, вроде как и стрелки на флотских часах, у которых суточный циферблат, что на стене интернатской столовой, разохотились бессмысленно ходить по вечному кругу, в последнюю неделю перед очередными каникулами. Особенно летними. Но сейчас, после весенних каникул, когда «Рубикон был перейден» (очень уважал Николка уроки истории), еще впереди два месяца учебы; главное, полная неопределенность собственно летнего переезда в Полярный! То есть не просто замедление и растяжение времени ожидания, но и необозначенность конечности этого самого времени. По школьной алгебре получалось уравнение с неизвестным, которое, в свою

очередь, определялось при решении другой, отдельной задачи, которую уже не Николка решал, даже и не собственно отец, но много других начальствующих лиц: от полковника Зинченко и ведающей квартирными делами в Полярном КЭЧ* до начальника маяка Большой Олений Седалина-старшего, прозванного так для отличия от простого маячника на Седловатом, его брата Седалина-младшего, и кадровиков Гидроотдела Северного флота.

С таким сложным и алгебраически многозначным замедлением времени Николка сталкивался впервые.

♦ Опять же, размышлял Николка, судьбоносные решения порой принимаются единолично, вне зависимости от семейной общности и, тем более, от решения сложных алгебраических задач с неопределенным неизвестным. Казалось бы, раз только сам-один что-то решаешь, то все просто: сказал и дело с концом, или, как военные говорят — принцип артиллериста, то есть выстрелил и забыл. Но это именно казалось бы. На деле же нет ничего тягостнее после такого выстрела: попал или не попал в жизненную цель? Не попал — долго, может и годами, коришь себя, а попал — еще дольше по времени, может и всю жизнь, укоряешь себя: верным ли путем из множества возможных пошел? Получается, как из книжки вычитал, грудь в крестах или голова в кустах...

Мысли же такие тягучие, без начала и конца, в Николкиной голове после *Рубикона* весенних каникул все к тому, что ровно почти год назад был он поставлен сам-один перед таким единоличным решением. Именно прибыв со Славкой — Сережка последний год в дошкольниках на Большом Оленьем блаженствовал — на весенние каникулы домой, Николка был ошарашен предложением отца: «А ты в Нахимовское училище не хочешь пойти?» — Даже

* Квартирно-эксплуатационная часть (воен.) — Прим. авт.

поперхнулся завершающим обед десертом: блюдцем сгущенки, в которую — каждый в свою — братья обмакивали печенье. Причем последнее не пресное из маячного пайка, но рассыпчатое сливочное, купленное матерью в магазине в Полярном. Из дальнейшего разъяснилось. Отец, как участник — от звонка до звонка — двух войн, причем кадровый моряк, то есть призванный до их начала, имеющий боевые награды и почти пенсионный стаж (здесь мать обидчиво поджала бы губы) службы и посейчас работающий вольнонаемным в воинской части — Гидроотделе Северного флота,— имеет редкостное право определить одного из сыновей в Нахимовское училище, которых сейчас в стране всего два: в Ленинграде, рядом с крейсером «Аврора», и в Николаевске на Дальнем Востоке. Понятно дело, речь шла о Ленинграде. «Тем более,— уточнил отец, помешивая своей знаменитой американской ложкой с надписью «*US Navy*»* свежезаваренный чай в тонкого стекла стакане с подстаканником,— с этого года не только после третьего, но и окончивших пять классов, как ты, в училище берут. Шесть лет проучишься вместе с детьми адмиралов и каперангов — сейчас у них это в моде, на каникулы приезжать будешь, что там от Ленинграда до Мурманска на поезде — чуть больше суток! Зато после окончания — в любое высшее военно-морское училище. В любое, понятно, если хорошо учиться будешь. А там и до лейтенантских звезд и кортика недалеко, может в *нашем* же Полярном или рядом в Североморске службу начнешь!»

...Николка сразу подметил по спокойной, вроде

---

* Флот Соединенных Штатов (англ.) Об истории этой чайной ложки из посуды американского флота см. рассказ «Серебряная ложка» — публикации в разных журналах; по интернету см. по поисковику.— Прим. авт.

как безотносительной речи отца и некоторому сомнению на лице молчавшей матери, что его не убеждают, тем более не понуждают к согласию, но дают ему полное право решения. Маячный, интернатовский парень в неполные без месяца двенадцать лет с одной стороны диковат — крепко засевшая от дошкольных лет жизни в безлюдье стеснительность в общении, но с другой стороны — совершенно самостоятелен во всем, что не относится прямо к необходимому подчинению родителям, школьным учителям, воспитателям и порядку в интернате. И получается, что таковая самостоятельность преимущественно и заполняет всю жизнь, как в Полярном, так и на маячных каникулах. В отпускных поездках в отцову калужскую деревню тож.

Главное, безотносительность отца и сомнение матери Николка даже не объяснял сам себе словами в размышлениях: здесь уровень ясности, как невольно он чувствовал, располагался где-то между головой и сердцем. Последнее же Николка ощутил, доселе, как парень крепкий, здоровый, особо не знавший его местоположения, учась в третьем классе. Сняв с половины урока, третий «бэ» повели в медпункт, где медсестра и не гордая в части уколов школьная врачиха, мать Николкиного одноклассника Юрки Тепляева, скоренько вкололи им какую-то очередную прививку. Уколов Николка нисколько не боялся, ибо успел уже дважды побывать в больнице с восполнениями легкого и среднего уха — обычное дело для интернатских: даже самые заботливые воспитательницы не заменят семейного призора. Но в начале следующего урока его за партой пугающе повело на заколовший левый бок, в голове задурнело, в глазах завертелись цветные изломы, вроде как смотришь в игрушечный картонный калейдоскоп. Учительница Анфиса Петровна, что с первого класса вела их, встревожилась и с помощью двух ребят покрепче

доставила резко покрасневшего, затем побелевшего лицом Николку в медпункт. Опытная врачиха, ранее служившая во флотском госпитале Полярного, только что коловшая приведенному прививку, сама сняла с Николки пиджак школьной формы, рубашку и майку, скомандовав медсестре: «Вера! Два кубика адреналина, шприц с сердечной иглой — мигом!» Калейдоскопические треугольники и многоугольники в глазах Николки уже заволакивались серым туманом, но все же рассмотрел в руке матери Юрки Тепляева шприц с длиннющей иглой, что острием подносила она к его груди, залившейся слева странной, почти что ощутимой на вкус сладкой теплотой. И укола такой длинной иглой прямо в сердце — это уже позже ему объяснили — он вовсе не почувствовал. А потом... он открыл глаза, увидел наклоненные над ним лица, засмущался, поднялся, спустил ноги с топчана, сел, на вопрос очень посерьезневшей врачихи о самочувствии пожал плечами и начал одеваться.

...С тех пор он вздрагивал при слове *прививка* и знал о местонахождении в его организме сердца.

♦ Вот на полпути от знаемого им сердца до головы Николка и чувствовал причину безотносительности отца и сомнения матери насчет возможного определения его в Нахимовское училище, что под боком у легендарной «Авроры». Начать с отца: за двенадцать лет службы (без тех нескольких месяцев, уже автоматически отмечал Николка, что заставляли мать хмуриться) порядком ему поднадоела воинская дисциплина и монотонность течения жизни, что в итоге и выплеснулись в эти самые «недопенсионные» месяцы. Тем более службы во флоте, который, как порой замечал Андреян, в отношении обыденного бардака и начальственной дурости уступает только авиации... По отсутствию личного опыта Николка не мог ни возразить, ни согласиться, зато, уже с детства обладая зачатками дедуктивного — как у очень

почитаемого им Конан Дойла — образа мышления, делал внешне нелепый, но в сущности справедливый, вывод: чем сложнее род войск по технике, тем меньше сообразительности он требует от личного состава. Словом, получалось по-суворовски: пуля дура, штык молодец!

И хотя отец о службе своей не канючил, вообще редко ее вспоминал, а если и говорил, то о всяких курьезах, навроде как он в сорок пятом со своего поста дал очередь из крупнокалиберного американского пулемета «Кольт» поверх палубы и рубки катера с министром Косыгиным* на борту, следовавшим из Мурманска с инспекцией на никелевые разработки в Петсамо, отошедшие к Советскому Союзу после войны. Виноват был не Косыгин, а старшина катера, возомнивший, если на его корабле такая персона, то и отвечать на положенный запрос службы наблюдения и связи ему западлó...

А мать? Хотя уже и последний по младшеству сын Сережка осенью этого года отправится в Полярный учиться и жить в интернате, вроде как привычное дело большую часть времени жить в росстанях с детьми, но разве к такому привыкнешь? И хочется ей, как прекрасно чувствовал Николка, уже сейчас поставить его на прямой и верный жизненный путь, но вот старшие, Георгий и Анатолий, недавно вылетели из хотя и маячно-неустроенного, но все же семейного гнезда, а трех оставшихся ох как хотелось подольше удержать у себя! Вот в чем корень сомнений матери.

А, наконец, сам Николка? Недавно перечитывал он, в который уже раз, имевшуюся дома растрепанную книжку с оторванными обложкой, началом и

---

* См. рассказ «Покушение на члена правительства» — публикации в разных изданиях; по интернету см. по поисковику.— Прим. авт.

окончанием, то есть без автора и названия. Более всего она ему нравилась вставленными в текст иллюстрациями и витиеватым шрифтом. Описывались же в «безодежной» книжке средневековые войны польской шляхты с русскими князьями. Чувствовалось в руке автора его польская принадлежность. Много чего узнал из этого чтения пытливый, вбирающий в себя ум подростка из быта тех давних лет. Запали (и почему запали?) в голову слова католического ксендза из романа о том, что всякое сомнение губительно для христианской душе и есть прямая дорога в ад. Не вина Николки, что по относительной малости лет понял ксендзовы слова буквально: сомнение есть что-то неподобающее в делах и мыслях человека. Поэтому, в отличии от родителей, в отношении Нахимовского училища он не раскладывал — так или сяк — доводы сомнения, но просто размышлял о существе возможной флотской жизни.

Нет, моря не то что не опасался, но в маячной жизни на островах оно во всех отношениях полагалось такой же обыденностью как и суша: часть пути с того же Большого Оленьего, сначала на *своей* шлюпке через пролив на Екатерининский остров, далее пехотурой через него, а затем уже на шлюпке гидрометеослужбы через *перейму* на материковый берег — окраину Полярного. А выходить на шлюпке-двойке, то есть всего под одну пару весел в уключинах, от берега для ловли трески *наподдев*, то есть без наживки, в одиночку — обычное для Николки дело с третьеклассного возраста.

Здесь дело не в море... Совсем недавно организовалось в Мурманске телевидение. С сопки Варничной, самой высокой на окраине областного города, с возведенной на ней вышки полетели сигналы вещания с хорошим их приемом: на юге от Мурманска тундра с невысокими сопками не препятствие для радиоволны, а вдоль побережья Кольского зали-

ва, над водой и вовсе они летели как санки с обледенелой горки. Николка уже тогда подбирался к радиолюбительству. Поэтому здраво рассуждал по части связи.

Сразу же в интернате появился самой лучшей марки телевизор — шефский подарок от базировавшей в Полярном второй эскадры подводных лодок, *подплава* по-флотски. Телевизор установили в классной комнате, где до ужина ребята корпели над домашними заданиями, а после «камбуза» дежурная воспитательница включала его, принося специально доработанный шнур.* И до завершения трансляции, то есть до одиннадцатичасового отбоя на сон, плотно забившие комнату интернатовцы погружались в мир голубого экрана. Смотрели все подряд: областные новости об успехах сразу двух рыболовных флотов — Тралового и Сельдяного, добыче апатитово-нефелиновых руд, производстве никеля, меди и железорудовых окатышей для Череповецкого металлургического завода «Северная Магнитка», о строительстве все новых гидроэлектростанций, счет которых уже подходил если не к десятку, то близко, и изысканиях под будущие Кольскую атомную и первую в мире Кислогубскую приливно-отливную электростанции. Про все говорили дикторы, только о Полярном, Североморске и вообще о Северном флоте, если и упоминали, то вскользь. То есть знающий да поймет. В девять часов, когда мальцам положено спать, наступало время сказок «Бабушки Телевизоровны». Хотя таковым по возрасту в интернате не полагалось иметь место быть, но и Телевизоровну снисходительно слушали, ожидая конька телевечера — кинокартину. И на каникулах по вечерам маячники, ребятня в том

* Это как чуть попозже у Высоцкого в песне про Бермудский треугольник, где врач Моргулис прячет шнур от телевизора в Кащенке...— Прим. авт.

числе, тоже собиралась у единственного владельца телевизора — начальника Седалина-старшего.

...Это все к тому, что внезапно ворвавшийся в быт и вообще в жизнь телевизор очень скоро приобщил Николку к неким общим настроениям и веяниям в стране. А они-то, веяния и настроения для вступающих в отроческие, тем более в юношеские, годы как-то обходили стороной военные профессии. Все больше напиралось на новостройки очередной пятилетки, сибирские гидроэлектростанции, дальнейшее освоение целинных земель. В больших же городах внешне миролюбиво, но с ощущением своей исключительной правоты, сражались, поделившись примерно поровну, *физики* и *лирики*. Вот и в их школе, где по образцу старорежимных гимназий, о которых Николка читал в книгах Гарина-Михайловского, Валентина Катаева и других известных писателей, на стене площадки между первым и вторым этажами парадной лестницы установлена (принайтована по-флотски) огромная мраморная доска, на которой золотом написаны фамилии золотых медалистов прошлых лет, уже значился молодой ученый из Дубны — открыватель, понятно, в компании коллег, новой элементарной частицы: мезона с двумя непонятными словами-приставками.

Как-то скромно в такой атмосфере страны созидателей были отодвинуты в тень люди военные, даже героические подводники, для которых ведь и в сугубо мирные дни норма службы всегда боевая... Не зря же год спустя, когда набирал обороты тревожный Карибский кризис, стоя поутру на мостках у маячного общего дома Большого Оленьего, отец, словно про себя, но чтобы слышал Николка, чуть поодаль собиравший из старых бамбуковых лыжных палок новое удилище, рассуждал: «Погодка-то какая стоит, загляденье! Тишина, вода-зеркало, дымка над заливом, теплынь. Помнится, такая же стояла и в

день начала войны — двадцать второго июня. Как там Никита с Кеннеди поладят? Или опять форменку с погонами надевать?»

Нехорошей зябкостью пощекотало под рубахой Николку; Андреян же продолжал: «...Тогда-то мы, и молодые и в возрасте которые, готовы воевать были, настроение такое у всех в стране приподнятое имелось. Только вот с вооружением не успели подготовиться — один Сталин все не углядит. Теперь вроде как наоборот: флот, авиация, танки не хуже американских, натовских. И *бомба* есть, ракеты для ее доставки, а духу того, предвоенного, что-то у молодых особо не заметно. Не «трусят, конечно, но особо и не рвутся. Изменились времена».

♦ Да, Николка понимал, что только сильная армия, флот тоже, позволяют стране семимильными шагами идти вперед, почти опережая весь остальной мир. А то, что военная советская мощь велика, это он знал на примере флота, что день и ночь курсирует мимо их острова, что забил кораблями губы Кольского залива. И уже понимал, почему в газетах, по радио и телевизору ничего конкретного о военных делах, о вооружении не пишут, не говорят, не показывают: неназойливость есть признак уверенности. Было бы обратное — ноги в шляпе, сапоги в смятку, как говорит отец про всякого рода похвальбу, не имеющую на то основания; он же, если речь заходила о Красной армии и флоте накануне войны, которые учительница истории называла неподготовленными, одновременно покачивал головой, сомневаясь в полной правоте исторички, и хмыкал, поясняя: «Силы-то равные в общем были, Иоська сумел-таки подтянуть военную промышленность. Но вот генералы, особенно самые верховные, генштабовские, сплоховали — ведь двадцать лет страна не воевала, Финская и Халхин-Гол с Хасаном не в счет, а генералы только на войне и получаются стоящие. И на-

род расслабился от парадного бахвальства: бить врага на его земле, «под напором стали и огне», а в кинокартине «Ответный удар» через две недели после нападения немцев Красная армия уже штурмует Берлин! Военный же нарком Ворошилов на партийном съезде и вовсе закончил свою речь частушкой:

А товарищ Кокинакки
Долетит до Нагасаки
И покажет всем Эсаки,
Где зимуют раки!

— по радио частушку передовали».

Отец усмехнулся: «В точку попал Климент Ефремович, только до Нагасаки с атомной бомбой не Кокинакки долетел...»

Следующие — не сомнения, но продумываемые соображения тоже затуманивали облик взрослого Николки, конечно, уже Николая Андреяновича, с погонами на плечах черного мундира и с кортиком. Туманность же нагнеталась размышлениями о радиотехнике и нелицеприятной оценке своего характера. К радиоделу его потянула некая властная сила с середины пятого класса. Отсюда школьный радиокружок и выписанный, на маячный, конечно, адрес, через «Товары — почтой» набор деталей для карманного приемника на входивших в обиход транзисторах: триодах и диодах. В какой-то момент умственного просветления четко осознал: больше всего в любительском этом деле его притягивает работа с паяльником, главное — смоляной запах дымящейся при разогреве канифоли. «Все в человеке идет от детства»,— философствовал отец. Вот и у него, Николки, согнувшегося над картонной макетной платой и подпаивающего эти самые транзисторы, конденсаторы, резисторы, именуемые просто сопротивлениями, проводки катушек индуктивности, при первых же клубках сладостного канифольного дыма неосознанно всплывала в памяти обычная картинка маячной жиз-

ни, а именно когда отец что-либо лудил паяльником.— Не электрическим, как сейчас Николка, ибо на маяках с электричеством в быту сложно: оно подается в дом только когда работает маяк: «сирена» на Седловатом или «наутофон» Большого Оленьего, да и напряжение не подходит под магазинный паяльник,— а сугубо тепловым, этаким заостренным молоточком с железной же рукояткой, с насаженной под ладонь на конце цилиндрической ручкой из неплавящейся пластмассы навроде текстолита. Молоточек же постоянно разогревается на плите топящейся печи. ...Равно как и гладильные утюги в маячной жизни не от электричества разогревались, но в их толстый чугунный кожух засыпались из той же печи еще не прогоревшие угли.

Если отец лудил что-либо жестяное, прохудившееся ведро, бачок или чайник,— Николку это нимало не занимало, даже носом вертел, на что отец замечал ему по-флотски: «Ты что морщишься, как вахтенный по гальюну?» Но кому же понравится запах испаряющейся кислоты, что используют при лужении и пайке железа? Но вот приходила очередь тонкой работы: чинить-паять медные или латунные цацки. Здесь Николка придвигался, делая вид интереса к починяемой штуковине, на самом же деле он с наслаждением вдыхал смоляной запах канифоли. Особенно, если отец использовал ее не дробленую, похожую на серую соль, но кусковую: точь-в-точь по цвету как смола в трещинах сосен окрест калужской отцовской деревни Дворцы. Отец и это отмечал присказкой: «Мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет»,— поощрительно кивал сыну головой, но глаза несколько грустнели. И здесь Николке все ясно: тяжело взрослым, мужикам конечно, по десять месяцев в году — от отпуска на Большой земле до следующего отпуска — проживать в абсолютно «сухих» (спасибо Никите за такой

порядок — не преминут при случае и здесь похулить Хрущова) владениях Севреного флота. И присказки такие всегда двусмысленно звучали...

Но при чем здесь Нахимовское училище в Ленинграде, если речь идет о полезном увлечении Николки радиоделом? — А все при том, что по здравому рассуждению и прочитанным книгам о военно-морской службе, по разговорам с одноклассниками, чьи отцы-офицеры из нахимовцев, составил он твердое убеждение: нахимовцев настрополяют на поступление в военно-морские училища с подготовкой по боевым специальностям, как линейным, так и техническим. Конечно, на любом корабле без радистов не обойтись, даже офицерские командные должности для них имеются, но для таковых кадры поставляют специальные военные радиотехнические учебные заведения, в которые сложно попасть выпускнику-нахимовцу. Что-то вроде этого отложилось в Николкиной голове.

Наконец, безо всяких самомнений и мнений о себе, выслушиваемых по преимуществу в ссорах и даже легких стычках от ребят в интернате и школе, Николка вполне резонно полагал свой характер достаточной копией с отцовского: внешнее спокойствие, а внутри резкие позывы к вспыльчивости и, главное, нетерпимость ко всякому проявлению стороннего командования собой. Не любого, конечно; правильное и общеполезное руководство одобрялось и исполнялось, но явная дурь вызывала неуправляемый протест... но затаенный. Причем была это не злопамятность, что отчасти полезна для подростка, даже для взрослого, как запоминающийся урок жизни, но некое взрывное чувство, которое Николка неумело пробовал словесно описать. Получалось: пусть мне будет хуже, а лучше в сторону отойду; не потому, что боюсь за себя (дуракам закон не писан, сила солому ломит, против лома нет приема — перечислял Ни-

колка известные им и «к случаю» присказки), но... здесь еще не расширившийся до обобщений мозг Николки забастовал. «А ну вас всех к едреной матери»,— вывернулся он отцовыми словами — почти всегда к случаю.

Главное, не слова, но отцов пример: из калужского техникума вылетел за строптивость, на флоте тоже самое, имея в виду «недотянутые» до военной пенсии полгода. «Так ведь и я могу до кортика не дотянуть... а еще хуже с ним позже расстаться?»

Итак, приведя все дроби своих достоинств и возможных прегрешений к одному знаменателю, как их классная, она же математичка, завершала разбор контрольных работ, Николка — без пояснений — отказался от Нахимовского училища. По-флотски сигнальщик поднял на фок-мачте гюйс, что означало команду «Следую своим особым курсом». Отказ не огорчил, но и не обрадовал родителей.

...И вот почти ровно — до дней — год спустя, когда окончательно решился переезд в Полярный, Николке предложили в наступающее лето съездить в пионерлагерь Северного флота.

«МАЛЬБРУК В ПОХОД СОБРАЛСЯ», ИЛИ ДИСПОЗИЦИЯ ПОЛИТОТДЕЛА ФЛОТА

♦ Ранее и речь не заходила о пионерлагере, ведь каждое лето семья на полтора-два месяца, столько длится у заполярных тружеников отпуск, уезжала с маяков Палагубского, Седловатого, теперь вот с Большого Оленьего, в отцову калужскую деревню Дворцы в избу младшей его сестры Настасьи, проживавшей без мужа, умершего вскоре после войны от ранений, с двумя сыновьями и дочерью Инкой, что уже два года как уехала по вербовке в Германию

поварихой в воинскую часть ГСВГ*. Имена же сыновей, Толька и Славка, перекликались с Николкиными братовыми; первый из них уже работал в недальнем районном селе Льва Толстого, куда ездил из дома на велосипеде, наборщиком в типографии местной газеты, а Славка учился в той же сельской школе, имея в виду в дальнейшем поступить в калужское музучилище. У него имелся хороший для этого дела слух, а Инка привезла ему из Германии недурственное гэдээровское пианино.

На вопрос же еще младшего школьника Николки о причине названия села именем Льва Толстого, детские рассказы которого учительница Анфиса Петровна им сама на уроках читала и на дом задавала, причем в непонятном падеже (ишь, грамотей!): «село Льва Толстое», отец, только что пришедший из чайной соседней деревни Новоскаково, где расслаблялся в отпуске со знакомыми еще по детству мужиками от «сухой» заполярной жизни, усмехнулся: «Хм-м! Это все от поспешности и слабограмотности местных властей в двадцатые годы. Село это издавна монастырское — монастырь, в котором сейчас районная типография, где Толька работает, и училище с общежитием для инвалидов детства, в честь святого Тихона. И само село до сих пор люди Тихоном зовут в разговоре, а в нескольких километрах от него Тихонова пустынь с целебным источником навроде минерального. В двадцатые же годы объявился в Москве такой Губельман, из евреев, потому сменивший имя и фамилию на Емельяна Ярославского, организовавший сообщество воинствующих безбожников, которое и разослало по всем губисполкомам — тогда области еще прежними гу-

* Группа советских войск в Германии (воен.) — Это которая при начале войны с НАТО должна была двумя танковыми клиньями рассечь Западную Европу и выйти к Ла-Маншу...

берниями именовались — командные предписания об упразднении церковных названий. Село же прямо на тракте из Москвы через Медынь на Калугу, вот сразу в глаза и бросилось начальствующим безбожникам. Прислали одного такого в Тихон — мне мальчонке еще рассказывали,— а тот, видимо краем ухом слышав, что-де Лев Толстой бывал у своей родственницы из монахинь в ее обители, и решил: это он, «пахарь русской революции» (доподлинные слова того губельмановца — запомнил), в Тихонов монастырь наезжал в промежутке времени между писанием «Войны и мира» и «Анны Карениной», а значит и быть новому, очищенному от религиозного мракобесия, названию: Льва Толстого. Губельмановец тот перепутал не только мужской монастырь с женским, но и в грамматике слабо разбирался...

На этом интересном месте к отцу зашел сосед — опохмелиться на щедрые «длинные рубли» северного гостя. Впрочем, главное Николка уяснил; сопоставив с чередой совсем недавних переименований всего, что носит имя Сталина, пришел к детскому еще, но в корне верному умозаключению: все это происходит от поспешности, неграмотности и обязательного наличия в Москве таинственных воинствующих безбожников. Обязательно ли им менять фамилию? — Слишком мал был Николка для ответа на этот вопрос.

♦ В те же последние маячные весенние каникулы, когда решено было окончательно с переездом в Полярный, узнал Николка и о пионерлагере. Как то было заведено, прямо к нему не обращаясь, но нарочито в его присутствии родители обсуждали диспозицию на грядущее лето. Понятно, что в связи с хлопотами — жилье в городе, работа отца и матери, собственно переезд, это ведь не по шоссе от ворот до ворот катить с ветерком! — никакой летней поездки во Дворцы и быть не может. Ребятам же, исключая первоклассника Сережку, можно и одним на

Большую землю прогуляться, тем более, что о Славке уже было договорено: в городском здравотделе матери дали путевку для сына с слабоватой дыхалкой (а у кого она абсолютно в норме при стопроцентной туманной влажности от осени до весны?) — на все три летних месяца в детском санатории в Выборге. А Николке, о чем уже мать позаботилась, ранее поговорив со школьной директоршей, в его последний — перед комсомолом — пионерский год сам бог велит хоть раз использовать красногалстучную привилению: провести смену в пионерлагере Северного флота в Геленджике. Тем более, он южнее Калужской области ранее не бывал, а тут сразу тебе Черное море! Значит проедет на поезде через всю страну. Николка сверил по карте из школьного тетрадочного атласа: как раз на одной меридианной линии Мурманск, то есть и Полярный стало быть, и Новороссийск, близ которого Геленджик.

Его, без того утомленного за шесть лет интернатской общностью и порядками, что взрослые именуют дисциплиной, особо в лагерь не тянуло, единственно, что поездом через всю страну — это занимало. Море? — подумаешь, море, хотя бы и Черное; здесь у подошв ботинок свое — Баренцево. Но — решено не им, исполнению подлежит, как приказ флотского командира. А таковые в себе содержат только здравые предписания безо всякой словесной суеты. Значит, заканчивай шестой класс, месяц блаженствуй дома на Большом Оленьем, затем в путь курсом «строго — зюйд» по меридиану, а вернешься в начале августа уже не на свой остров маячником, но новодельным горожанином в Полярный.

Как приказано, так и сделано. Николка, безоговорочно принимавший слова учителей в школе за истину, не требующую бессмысленных обсуждений, все же сомневался в правоте любимой присказки исторички Беллы Нурьевны, что-де только дурак не

ошибается никогда. Оно понятно, дурак есть человек вольный в своих делах и словах, поэтому он, как тот же Колун, седловатовский начальник маяка, своих мыслей в голове не имеет, а ведь такие мысли и есть источник вольных или невольных ошибок? Флотский же приказ основан на традиции, знании моря и корабля, а все они, вместе взятые и по отдельности, неизменны... Николка чуть подумал и поправился: море точно от его сотворения одно и то же и все его поведение описано в лоции. Также и традиции, то есть тельняшки и ленты на бескозырках — от памяти адмирала Нельсона, кортики у офицеров и палаши у матросов на посту и все остальное, меняются во времени незначительно. Корабли, конечно же, всего за сто лет от парусных фрегатов до атомных подводных лодок, что базируются неподалеку от Полярного на «Четвертой точке»* и в губе Западной, переменились, но, если опять же рассуждать *дедуктивно*, как Шерлок Холмс, то сущность-то плавания по воде остается неизменной? Итак, распрямил Николка умственные морщины на лбу, не только дурак у Беллы Нурьевны, но и флотский приказ, он же устав корабельной службы, никогда не ошибаются.

Придя к такому осмысленному выводу, Николка уже спокойно, по обыденному и затверженному, проучился последнюю четверть учебного года, с пользой провел первый летний месяц на Большом Оленьем, в основном за ловлей трески на поддев со шлюпки, особо не удаляясь от берегов — не по причине ка-

---

* Не хуже тех же Ленинграда, Рыбинска и Луганска многократно переименовывался: от «Четвертой точки» в Гаджиево, затем, в начале Чеченских войн (хотя сам Гаджиев дагестанец), в Скалистый; теперь снова ЗАТО (закрытое административное территориальное образование) Гаджиево, вместе с ЗАТО Полярный и Снежногорск входящий в ЗАТО Александровск — первоначальное название Полярного.— Прим. авт.

кой-либо боязни «морских просторов», а чтобы не болтаться, как навоз в проруби (все от него, от отца ядреные присказки...), на курсах и траверсах кораблей и каботажных посудин вспомогательного назначения, выскакивающих с рейда и от пирсов Полярного через западный и восточный проходы Екатерининской гавани с обхватом обоих островов — Екатерининского и Большого Оленьего. Кроме того, выдавшийся ласково теплым и совершенно безветренным июнь «завернул» из Баренцева моря в Кольский залив на прокорм солидный тресковый косяк, а в погоню за ним, то есть своим уже прокормом, в заливе кувыркались стаи касаток. Опять же не боязнь понуждала Николку не отходить подальше от берега Большого Оленьего — эти морские звери с метровыми костяными пилами-зазубринами на спинах шлюпки и все несъедобное плавающее обходят, изредка делая поправку на курс от линии норд-зюйд вправо или влево. Просто, гоняясь за тресковой стаей, они же и распугивали рыбу, которая брала глубже, а у Николки леска с тройчаткой крупных крючков на конце — для ловли на поддев — всего на пару-тройку метров длины. Больше же нельзя, оборвется, когда аршинная трещина на крючок нарвется...

Еще в этот месяц Николка в своем отсеке общего маячного сарая тщательно отбирал и упаковывал в подсобный ящик все мастеровые причандалы, что могли пригодиться и в городской жизни. Ясными же ночами с незаходящим солнцем, что даже в «ноль-ноль», говоря флотским языком, не дотягивает до линии водного горизонта и висит багряным шаром, как на декорации школьного театра, над расширяющимся и впадающим в Баренцево море Кольским заливом как раз посредине между скалистыми обрамлениями правого и левого берегов, Николка сидел на теплых досках мостков слева от маячного дома, спустив босые ноги (обутка рядом на мостках) в не-

высокую травку, растущую на пятачке торфа в скальной ямке, и читал. На лето он взял из районной библиотеки Полярного по два толстенных тома Диккенса и Гюго и еще кое-что по мелочи. В библиотеке он значился постоянным и аккуратным читателем, книги ему доверяли на все лето, зная его маячное местожительство. Тем более, что расположенная к нему заведующая сообщила: все равно это лето у них в хлопотах пройдет — переезжают, но в пределах все того же Старого Полярного, из небольшого домика в намного более просторный, что между почтой и городской больницей. «Так что, Николай, с началом нового учебного года милости просим на новоселье!» На вопрос же о новом предназначении домика у начала Чертового моста, соединяющего Старый Полярный с Новым, заведующая развела руками: «Скорее всего под жилье кому отдадут...» Эти слова Николке запомнились.

За каникулярный месяц июнь прочитал все четыре тома Диккенса и Гюго и, в числе прочего, наконец-то четко разобрался с мучившим его, как начинающего коллекционера-нумизмата, вопросом в части сложных в прошлые века систем денежных единиц Англии и Франции. Теперь он мог и спросонья сказать сколько шиллингов в фунте и пенсов в шиллинге. Чем отличается луидор от наполеондора... Последнее заинтересовало Николку прошедшей зимой. Читая роман Бальзака, случайно попавший ему в руки — в интернате многое происходит случайно,— запнулся на непонятной фразе: «Наполеондор, конечно, патриотичнее, но луидор увесистее».*

Еще по вечерам, после ужина, когда отец включал на час-полтора (летом наутофонный маяк не вклю-

---

* То есть при одинаковом номинале в франках золотой луидор по весу больше наполеондора, введенного Бонопартом. ...Это как полновесный (по покупательной способности) советский рубль и нынешний (сейчас где-то 1:150).— Прим. авт.

чается, электричество в маячный дом не подается), не более — экономя заряд батарей, радиоприемник, Николка с интересом слушал, если отец попадал на нужную волну, «вражеские голоса»: передачи на русском языке цэрэушных американских и западногерманских радиостанций. Как начинающий радиолюбитель, он знал, *только летом* в их местах можно слушать передачи на коротких волнах; зимой же, когда вовсю разгуливается северное сияние, прием этих волн почти невозможен из-за образования в верхних слоях атмосферы *федингов* — зон замирания.

Однако — пора Николке и в путь по строгому курсу норд-зюйд!

♦ Путь начинался от той оконечной части пирса, на спуске от невысокой береговой сопки, прямо под зданиями Циркульного дома и слева — штаба, на которую разрешено при необходимости ступать ногам гражданских лиц. До Мурманска приличную ораву школьников и воспитательниц с вожатыми из числа учительниц помоложе, всего, как прикинул навскидку Николка, сотни под две с лишком, честь доставки выпала плавбазе «Печенга» из состава второй эскадры подлодок. Высокая осадка и несколько туповатый форштевень («И сшиты не по-русски короткие штаны»,— как распевал брат Толька что-то старинное, довоенное) выдавали происхождение корабля: из немецких рейдеров, в числе прочего переданных Советскому Союзу при дележе союзниками отвоевавшего своего германского флота Дёница. И новое название подстать: Печенга, бывшее финское Петсамо, на кольском севере на границе с Норвегией, взятое с боем у немецких егерей и присоединенное к СССР ввиду солидных залежей в его окрестности никеля — металла войны. Что что, но историю ближних мест Николка знал отменно — от школы и отца, очевидца и участника событий тех, не столь уж и далеких, лет. Кроме «Печенги» еще пара таких же «бывших»

иногда стояли у пирсов Полярного. А о их немецком происхождении в Полярном разве что малосмышленные дошкольники не ведали...

Николку с Большого Оленьего сопроводила мать, передав незнакомой ему женщине, как выяснилось чуть позже, ответственной «за эвакуацию» (кем-то пущенное на пирсе меткое словечко...) работнице горисполкома. Мать сразу же заторопилась в КЭЧ все по тем же делам с переездом, сказав, что если они окажутся в Полярном на житье во время лагерной Николкиной жизни, то ему будет сообщено письмом, а под конец срока смены, чтобы не разминуться, телеграммой: с адресом.

От балюстрады, опоясывающей широкий тротуар перед Циркульным домом, повторявшей изогнутый по дуге — отсюда и название, закрепившееся со времен довоенной еще постройки — фасад здания, перед центром которой Николка помнил с первоклассных лет ныне убранный гранитный памятник Сталину, по лестнице и далее по дороге к пирсу непрерывным ручьем, как на демонстрации, стекался разновозрастный народ: отправляемые школьники в сопровождении родительских матерей, редко-редко отцов. Отцы здесь все заняты по флотской службе, не до рóсстаней им.

Обнаружив в числе отбывающих (за неуставное слово «отъезжающие» можно было схлопотать ядовитую ухмылку...) одноклассников Юрку Тепляева, сына памятной по адреналиновому уколу школьной врачихи, что и сама по специальности отправлялась в лагерь, и Сашку Белозерова, личного приятеля, Николка сразу замкнулся с ними в отдельную группку ожидающих команды на посадку. Юрка и обратил внимание на молодого офицера с политотдельской расцветкой погон и петлиц — соседа по лестничной площадке: «Геннадий Степанович назначен старшим всей нашей гоп-компании, до посадки в поезд будет

сопровождать». А Геннадий Степанович, мелькая с озабоченным лицом по всему пирсу, успевал одновременно разговаривать с двумя-тремя взволнованными мамашами, докладывать «боевую обстановку» по военному и гражданскому начальству, здесь же присутствующему. И было даже малоискушенному в практической взрослой жизни Николке понятно: козыряя встречным флотским офицерам, Геннадий Степанович скрадывал дежурной — по летнему внеслужебному времени — полуулыбкой некое неравенство. Даже при одинаковом числе звезд на погонах с приветствуемым и в таком же летнее-облегченном черном мундире, все же он не капитан-лейтенант, но просто политотдельский капитан... как какой-нибудь пехотный комроты.

Жизнь в среде военных, всегда ревнующих в количестве звезд на погонах, «опушек и ментиков», сызмальства приучает ребят тех мест, оторванных от большого мира в своих городках, базах и маяках, тонко, явно не по возрасту младому, разбираться в чувствованиях взрослых. И ежесекундно торопящийся Геннадий Степанович, уловив взгляд на него соседского парнишки Юрки, весело подмигнул ему: дескать, пацаны не в счет!

♦ А Юрка, увидев и перемигнувшись с политотдельским соседом, взяв быка за рога, поскольку посадка на «Печенгу» явно откладывалась на целиковый час, рассказал приятелям о вчерашней беседе отца с политотдельским соседом-капитаном, которую он слушал из соседней комнаты, благо дверь на кухню приоткрыта. Сосед же холостяковал — он «рылом не вышел» на летний отпуск, а потому супругу с трехлетней дочуркой отправил на отдых в Кострому, к теще с тестем. Сам же скучал, не будучи по характеру *ходоком*. Три дня тому назад послали его в Североморск с бумагами во флотское политуправление. Закончив дела, не преминул на мурманском ав-

тобусе проехать три остановки до КПП, за которым заканчивалась «сухая» зона владений Северного флота; в знаменитом на все Заполярье магазинчике, сразу за матросским патрулем, торговавшем исключительно спиртным, затарился умеренно водочными и коньячными бутылками, возвратился встречным автобусом в Североморск, где отыскал уходящий в Полярный военный катер. На рейсовом пассажирском с таким грузом ни-ни! Прямо на верхних ступеньках трапа с такого катера к пристани в Кислой губе стояли два матроса при палашах и с красными дневальными повязками, что гражданских с булькающими и звенящими, как в церковной колокольне на пасху, двуспальными чемоданами молча пропускали (не их епархия!), а у военных, будь то даже капранг с солидной орденской колодкой на кителе, зловредно ухмыляясь (попомни, серебрянопогонник*, отольются тебе наши скупые матросские слезы!), матросы вежливо просили раскрыть носимую рухлядь, с серьезным видом хирургов извлекали «злодейку с зеленой наклейкой» или бутылки многозвездочного коньяка, проглатывали слюну вожделения и образцово-показательно, прилюдно — хрусть! Посудина о посудину разбивали фимиам морской души, перегнувшись через парапет трапа, над скорбно накатывающей на галечный берег морской водой...

Военный катер высадил Геннадия Степановича не в «гражданской» Кислой губе, но в Екатерининской гавани на крайнем к западному выходу из нее мысе, обставленном густо военными тральщиками и малыми противолодочными кораблями-«охотниками» вкупе с дивизионом торпедных катеров. Здесь скучающие вахтенные матросы лишь прозрачными гла-

* То есть с погонами серебряного цвета — высшая флотская каста, линейный, командный состав. Золотые погоны — у технических, политотдельских и пр.— Прим. авт.

зами окинули штабной баул сошедшего с борта политотдельского капитана, а шедший навстречу на свой корабль старлей, поприветствовав старшего по званию, беззвучно цыкнул, везет, мол, *сухопутным*, штафиркам всяким без морских понятий... Хрущевский сухой закон, ядри его в печенку, озлобил, казалось, всю окрестную, без того суровую, природу: хмуро смотрели с поднимающихся от пирсов скал двухэтажные дома Полярного; летом зеркальная гладь гавани время от времени поеживалась недовольством зябкой ряби, а супротивный городу Екатерининский остров и вовсе смотрел на гавань, пирсы и город на противоположном берегу неодобрительно своими скалами, строго вверх выходящими из глубины морской воды.

...Юрка же пересказывал разговор Геннадия Степановича с отцом, штурманом с подлодки. Понятно дело, зашел он, на правах временного холостяка, с давеча привезенной бутылкой грузинского коньяка «Греми» десятилетней выдержки — чем мурманский облпищеторг почему-то решил порадовать «ребят семидесятой широты».

Сызмальства Николка даже не словесно, но примерами всей окружающей его жизни взрослых на маяках, в городе осознавал, как дважды два четыре, предельную четкость военно-морской организации — от быта до больших корабельных учений, даже предвоенной обстановки во время Карибского кризиса, когда Екатерининская гавань полностью опустела: все, что держаться могло на воде, выдвинулось в сторону Атлантики на боевые позиции. Воспринималось это как нечто данное, обыденное, само собой разумеещееся, навроде часов: завел раз в сутки, а далее только посматривай на их циферблат, вовсе не задумываясь о причине работы их механизма со множеством сопряженных шестеренок.

Уже сейчас, полновесным шестиклассником, а

через лето и вовсе будет в комсомольском возрасте, осознавал, что вся эта флотская внешняя простота и согласованность движения стрелок жизни по циферблату почти первозданной дикости этих скалистых мест — от отправки двух сотен полярнинских школьников в южный пионерлагерь до, не дай бог! запуска с подводных лодок боевых ядерных ракет «на лопату и в сторону врага» — является итогом тщательно разработанных *диспозиций*. Вот и слегка захмелевший от десятизвездочного «Греми» Геннадий Степанович раскрывал, благо не военная тайна, Юркиному отцу, капитану третьего ранга, штурману с подлодки, всю сложную организованность «комплектование и доставки», как он выражался, смены школьников «из мест базирования Северного флота» в пионерлагерь на черноморском берегу. То есть диспозицию, ежегодно вытекающую из недр политотдела флота.

♦ По словам Геннадия Степановича, в скуке временно холостой жизни нашедшего благодарного слушателя, и он принимал участие в составлении пионерлагерной диспозиции: штаб в Полярном в его лице нашел крайнего, так что пришлось несколько раз командироваться в политотдел флота в Североморск. Понятно, что наиболее удачной оказалась последняя поездка — три дня тому назад, то есть с упомянутым выездом за КПП по мурманской дороге...

Юрка — из соседней с кухней комнаты — сознательно пропустил малоинтересное для него начало разговора, где гость сетовал на политотдельские интриги в штабе Полярного и малые его надежды на получение майорской звезды ранее чем через три года. Но рассуждения о пионерской диспозиции толково запомнил, что и излагал сейчас Николке и Сашке Белозерову.

Задача со многими неизвестными, посложнее не то что старшеклассных, но и даже институтских, причем все эти «иксы», «игреки» и так далее во

весь латинский алфавит, должны встретиться на перроне мурманского железнодорожного вокзала в точно означенные день и час с минутами: время отправления по расписанию полулитерного поезда «Мурманск — Адлер». *Полулитерного* — потому что этот маршрут и время следования соответствовали обычному на летнее время массовых отпусков, но весь состав отдавался на откуп флоту, еще конкретнее — под школьников и сопровождающих. Еще за месяц загодя, чтобы не огорчать обычных пассажиров, под таковых железнодорожным начальством — по согласованию со своим министерством в Москве — был предусмотрен добавочный состав. Другой признак полулитерности — всех своих пассажиров поезд сгружал в Новороссийске, шел далее порожняком до Адлера, где уже и входил в обычное расписание движения, то есть вез в Мурманск, собирая на станциях кавказского Причерноморья, уже отдохнувших душой и телом жителей Заполярья.

Что же касается неизвестных в числе почти всех букв латинского алфавита, то это многостепенный сбор юных пионеров и взрослых при них со всех владений Северного флота, то есть городов Мурманска, Североморска и старейшего из них Полярного, а также многочисленных военных «точек» и опекаемых флотом гражданских, рыболовецких в основном, поселков (стано́вищ — по древнему, новгородскому еще названию). То есть сбор «всех наверх» с северной части Кольского полуострова от норвежской границы до Йоканьги на северо-востоке, а особливо с берегов и губ наиболее обжитого Кольского залива. От Йоканьги же по Терскому берегу, то есть по восточной округлости полуострова и его южной части до Кандалакши, где уже начинается Карелия, с Соловков с ее учебным отрядом флота, из военных частей Архангельска и Северодвинска, подчиненных Северному флоту, с Новой Земли с ее атомным по-

лигоном и более восточных мест — с побережья и островов Карского моря — это уже иной маршрут, где «иксы» и «игреки» сходятся на железнодорожном вокзале Архангельска.

«На меня же,— с усталой горделивостью хорошо поработавшего трудяги, подкрепленной очередной полустопкой (традиция подводников — выпивать мерную посудину не единым махом, запрокинув голову, но в два приема с антрактом, голову держа прямо...) «адмиральского чая», продолжал Геннадий Степанович,— скинули «точки» и вообще все обитаемые места, маяки и поселки от Полярного и выше по заливу, а по выходу из него вправо и влево сколь душа пожелает. Из Североморска своих на автобусах повезут, а из района Печенги и Никеля по железнодорожной ветке. Это уже мимо меня. А в моей зоне ответственности диспозиция не хуже эвакуации в войну на восток среднекрупного завода составлена: вот этими ручонками самыми, все по часам и минутам!»

...Действительно, Геннадий Степанович, как маг и волшебник, казалось, одномоментно находится во всех местах пирса, при этом не отрываясь взглядом от глади воды Екатерининской гавани. А когда обок «Печенги» причаливал шаровой окраски «аркашка», форсистый белый «адмиральский» катер, дремучий деревянный рыбхозовский мотобот, с которых по перекинутому трапу на пирс выходил пяток-другой ребят с рюкзаками и чемоданчиками, лихой политотделец вскидывал левую руку с часами, конечно, «Командирскими», затем раскрывал блокнот и делал отметку. Да-а, точно эвакуационная диспозиция. К этому слову — про эвакуацию — Юрки, передававшему беседу отца и гостя, Николка вспомнил рассказ уже своего отца: с началом войны всех невоеннообязанных женщин, тем более с детьми, вывезли из Полярного — по воде до Мурманска и далее по Кировской железной дороге, минуя уже осаждав-

шийся немцами Ленинград, на Большую землю. Подумал: это посложнее нынешних диспозиций Геннадия Степановича, наверное, было?

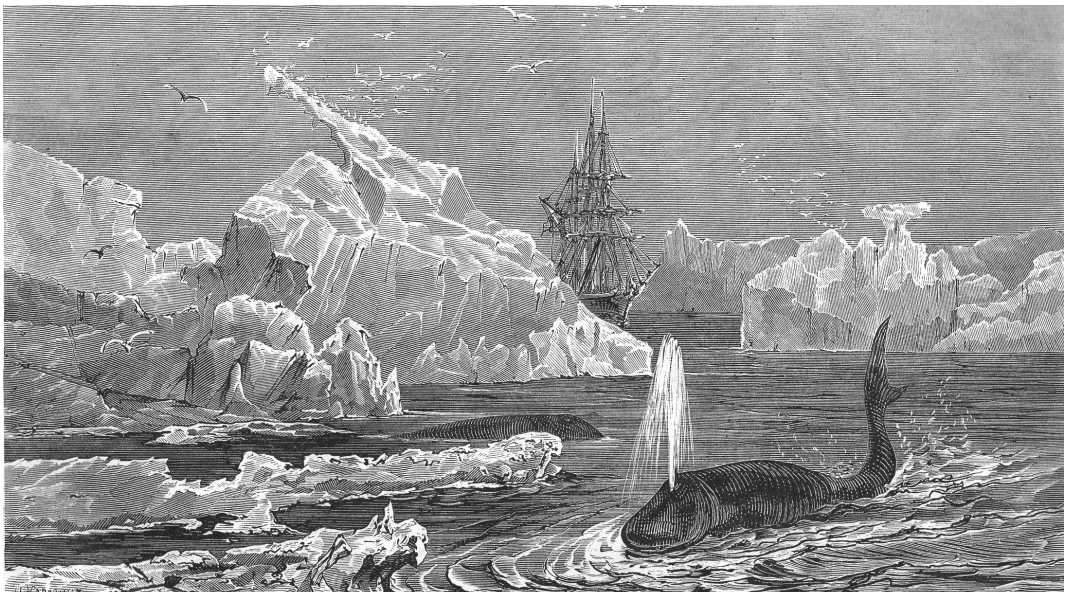
И он тут как тут вослед Николкиным воспоминаниям: «Внимание, товарищи и дети! Сбор полный, начинаем погрузку, провожающим на трап и борт корабля не входить! Отчаливаем ровно через четверть часа. Время пошло!»

... У поднимающегося по трапу Николки все звенела и лихорадила в голове хулиганская песенка, понятно от Тольки еще дошкольником услышанная: «Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей...»

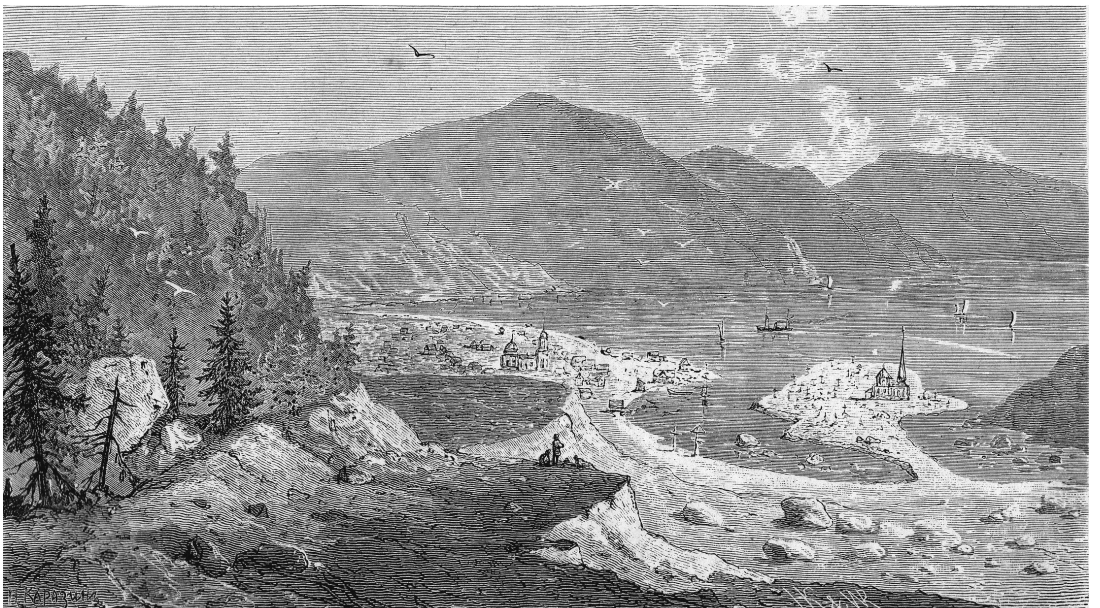
ГЕЛЕНДЖИК И САМЫЙ СЛАДКИЙ ВИНОГРАД «СОЛНЦЕДАР». ОБОЖЖЕННЫЕ ПЯТКИ И УЖИ

♦ По летним отпускным поездкам путь от Полярного до Мурманска на «плавсредствах» и далее в поезде до Калуги — через Москву или Ленинград, что зависело от удачно или не совсем доставшихся билетов: летом едва не половина жителей области устремляются на юг, в смысле на Большую землю,— знаком Николке до названия железнодорожных станций. В водной части нынешнее отличие — шли на военном корабле, вообще бывшем фрицевском легком крейсере, а не на пассажирском рейсовом катере от Кислой губы. В железнодорожной же — мимо собственно Калуги, через полустанок Калуга-2, а далее курсом зюйд-зюйд-вест через Украину и Крым, поворот на зюйд-ост-ост и на Новороссийск, что уже открывало для Николки новые места, *terra incognito*, как часто повторяла их географичка, для запоминания записывая на доске латинскими буковками.

...Когда он обновлял в школьной, районной или



Плавучие льды



Город Кола: вид с левого берега реки Колы

городской библиотеках книги, сдавая прочитанные и беря новые, явно следуя неким полезным инструкциям, библиотекарши всегда спрашивали, что он возьмет вдобавок из популярной научной или общественной литературы. С недавних пор, не дожидаясь вопроса, просил что-нибудь несложное по радиоделу и по дальней и ближней истории Кольского края. Из последних в библиотеках обычно находились только печатаемые Мурманским книжным издательством воспоминания участников войны в Заполярье. Читая эти книги, как правило, начинавшиеся с прибытия в Мурманск, а далее в Полярный — тогдашнюю «столицу» только что созданного Северного флота,— свежеиспеченных, окончивших училище младших командиров во второй половине тридцатых годов, Николка отличал всегдашнее неудовольствие авторов — почти всех до единого — природой по всему пути поезда от Ленинграда до Мурманска. Юг Карелии, Медвежьегорск и далее, «вверх по карте», до Петрозаводска, не устраивал бывших жителей средней полосы обилием озер, между которыми вертелась железная дорога. Долгий путь между главным карельским городом и Кандалакшей не радовал их прямолинейной ровностью дороги, прорезавшей утомляющую глаза однообразностью еловую тайгу с редкими крохотными станциями. И путь через Кольский полуостров с разнообразными видами из вагонного окна на Хибинские горы с плоскими вершинами — плато, чередование крупных озер с тундрой, новые города и промышленные новостройки, гидроэлектростанции и водопады на стремительных реках, а перед самым Мурманском постоянные изгибы путей между нависающими над ними гранитными сопками — все это также не радовало глаза и души новичков этих мест.

Для Николки же, двигавшегося сейчас обратным путем, вся дорога от голых скал и сопок *родных*

мест на выходе Кольского залива в Баренцево море до хорошо знаемой среднерусской равнины в ее калужском умиротворении воспринималась очередным, никогда не надоедающим узнаванием уже давно знаемого. Отъехав от Мурманска, миновав Колу — реку и город, самый старый в области, еще в шестнадцатом веке основанный, поезд шел напрямки нордзюйд через полуостров. Покинув на исходной точке отправления истоки залива Баренцева моря, в Кандалакше состав выныривал на берег залива уже Белого моря. А посредине этого пути голые Хибинские горы, еловая редкая тайга, тундра, озера — особенно Имандра, уходящая со своими низкими островами за горизонт. Главное — многолюдство, города, стройки в еще недавно диких местах с редкими становищами лопарей-саамов, пасущих оленей...

А за Кандалакшей карельская тайга. Пошли станции с табличками двойных названий: на русском и финском.* И так до Петрозаводска (*Petroskoj* по-фински), а затем Озерный край. Нет, Николке вся эта тысяча с лишним километров пути скуки не навевала! Потом знакомые места, а новые для него начались за Курском и Белгородом: степи, Украина, Крым... Ночью переправа на пароме через Керченский пролив. Николка проснулся без повода, посмотрел в окно со своей второй полки: в полной тишине, чуть покачиваясь — и именно не железнодорожной частой продольной перекаткой, а корабельной, размеренной килевой и бортовой! — громадное

* Собственно карельского языка не существует; это бесписьменный диалект языка финского. Тот же эпос «Калевала» записан на финском языке Э. Лёнротом (1-я пол. XIX в.) в Восточной Карелии. Кстати, один из вариантов перевода «Калевалы» на русский язык принадлежит видному советскому политическому деятелю Отто Вильгельмовичу Куусинену.— Прим. авт.

паромное судно, с загнанными, как машины и конные повозки на знакомый Николке деревенский паром через Угру, на его палубные рельсы тройками вагонов с пассажирами, двигалось по темной воде, угадываемой только по отсветам бортовых огней. Ночь случилась безлунная.

Если южные степи да и скучноватые виды северо-восточного Крыма на Николку особого впечатления не произвели, зато раннеутренний путь вдоль отрогов кавказского хребта и моря, иногда скрываемого горой, если рельсы пролегали по ущелью, чем-то напомнил ему, только в увеличенном масштабе размеров, цветов, простора и растительности, начало пути от Мурманска. «Своя своих познаша»,— иногда нарочито, поддразнивая, на церковный лад говорил отец.

♦ Как объяснили уже бывавшие в пионерлагере ребята, поезд проскочил Геленджик, отделенный горой от рельсового пути по ущелью, поэтому с поезда полутысячная орда сошла в Новороссийске и обратным курсом вест-вест-норд сорок километров до Геленджика ехала чередой специально выделенных (и здесь своя диспозиция!) автобусов по шоссе, репетирующем* береговую черту. Где-то посредине пути дорога плавно огибала, прижимаясь к горе, огромную береговую впадину — бухту. Из автобусного окна Николка глубоко внизу, даже опасливо подогнул под сиденье ноги, как с верхнего яруса цирка, рассматривал плоское днище бухты, под крохотно острым углом уходящее в светло-*зеленое* здесь море широким — во весь раствор бухты — пляжем. Самое поразительное, что расположенное посредине большое здание серого цвета с маленькими окошками и домики округ него по-

* То есть повторяющем, в данном случае контур берега (флотск.) — Прим. авт.

меньше, явно хозяйственного назначения, а также пляж и двадцатиметровая (так Николке «на глаз» показалось) полоса воды перед ним — все по периметру бухты окружено многорядной колючей проволокой на столбах в пару человеческих ростов! И крохотные для вида сверху фигурки людей делились на две группы: одна в летней солдатской (пехота, конечно, не моряки!) или офицерской форме, другая вызывала в памяти что-то похожее на магазинных грузчиков в пыльных штанах и куртках из серой саржи... «Тюрьма для туберкулезных зэков»,— на правах знатока здешних мест пояснил Юрка, сидевший рядом с Николкой. А Юркина мать, занимавшая с едущей воспитательницей незнакомой Николке женщиной из Полярного сиденье позади, услышав слова сына, добавила: «Здешний климат *показан* для легочных больных. Поэтому в Геленджике и окрестных ему местах много ведомственных и профсоюзных санаториев и домов отдыха данного *профиля*. Еще здесь хорошо лечат неврастению... но это не по вашей части. Может пока». Юрка засмеялся, приученный в семье сызмальства к специальному медицинскому юмору.

Поскольку же тюремный пляж был не песчаным, но галечным, что Николка легко угадал по окраске — и на маячных островах, особенно на нынешнем Большом Оленьем, имеются, правда не для купания, песчаные и галечные отмели в отлив,— то тотчас отгадал и причину зеленоватого цвета воды в бухте: значит, чуть отступя от берега, дно устлано булыжниками и валунами, обросшими морской травой, цвет которой фильтруется толщей воды в переотражаемых солнечных лучах как светло-зеленый.— Это из давних уже, но хорошо запомнившихся объяснений всезнающего Тольки...

Такое соседство совершенно различных — из разных опер по словам отца — предметов и качеств,

как черноморский берег моря, тюрьма и туберкулез, пляж и зеленая вода бухты, по особым законам устройства мозга, ни в малейшей степени не ведомым шестикласснику Николке, тотчас вернули его мысли к февральскому дню прошедшей зимы, а именно, когда он, прошагав все сотни ступенек в разноуровневых пролетах — с промежуточными площадками для отдыха — Чертова моста, вошел в Старый Полярный, почти тотчас завернув налево в небольшой белый домик — районную библиотеку,— начинавшей на почти плоской вершине сопки улицу имени геройского матроса Сивко, состоящую из таких же небрежно разбросанных «односемейных» домов. Начинался снежный заряд, поэтому Николка обмел всего себя веником, поставленном для посетителей в уголке перед входной дверью, затем вошел в небольшой холодный предбанник, где за еще одной дверью, как он знал, хранятся на нестроганных досчатых полках подшивки газет и журналов за прошлые года издания. Но он повернул в дверь налево и тотчас его обдало жаром топящейся углем печки. Пожилая библиотекарша Глафира Сергеевна, покровительница Николки, как — по ее словам — «самого постоянного и аккуратного читающего школьника города», сидела в этой маленькой передней комнате за столом выдачи книг обок пышащей печи, которая собственно и согревала весь домик. Николка поздоровался, повесил пальто и шапку на простенькую вешалку — прибитую к стене доску с крючками,— положил перед Глафирой Сергеевной прочитанные книги, попросил очередной том из собрания сочинений Вилиса Лациса, очень ему нравившегося. Та ушла в главную большую, в половину всего дома комнату с книжными сталлажами, а Николка, присев за стол выдачи, скосил глаза на развернутый, очень старый, с пожелтевшей бумагой журнал, что читала библиотекарша, а в глаза сразу бросились слова:

«...*Сопливо-зеленая* дублинская бухта». Николке, отходящему от уличного мороза и колкой метели, сразу стало немного не по себе: разве можно печатать такие некрасивые, почти бранные слова?

Здесь вернулась Глафира Сергеевна с толстым томом Лациса в светло-синей обложке: «Здесь роман «К новому берегу» — это уже о советской Латвии. А почему не берешь «Пятиэтажный город»? — «У нас дома есть, два раза его читал».

Глафира Сергеевна, явно жалея парнишку, что в такую непогодь и под вечер пришел из Нового Полярного в библиотеку, чувствуя, что тому за шесть лет без малого осточертела интернатская жизнь, вновь усадила вскочившего было Николку за стол, поставила перед ним стакан в подстаканнике из мельхиора, сняла с плиты чайник с кипятком и маленький заварной с низенькой стенной полочки, налила, пододвинула тарелочку с кусками сахара и печеньем. Благо других посетителей не было. «Выпей чаю, Николай, да печенье ешь, не стесняйся!» Заметив же, что тот несколько неодобрительно поглядывает на читаемый ею ветхий журнал, пояснила: «Это из довоенных еще изданий. Был такой журнал «Интернациональная литература». Кто-то из работников библиотеки, еще до меня, сохранил при очередном списании на макулатуру десяток номеров за середину тридцатых годов, в которых печатался «Улисс»* — так древнегреческий, гомеровский Одиссей у римлян

---

* Первая публикация «Улисса» Дж. Джейса на русском языке была начата в журнале «Интернациональная литература» — предшественнице нынешней «Иностранной литературы» — в №№ 1—6 за 1935 г. и в №№ 1—4 за 1936 г., в последнем из которых была опубликована статья А.О. Старцева «О Джейсе». В ней содержится толковый литературоведческий анализ «Улисса» и идеологическое обоснование ненужности советскому читателю этого романа. На этом публикация «Улисса» в «Интернациональной литературе» закончилась.— Прим. авт.

именовался — Джеймса Джойса. И я храню как память о своей студенческой молодости: именно в это время и печатался этот роман, а «Интернациональная литература» тогда нарасхват была, очередь в институтской библиотеке мигом по выходу очередного номера образовывалась! Но тебе еще рано его читать; вернее, читать-то можешь, но для понимания «потока сознания», есть такое название литературного метода, в «Улиссе» требуется знание всей классической европейской литературы, особенно Гомера и Шекспира. Иначе на каждой странице по десятку раз столкнешся с загадками и догадками... А главное, собственный жизненный опыт за плечами иметь...» Далее разохотившаяся до воспоминаний о своей ленинградской молодости, довоенной жизни в Полярном, погибшем муже, командире-катернике, детях, о нынешней жизни снова в Полярном, но уже в семье сына-подводника, его супруги и двух внуков... Для Николки в таком рассказе мало что было интересного, но вежливо слушал уже за вторым стаканом чая.

Однако за всеми этими неожиданными воспоминаниями — от зеленого цвета прибрежной воды в бухте с туберкулезной тюрьмой — автобусы вывернули из-за небольшой горки и колонной, сигналя, въехали в Геленджик.

♦ Свистать всех наверх! — Николка рассматривал открывшийся перед ним город, протянувшийся вдоль берега широкой бухты, а справа замыкавшийся на пологую гряду гор. А Юрка полностью вошел в права личного экскурсовода Николки: «Город расположен на берегу Геленджинской бухты, но здесь все ее называют Голубой бухтой, что между Толстым мысом — вот-вот, мы его как раз проехали — и Тонким, на котором, как завернем на него, по очереди идут курортный поселок «Солнцедар», виноградник совхоза с таким же названием, а на окончание мыса наш лагерь соседствует с аэродромом...

хотя и военным, но садятся и взлетают что-то вроде «кукурузников», какая-то вспомогательная, вроде как гидрографическая, часть флота. По другую же сторону Тонкого мыса уже Синяя бухта. А купаться будем прямо на окончание мыса».

Проехав город с его неспешно гуляющими курортниками, автобусы все тем же кильватерным строем свернули влево на Тонкий мыс и покатили в зарослях темно-синего с чернотой цвета ягод виноградника. Когда тот закончился, слева мелькнуло небольшое поле аэродрома с невеликими самолетами и полосатой «колбасой» на вышке. Затем снова заросли, но уже ранее не виданных им высоченных деревьев с зелеными шариками. Опять же Юрка пояснил: это еще не создавшие грецкие орехи в кожуре. «К концу смены почти созреют. Можно будет сшибать палками и харчиться! Но все равно вкуса настоящего еще не наберут».

...Вернувшись домой, уже не на Большой Олений, но *жителем* Полярного, Николка в обыденности нового строя жизни вспоминал пребывание в пионерлагере (уже комсомолец, хватит жить пионерским прошлым!) несколько отрывчато. Так это и бывает, когда детство переходит в самоосознающее отрочество с ощутимым предвестием торжествующей юности. Это такая интересная пора во взрослении, когда мысленно отодвигается на задний план все предбывшее в яростном ощущении-ожидании более нового и неизведанного, манящего, радостного, совсем не пугающего; первое в жизни человека возвращение к состоянию младенчества, когда молоко матери кормит, ее ласковые и заботливые руки за тобой ухаживают, и нет страха *перед жизнью*, которая неосознанно видится вечной, без окончания и пределов. *Ad infinitum*.* Хотя бы через тернии к

* До бесконечности (лат.) — Прим. авт.

звездам*.— Николка полгода назад в главном и единственном в городе книжном магазине, что в Циркульном доме, купил учебник латинского языка, который и читал перед отбоем в интернате. За что получил прозвище «политикана» или просто «политики».— Из лагерного языка.

Особыми, как бы яркими пятнами, остались вспоминания о жизни в палатке, толстенные ужи на асфальтовых дорожках, сладчайший виноград «солнцедар» и адыгейские дольмены на ближней к Геленджику горе. И еще обгоревшие пятки.

Про брезентовые армейские палатки, рассчитанные на целиковый взвод, но здесь с добротно выстланными досчатыми полами, на которых в два ряда расставлены обычные панцирные кровати, разделенные личными тумбочками, с двумя — вправо и влево от входа — отгороженными тем же брезентом каютами для воспитателя и пионервожатого (в девичьих палатках — воспитательницы и вожатой), еще загодя разъяснил Юрка Тепляев, явно бравируя медицинскими словами матери: «Для детей, особенно прибывших с родителями в Заполярье уже выросшими из младенчества, главное в заботе о их здоровье — дыхательная система, тем более на побережье Баренцева моря с постоянными туманами, ветрами и стопроцентной влажностью. Поэтому командование флота и выбрало для пионерлагеря Геленджик — признанное медициной лучшим санаторным местом по дыхательной части. И палатки — не то, что у Северного флота не хватило средств построить дома для проживания, но брезент не пропускает воду при дождях и всякую пыль при ветрах, не нагревается в солнцепек, то есть внутри палаток все тот же *оздоровительный климат*».

...Не успели расположиться в такой вот оздоро-

---

* *Per aspera ad astram* (лат.) — Прим. авт.

вительной палатке своего отряда, как услышали отдаленный на *кабельтов колокол громкого боя** — сигнал на обед, как пояснил вожатый, студент педагогического института из Мурманска; у него здешнее пребывание в зачет педпрактики. Это он сам охотно разъяснил своим подопечным, даже похвастался, мол, на юга́ сподобился попасть на все лето, а не куда-то в Кандалакшу или в Карелию — там тоже дети *организованно отдыхают*. «Там — без меня — тара-рам»,— вполголоса добродушно пропел он, строя отряд на выход в столовую. Впрочем, под стать военморовского воспитания ребятам, он скоро переучился на их язык, подавая обычную команду: «Юнги, стройсь! Марш на камбуз!»

Шагая в колонне по двое по пересекающимся асфальтовым дорожкам, проложенным от палаток между грецкими деревьями, Николка — правофланговый по росту аж вздрогнул с пробравшим его холодком: с перпендикулярной дорожки на их путевую вползала здоровенная, явно отъевшаяся желтая змея, замедлившая скорость, воспитанно уступая дорогу пионерам. Вожатый Виктор Никитович, явно отменный педагог, предупреждающе пояснил, это-де уж, их здесь много, знают они своими природными часами расписание работы пищеблока, куда сползаются подхарчиться. Их на заднем дворе столовой (то есть камбуза) не обижают, жалуют, как полезных животных, истребляющих главного их врага — мышей с крысами. Хорошо к ним относились и обитавшие возле камбуза коты: общий враг объединяет, а места под южным солнцем здесь всем хватит.

...И третье пятно памяти выжгло, в прямом

---

* Флотские термины: кабельтов — 1/10 морской мили, то есть 185,2 метра; колокол громкого боя — корабельный электрический звонок большой громкости с бронированным корпусом; предназначен для сбора экипажа корабля на палубе.— Прим. авт.

смысле, у Николки на следующий день, когда Виктор Никитович и воспитательница Елена Сергеевна (на *их* отряд мужского воспитателя, как то было заведено в лагере, не хватило) повели отряд на предобеденное купанье. На пляже, что на оконечности мыса, Юркина мать, уже по форме в белом халате и шапочке, и с ней молоденькая медсестра сновали между поотрядно расположившимися насельниками лагеря и до хрипоты разъясняли, адресуясь по преимуществу к воспитателям и вожатым: «Первое по прибытию в лагерь загоранье не больше четверти часа, затем пять минут купание, далее обсохните — в одежду и марш по палаткам ожидать сигнала на обед!»

Виктор Никитович и Елена Сергеевна, как почти одногодки быстро сдружившиеся и распределившие обязанности по отряду, переводили команды врачихи и медсестры на разъяснительный язык: вы, ребята, с Крайнего Севера, девять месяцев вашей кожи не касалось солнце, про температуру воздуха уже и не говорим, так что привыкать к здешним солнечным лучам будете постепенно, начиная с указанного врачом на сегодняшний день.

♦ Николка выполнил все пляжные процедуры строго по футбольному свистку вожатого и демонстративному поднесению воспитательницей часов на запястье левой руки к своим глазам. На обратном пути в отрядную палатку ощущал всей кожей небывалую свежесть, но уже за обедом стал чувствовать какую-то неловкость: кожа чесалась и остро кололась рубашкой. И горячим жаром накатывало каждую минуту-две в голову и в *пятки*. Ложась в кровать в тихий час на простыню и под пододеяльник, еще хранящие вчерашнюю первозданную свежесть выстиранного и проглаженного белья, аж вздрогнул от их прикосновения: пронзило тысячами затупленных иголок. Заснуть, понятно дело, ни на минуту не смог, ворочался на этих, все более и более затуп-

ляющихся, иголках, пока все они не слились в единый утюг с гибкой гладильной подошвой, что спеленала все его тело — от ушей до пяток.

Делая побудку с тихого часа, который по-флотски в лагере разговорно именовали *мертвым штилем*, Виктор Никитович даже восхитился видом подопечного, организм которого, в одних трусах сидящего на краю кровати, койки по-флотски, попеременно то трясло от внутреннего озноба, то заливало снаружи липким, как смоляной вар, которым Николка с отцом по весне конопатят свою шлюпку-двойку, жаром: «Ишь ты! Николка Полярнинский — вождь краснокожих!» Но коснувшись его раскаленного лба, даже руку непроизвольно отдернув, мигом посерьезнел, подозвал Елену Сергеевну, перекинулся с ней парой-тройкой тихих снов, указывая взглядом на мученика, и та мигом направилась к выходу из палатки. Через несколько минут с Николкой уже занималась Юркина мать. «Что ж,— пояснила она, осмотрев и прослушав своего давнего пациента,— очень белокожий и тонкокожий парень, истинное дитя Заполярья! Ему и пятнадцати минут загорания оказалось слишком много. Смотрите,— с неподдельным восхищением заметила она,— у него даже *пятки обгорели*! Впервые в жизни такое вижу! Но — все это не смертельно. Лена! — это к воспитательнице,— сейчас пойдете в столовую с ребятами, оттуда возьмете для *больного* обед, холодного компота лучше поллитровую банку, и попроси от меня бутылку кефира, которым разотрете, включая пятки, сразу и на ночь. Аспирин вот оставляю — так же давать. Пусть пьет компот, вставать с постели и выходить только по естественной нужде. Все, после ужина зайду. А у меня сейчас были еще два обожженных, только без пяток. Оба тоже коренные — из Териберки парень и девочка с Кильдина.

...Только через день его взяли на пляж, но еще

несколько раз Елена Сергеевна напоминала: тотчас после купания набрасывать на плечи рубашку. Прозвище Краснокожего к нему не пристало: в отряде сплошь подобрались неполярнинские ребята, в основном из Североморска, почему-то трое с Соловков; с ними Николка так и не сдружился до конца смены. Отбившись от чуждого ему отряда, он все свободное, «нестроевое» время проводил с Юркой Тепляевым, Сашкой Белозеровым и еще парой-другой ребят из своей школы. Два-три раза в день такой компанией они перелезали через условный, ниже их роста, реечный заборчик в северной, необихоженной части лагеря, отделявший его от совхозного виноградника, и наедались до отвала самым сладким — ни до, ни после Николка такой тягучей сладости не встречал — виноградом почти черного цвета с едва проступающей синевой, небольшие, с вишню, ягоды которого теснились впритык на крупных тяжелых гроздьях.*

Нарвав про запас по паре увесистых гроздей, той же компашкой пробирались меж грецких деревьев на западный берег Тонкого мыса, то есть омываемый водами Синей бухты, место по здешним меркам дикое, располагающее к серьезным разговорам уже состоявшихся семиклассников.

В одно из таких блаженствований на берегу Синей бухты Николка узнал от Юрки, со слов его отца, штурмана с подлодки, в свою очередь слышавшего от политотдельского подполковника, с которым они как-то... ну, тут ребятам все ясно: как, где, по-

---

* Уже повзрослевший студент Николай, потом и инженер Николай Андреянович, в своем окружении с удовольствием попивал всесоюзно знаменитое крепленое вино «Солнцедар» (0,5 л., 17 °/об), которое хулили эстрадники и анекдотчики — про «красить заборы»,— хотя оно было абсолютно натуральным, со вкусовой и цветовой спецификой сорта винограда. Что имеем, не храним; потерявши, горько плачем...— Прим. авт.

скольку и в какой обстановке,— словом, в такой сложной последовательности передачи событий узнал он историю появления на Тонком мысу пионерлагеря Северного флота.

♦ Выходило, что некоторое, не очень близкое, но не то чтобы далекое, время назад в Североморске женсовет флота, понятно дело, негласно руководимый и направляемый адмиральшей, супругой командующего, обратился в политотдел, как отвечающий за все и всея, хотя бы у флота имеется и специальная служба по тылу и быту, по части улучшения летнего оздоровления детей. Конечно, Северному флоту, как самому мощному в стране*, в то же время и базирующемуся в гиблых для здоровья арктических местах, не отказывали для летнего пребывания детей военнослужащих и штатских из военных городов и всяких «точек» в путевках в пионерлагеря Средней полосы, Прибалтики, юга европейской части страны, в местах детских санаториев и пр. Но адмиральша, супруга командующего, выступившая зачинщицей петиции, ссылалась на авторитетное мнение своей родственницы, проректорши педиатрического медицинского института, что в Ленинграде, что-де детям из вредного для легких мурманского Заполярья обязательно требуется оздоровляющий отдых на черноморском побережье Кавказа и именно в местах между Анапой и Новороссийском. «По практике климатологических медицинских исследований и показаний»,— ученым языком резюмировала родственница с солидной ученой же степенью и званием.

Политотдел «вышел» на командующего, с кото-

---

* В 1960—80-х годах апофеоза советского флота, ставшего океанским, в среде моряков ходила присказка: что такое СФ, ТФ, ЧФ и БФ (это принятые сокращения названия флотов)? Ответ: СФ — современный флот; ТФ — тоже флот; ЧФ — чи флот, чи не флот (с учетом большого числа военнослужащих с Украины); БФ — бывший флот...— Прим. авт.

рым его супруга провела предварительную беседу. Словом, сохраняя секрет полишинеля, от комфлота вышел устный, как наиболее действующий, рескрипт всем своим многочисленным замам: «Найти, обосновать и доложить!» Далее, как понимал Николка, шла одна из имеющих быть правдой версий, по-флотски живописная и разухабистая. Все на совести Юркиного отца и черномундирного политотдельского подполковника — в соответствии с обстановкой их дружеского общения.

Флот, тем более Северный, есть хозяйство огромное по территории, кораблям, людям, организации управления, интендантства и тыла. Потому и заместителей у комфлота много, и все их должности адмиральские — по окладам, льготам, положению, но не все эти «места» заняты адмиралами. Встречаются капитаны и черномундирные полковники. К последнему уставному разряду относился в описываемое (Юркиным отцом) время и *М.*, где-то шестой или седьмой зам, что-то вроде главного по автотракторному хозяйству. Но — должность-то адмиральская! Словом, подводная лодка в степях Украины...

Уезжал в летний отпуск *М.* озабоченный, в числе прочего, и рескриптом командующего. Курил он много от хлопот мносложной должности — хотя и отменные папиросы «Герцеговина флор», сталинские, в лакированной черно-зеленой пачке, с серебристой фольгой в развороте, но все же много и на ходу по улице, что не поощряется уставами всех воинских служб, как вредящее здоровье. Поэтому около каждой казармы у сухопутных, на юте боевого корабля у флотских установлены специальные места для курения: бачок с песком под пепел и окурки и скамейки (*банки* во флоте) для курящих: в положении «вольно, расслабившись, не торопясь». Все заботливый о здоровье воинов устав предусматривает! Поэтому и

дают его, единственный из книг, для внимательного чтения и заучивания постояльцам гаупвахт.

Супруга настояла, а врач посоветовал (именно в такой последовательности!) кашляющему автотракторному зиц-адмиралу поехать в военный санаторий, что в курортном черноморском городке Геленджике. Что тот и исполнил; супругу же с детишками командировал к своей родне близ Чернигова.

Известно, что военные высоких чинов и должностей, во флоте же в особенности, в общении с равновеликими себе проявляют высшую степень того качества, что в царские времена именовали гвардейским либерализмом, то есть изящная простота и благодушие в общении, даже если обсуждаются серьезные дела. Своего рода компатриотство в рамках полка, корабля и рода войск. Разумеется, отец Юрке, а Юрка своим приятелям все эти рассуждения о гвардейском либерализме передавали в переводе на гражданский язык: «За бутылкой все решать». Оба они, Николка и Юрка, проживая в абсолютно «сухом» Полярном, знали чудесную и всерешающую силу «злодейки с зеленой наклейкой»... Кстати, Николка уже давно обратил внимание и умозаключил: чем недоступнее для человека является некий предмет вожделения, тем чаще все его мысли, даже бесконечно удаленные от этого предмета, неосознанно вращаются вокруг него. Так и в «сухом» их городе не в диковинку было услышать от учителя труда, то есть педагога, в адрес ленивого ученика характерную присказку: «Послушай, Петров, как запойный пьяница от вина, так и ты бежишь, увиливаешь от выполнения задания!»

Зиц-адмиралу повезло и с отдельным номером высокого класса в санатории и с кругом общения. Последнее и делает курортную жизнь чем-то вроде объединения домашности и ненавязчивого служебного времяпрепровождения, Уже через час по прибы-

тию в санаторий *М.* дружески похлопывал по плечу — и свое подставлял — давнего приятеля, еще с военного училища и учебы в Академии тыла, что в Ленинграде на Васильевском острове соседствует с корпусами Ленинградского университета. Главное — и в чинах они одновременно восходили, а теперь и полное, благолепное должностное равенство: как и *М.* на Северном флоте, его приятель *Н.* на Черноморском занимал с прошлого года должность заместителя командующего — за пределами первой пятерки замов — также по какому-то хозяйственно-тыловому обеспечению. Хотя *Н.* не кашлял, но имел в Геленджике давнюю зазнобу, потому в отпуск сбегал от супруги в здешний военный санаторий.

...Словом, ближе к вечеру сидели давние друзья на веранде основательного домика, с которой открывался роскошный вид на Голубую бухту, окаймленную Толстым и Тонким мысами, зеркальная вода которой отсвечивала лучи готового, как юнга в матросское производство, к заходу солнца. Третьим в компании присутствовал тароватый хозяин дома, коренной житель Геленджика, а по должности — подполковник из «хозяйства» *Н.*

За сравнением достоинств коллекционной массандровской мадеры и грузинского коньяка «Старый Кахети», *М.* поинтересовался у однополчанина заинтересовавшими его, крохотными отсюда, самолетами на Тонком мысу, высвечиваемыми все теми же косыми солнечными лучами. «Аэродром — мое хозяйство,— отвечал *Н.*,— а самолеты по части гидрографической службы флота...» Из продолжения беседы выяснилось, что и необжитая полоса мыса между аэродромом и берегом Синей бухты тоже на его «балансе». «Вот не знаю: чтобы такое этакое разместить там?» — благодушествовал *Н.* на правах зама черноморского военного владыки. Тотчас в воображении *М.* встал североморский его коллега, в

смысле военный владыка, и категорический рескрипт: «Найти, обосновать и доложить!»

...Когда тароватый подполковник принес — для сравнения качества мадеры и коньяка способом треугольника вкусов — из своего домашнего погребка бутылку кубинского рома «*Cohiba*», еще не появившегося в широкой продаже, два замкомфлота уже били по рукам. «Считай, западная оконечность мыса твоя! Я со своей стороны намекну *своему* адмиралу насчет полезного использования *пустоши*, а *ваш* пусть с ним решает вопрос. У них звезды на погонах а-агромадные, думаю, договорятся. От тебя же, Васильич, как обещал, жду посылочку с мурманской семужкой*!»

...Так было или по-другому, но пионерлагерь Северного флота в Геленджике состоялся.

За неделю до окончания смены Николка получил из дома письмо. И почти не удивился, как будто знал заранее будущее жительство в Полярном в... домике, где доселе помещалась столь ему знаемая райбиблиотека. Все замыкается на круги своя — из какой-то книжки вычитанная им мысль. Пока этот дом решили подремонтировать, а они уже несколько дней как перебрались с Большого Оленьего и временно живут, занимая две смежные комнаты, в бывшем общежитии, тоже в Старом Полярном, между магазином и озером. Дом этот Николка хорошо знал. Еще мать сообщала: отец устроился в дэкаф старшим электриком, полковник Зинченко помог по старому, военных еще времен, знакомству. И она на работу тоже устраивается.

---

* В те благословенные времена все было натуральным. Семгу ловили в нерестовый ход на речках Мурмана, впадающих в Кольский залив или в Баренцево море, а не покупали в «гипермаркетах» нарвежскую биомассу с тем же названием, выращенную, как поросята, на каше в закрытых водоемах...— Прим. авт.

С интересной для ребят, самостоятельной во всех их делах, но все же томительной — по девять месяцев в году вне семьи! — маячной жизнью покончено. Обратным «полулитерным» поездом Николка держал курс уже на город Полярный. С этим «обратным» для Николки вышел конфуз. Если на пути в лагерь ребят размещали в вагоны по гарнизонам, то есть ехал он со своими полярнинскими, то в обратный путь спутниками Николка имел своих отрядных, с которыми так особо и не сдружился. Поэтому, сойдя с поезда на мурманском перроне, где ему забыли сказать, кому то следует, что в Полярный их доставит все та же «Печенга», он спокойно пошел на пристань, от которой шли рейсовые катера. Хорошо предусмотрительно оставил рубль: билет стоил девяносто копеек. До рейса пришлось ждать часа три. Да еще вахтенные матросы не хотели пропускать беспаспортного пассажира на катер, следующий в запретную зону флота. Еле убедил, рассказав про себя и свое путешествие все. Кто-то высший по званию помог Николке, а то бы в комендатуре оказался. Явившись на новое местожительство, обрадовал родителей: дескать, всех уже давно привезли на «Печенге», а ты куда подевался? Все хорошо, что хорошо кончается. А маячная жизнь с интернатом приучает ребят к самостоятельности даже в таких вот нелепых случаях.

...Лежа на верхней полке на обратном пути *домой*, Николка невнимательно посматривал в окошко на уже знакомые места. Перебирая в голове все слышанное и виденное в лагере, чаще всего вспоминал о *дольменах*, образец которого увидел во время однодневного похода их отряда на ближнюю к Геленджику гору. Увидев это сумрачное по назначению сооружение из обтесанных каменных плит, на прикид каждая весом почти с тонну, Витька Кирьянов из Порт-Владимира на полуострове Рыбачьем, где в

войну построили укрепрайон, воскликнул: «Смотри, ребята, какой здоровенный ДОТ!» И действительно, дольмен как-то по-военному смотрится. Потом уже, учась в седьмом классе, листая в райбиблиотеке тома совсем недавно изданной «Малой советской энциклопедии», он наткнулся на статью о дольменах, где иллюстрацией была фотография того самого дольмена с подтверждающей подписью: «Дольмен близ г. Геленджика. Сев. Кавказ».

...Слова Витьки Николка вполне мог принять за правду: ДОТ как ДОТ, сложен округлой башенкой, сверху положена толстенная каменная плита с выступающим «на фасаде» козырьком, а на уровне земли, под козырьком, проделано отверстие для пулеметной пальбы. И человек в него, хоть и впритиску, но пролезет во внутрь долговременной оборонительной точки, что и снарядом гаубичного калибра не прошибешь, даже не разворотишь. Но экскурсоводша, местная жительница, опровергла, посмеявшись Витькиным словом, рассказала о таком способе погребения знатных древних адыгов — исстари коренного народа этих мест.

Под стук колес поезда обратного пути, вспоминая о дольменах, Николка по схожести обрядовости древних погребений близ Геленджика и на острове Большом Оленьем в мыслях вернулся к переезду их семьи с Седловатого на этот остров, куда он более уже не вернется, став полярнинским жителем.

С СЕДЛОВАТОГО НА «ОСТРОВ МЕРТВЫХ»

♦ Если данное Николке в лагере за обожженные пятки прозвище *Краснокожий* к нему не пристало, хотя бы округ было за сотню ребят из полярнинской школы, то до шестого класса сверстники заглаза и в

глаза его иначе как *Бдительным* не называли. Ему даже нравилась такая кликуха, хотя со стыдом несколько лет вспоминал, внутренне краснея от неловкости, историю этого прозвища.

Анфиса Петровна, в классе которой Николка учился первые четыре школьных года, хотя и была еще молодой, красивой и незамужней, но хорошо понимала различие между городскими и интернатовскими ребятами; особо она относилась к маячным детям. Понимала, что попав с малолюдных островков и береговых маяков, они напрочь робели среди множества и взрослых и сверстников, тосковали по дому, боялись, что называется, рот лишний раз раскрыть. И школьная директорша Вера Ивановна на педсоветах настоятельно убеждала учительниц младших классов «не ждать у моря, хотя бы оно под боком, погоды, а с самого начала учебы вовлекать маячников, даже против их желания, во все мероприятия, приучая их к свободе общения».

Конечно, второклассник Николка, тогда еще с маяка острова Седловатого, о таких диспозициях (а это слово он хорошо знал от отца) Веры Ивановны в адрес «их Анфисы» вовсе и помыслить не мог. Потому даже обижался на свою улыбчивую и красивую (уже во взрослых классов слышал от ребят: Анфиса собиралась замуж за адмиральского сына, тоже офицера-моряка, но не приглянулась адмиральше...) учительницу, когда та на всех школьных утренниках и предпраздничных весельях старалась перевести Николку из зрителей в участники всяких пений и прочих «два прихлопа, три притопа». Вот и во втором классе на предновогодней школьной елке в актовом зале, все многие ряды стульев которого были заполнены ребятами, их городскими родителями и представительной делегацией «от флота» — школьных шефов, офицеров второй эскадры подводных лодок в высоких чинах, при кортиках для параду,

Анфиса Петровна уговорила-таки Николку, которому если не медведь, то точно полярная россомаха на ухо наступила, спеть под ее аккомпанимент на пианино любую известную тому песню. Уговорила — слабо сказано, просто приказала: «Для твоей же, Коля, пользы должен выйти на сцену и спеть! Какую песню знаешь?»

Понимая, что в зале много военных, Николка и решил спеть песню о коричневой пуговке, которой его научил Толька — единственной не хулиганской.

...И посейчас он не мог вспомнить: как, ведомый своей учительницей за руку, вышел на сцену, а пел под звучание пианино совершенно и не второклассник Николка, но кто-то другой, вроде нарочито осипшим голосом. Откуда-то и кем-то невидимым подсказывались слова:

Коричневая пуговка валялась на дороге.
Никто не замечал ее в коричневой пыли.
А мимо шли ребята веселою гурьбою,
Алешка шел последним и больше всех пылил.

Нечаянно, нарочно, того не зная точно,
На пуговку Алешка ногою наступил.
Поднял он эту пуговку и вдруг на ней увидел
Чужие, не по-русски, написаны слова.

Ребята всей гурьбою — к начальнику заставы
Бегут, бегут скорее, бегут чтобы успеть.
«Докладывайте точно»,— сказал начальник
срочно
И карту зеленую перед ними открыл.

Вблизи какой заставы и у какой дороги
На пуговку Алешка ногою наступил...
Четыре дня скакали бойцы по всем дорогам,
Четыре дня искали, забыв еду и сон.

Чужого незнакомца в деревне повстречали,
Сурово оглядели его со всех сторон.

А пуговки-то нету у левого кармана,
И сшиты не по-русски короткие штаны.

А в глубине кармана патроны для нагана
И карта укреплений советской стороны...

Здесь уже Николка, а не тот невидимый, что пел за него, ясно услышал с задних рядов со старшеклассниками, как их легкий шумок переходит в сдерживаемый смех.* Слезы неловкости и обиды наворачивались на веки глаз, и только одобрительный кивок самого почетного гостя, седоусого вице-адмирала с первого ряда, что когда-то командовал эскадрой подлодок в Полярном, сейчас жил в отставке в Ленинграде, а сюда приехал на Новый год к сыну, уже самому командиру лодки, взбодрил певца. Уже он сам, а не невидимый, правда, пропустив несколько строк, завершил песню:

...В Алешкиной коллекции та пуговка хранится.
За маленькую пуговку ему большой почет!

Даже либеральничающие старшеклассники зааплодировали, когда седоусый адмирал встал, полуобернулся к залу и — Николке показалось? — смахнул с ресниц невидимую слезу, прочувственно сказал: «Молодец! Даже песню пионеров довоенных лет знает. Помню, мы курсантским взводом маршируем в Кронштадте на ознакомительной практике, а навстречу — в красных галстуках, с горном и знаменем дружины и эту песню о *бдительности* так и чеканят в такт ходьбы!»

Увлекшись воспоминаниями курсантской молодо-

---

* Хотя еще далеко было до времени, когда Николка, проходя мимо городских помоек, видел груды свежевыброшенных красно-коричневых томиков собрания сочинений Сталина, но уже разворачивалась «хрущевская оттепель», а старшеклассники, слушая «Голос Америки» и родительские кухонные разговоры, обретали «либеральное мышление»...— Прим. авт.

сти, адмирал много чего интересного рассказал, но Николка, все еще рдея щеками от похвалы и горя ушами от стыда за свое неуклюжее пение, мало что запомнил. Зато явственно расслышал восхищенный шепоток — своему однокласснику — пацана, немного постарше Николки, сидевшему через ряд от него: «Ну-у, мой дед разошелся. Утром коньяк с отцом пили!»

Прозвище *Бдительный*, несмотря на сопутствующие ему стыдливые воспоминания, нравилось Николке сразу по двум причинам: пошло оно со слов боевого адмирала, героя войны; а потом звучало как название эсминца: в соседнем Североморске на рейде ряд кораблей со схожими названиями: «Стремительный», «Стерегущий»... Отец как-то объяснял ему, что традиция таких названий эсминцев идет еще с царского флота, когда миноносцы, затем эскадренные миноносцы стали отдельным классом кораблей для внезапных ударов по *плавсредствам противника*.

♦ Собственно же «адмиральское» прозвище всегда вызывало у Николки воспоминания о Новом годе, особенно о почти двухнедельных новогодних каникулах: домой на остров! На побывку! Так и ровно через год после конфуза с «Коричневой пуговкой», когда уже третьеклассник Николка с нетерпением ожидал каникул, умоляя все природные силы, чтобы пару дней перед их началом штормов, непролазных туманов и свирепой пурги на море не случилось, и политотдельский или гидроотдельский катер «аркашка», выделенный командованием для развоза маячных школьников, смог бы пришвартоваться к плоскому выступу скалы, заменявшему на Седловатом пристань. Словом, постоянная *бдительность*.

Не зря он умолял эти самые злокозненные силы — хоть и не по назначению, но по доброму исполнению эти мольбы дошли до кого следует. Тридцатого декабря в послеурочное время, сразу после

обеда, в Николкину палату вошел дежурный по ребячьему отсеку (у девчонок своя дежурная назначалась), из старшеклассников: «Это хорошо, что на месте,— снисходительно одобрил он, обращаясь к Николке,— давай дуй в кабинет директорши, велено срочно!»

Грехов по текущей интернатской жизни тот за собой не припоминал, но на всякий случай непредвиденности — такой части быть званым к директорше еще ни разу не удостоивался — приготовился в душе к самому худшему. Но осанистая и обычно ненатурально строгая на вид Нина Тимофеевна одобрительно посмотрела на вошедшего в приотворенную дверь кабинета третьеклассника и протянула ему телефонную трубку: «Мать твоя звонит, поговори». Доселе Николке ни разу в жизни не доводилось разговаривать по телефону: ни на маяках его предшествующей жизни, ни в отцовой калужской деревне таковых и в заводе не было, а в Полярном звонить ему некому: всех знакомых ребят каждодневно видит в интернате и школе. Только в кино видел, как по телефону говорят, поэтому черную пластмассовую трубку, отчаянно труся от полного непонимания происходящего, взял правильно. Но что говорить? Николка отчаянно засопел, комок в горле не пропускал слова наружу. «Колька! — догадалась мать по этому сопению,— а мы вчерась баско* с Седловатого на Большой Олений перебрались на гидроотдельском боте**. А тутко и телефон с Полярным у начальника маяка есть. Завтра с утра пойду за тобой и в магáзины еще надо. Спасибо не забудь Нине Тимофеевне сказать, что позвала тебя. Понял?» — «Угу,— протолкнул-таки комок в горле Николка. В трубке щелкнул отбой.

---

* Ба́ско — то есть хорошо, удачно, в смысле без каких-либо неудобств и пр. (архангельск. говор).— Прим. авт.

** Бот — двухмачтовое деревянное судно на моторном ходу.— Прим. авт.

Директорша, улыбнувшись, взяла из рук окончательно потерявшегося Николки трубку, совсем нестрого сказав: «Ну-у, Николай-сын-Андреянович, теперь-то на все каникулы, даже может и на выходные, домой попадешь. Большой Олений считай что Полярный!»

♦ Собственно-то переезд на Большой Олений, от которого до Полярного три километра ходьбы через остров Екатерининский да две шлюпочные переправы — с острова на остров и с Екатерининского на восточную окраину города, новостью для Николки давно уже не было. Разговоры родителей «пора нам с Седловатого съезжать — ближе к Полярному: или на Палогубский возвращаться, а лучше на Большой Олений» начались со второго года его интернатской жизни. Доводы те же, что Николка шестиклассником слышал при обсуждении переезда с Большого Оленьего в город, главное — почаще видеть своих ребят дома, поскольку уже Николка в интернате второй год, еще через год Славка в нем окажется, недолго осталось дождаться и последышу Сережке.

Но здесь поторопление с переездом с Седловатого произошло по другой причине. На маяках, где в отъединении от людного мира, общаясь только между собой, проживают с десяток, редко чуть больше, человек, обычаями и воинскими установлениями — сами маяки суть «точки» воинской части! — строго поддерживается дисциплинарный порядок поведения маячников друг в отношении друга: никаких скандалов, недоброжелательств, даже косых взглядов (исключая лопаря Седалина-младшего на Седловатом: тот от рождения сильно косой...). Слишком значительна ответственность коллектива маячников, ничто не должно отражаться на точной и исправной работе маяка — в любое время, в любую погоду, хотя бы все вокруг острова в воду провалилось или в небо испарилось! Поэтому служить на маяки берут строго и исключительно семейных людей (холостяк, колче-

ногий Трофим Матронин на Седловатом, единственное известное Николке исключение); умное флотское начальство правильно полагает: семья удерживает в своей ответственности людей от необдуманных поступков. Тому же учит и почти двухвековой опыт жизни на беломорских маяках, откуда с созданием Северного флота пошло и бытование кольских маячников. Многие из них и родом с архангельского края: та же Николкина мать и ее брат Михаил, Мишкó по-поморски, которого он в раннем детстве помнил начальником Палагубского маяка...

Но все же случается и по материной деревенской присказке: некошная сила и горами качает, а людишками как веником трясет. Вот такая некошная, то есть недобрая, сила помела веником неприязни между отцом и Колуном, начальником Седловатого маяка Федоровым, на третьем году их проживания на острове. По малолетству Николке не дано было и в самые задумчивые минуты сравнивать отца и Колуна в качестве зачинщика затянувшегося недоброжелательства. Спасительный для избежания таких докук малый возраст сразу брал отцову сторону правоты, хотя бы мать и ворчала сама себе порой про долгие языки всей Андреяновой родни во Дворцах, понятно дело, в воспитательных целях не называя при детях имя мужа. «Где — петь, где — пить»,— мудрено, по-архангелогородски добавляла она,— поле-то глазасто, а лес ушаст. Надо порой поостеречься, не всякая дорога напрямки выведет...» Окончание подобных бесед матери с самой собой, за отсутствием в доме осознанных слушателей, Николка уже научился пропускать мимо ушей. Понятно о чем речь пойдет: все о том же давнем — как Андреян не дослужил всего-то полгода до флотской пенсии в тридцать лет, похерив все выслуги в войну! И все потому, что не смог попридержать язык в разговорах с политотдельским начальством...

Разумеется, до драк маячные неприязни не доходят. Это даже помыслить невозможно: вмиг поувольняют и спишут с волчьим билетом с маячной службы. А потом, все мужики матерые, воевавшие, у каждого по одному — два охотничьих ружья, это уже не шутки! Если же вражда обозначилась непримеримой, то только и остается: кому-либо перевестись на другой маяк. А раз Федоров начальник, то убывать следует Николкиному семейству. Поскольку же переезд поближе к Полярному — дело решенное, то и бог с ним, с Колуном. Но тот совсем очертенел, как-то завел перепалку с Николкиной матерью и даже потряс над ее головой пудовым кулачищем. Этого Андреян стерпеть не мог и написал по принятой форме жалобу в гидроотдел. Через некоторое время с попутным катером на Седловатый прибыл для разборки кляузного дела молодой политотдельский старлей. Хороший обед для гостя, устроенный Федоровым на правах начальника маяка, причем со спиртом высочайшего качества, что по регламенту использовался для протирки рубинов, правда, искусственных, огромного маячного прожектора, а также «гостинец в дорожку» — пара килограммов слабосоленой семги, которую Федорову за какие-то услуги иногда привозили рыбаки с материкового берега, решили в инстанциях гидроотдела тяжбу в пользу Колуна. Опять же через положенное время отец получил официальное письмо — копию отпечатанного на пишмашинке распоряжения, в котором жалоба такого-то на якобы противоправные действия другого-то признана несостоятельной... Вслух при Николке, прибывшем на каникулы, письмо не читалось, только из разговора родителей узнал: отец в том распоряжении именовался склочником. Хмыкнув и махнув обреченно рукой, сказал в том смысле, что правому-неправому, но *доводчику* всегда первый кнут. «Все что ни делается, к лучшему делается»,— еще он добавил.

Промысловый бот-баркас

Внутри лопарской хижины

♦ Еще дошкольнику Николке много чего знающий брательник Толька, показывая в ясную летнюю погоду на противолежащий Седловатому, строго на зюйд, остров Большой Олений, невысокий, сливавшийся в очертаниях за следующим за ним и закрывающим Полярный гористым Екатерининским же островом, рассказывал про древний могильник на южном краю Большого Оленьего. Изрядно хлебнувший из сосуда знаний школьной истории, что входили в семилетку, которой Толька и завершил свое школярство, он почти запугал братишку этим могильником, за который этот остров в доисторические времена являлся *островом мертвых*. То есть древние люди на таких островах сами не жили, но превращали их в погосты для умерших из своего рода-племени. Еще Толька, понятно дело со слов учительницы-исторички, ибо сам он на Большом Оленьем никогда не был, сообщал, что-де могильник — не досужие слухи, но еще до войны там экспедиция со «столичными академиками по гробоискательскому научному делу» на острове раскопки вела и обнаружила на песчаном берегу аж целиковый взвод скелетов каменного века. Кстати, единственный во всем мире известный за Полярным кругом. Николке после таких страшалок сон привиделся про трупные скелеты.

...Вот переехали они с Седловатого на Большой Олений. А дело это во сне в самый разгар лета случилось, при незакатном солнце, теплыни в воздухе и штилевой тишине на море. На новом месте, как взрослые говорят, не спится. В полярное же лето ребята на островах и вовсе предпочитают отсыпаться днем, а по светлым ночам вволю «гуляй не хочу, шагай не спотыкаясь» вдоль и поперек по всему острову. Благо дел у них всегда достаточно. Да и взрослые под ногами не мешаются. Для них ночь — время сна по уставу маячной службы. Летом — всем,

поскольку в ясную и светлую погоду маяки бездействуют.

Словом, на Большом Оленьем уснули, а Николка пошагал к той самой песчаной лощине меж двух невысоких сопок указанным Толькой курсом: строго на зюйд. Легко ли идти и отыскивать во сне место, которого наяву ни разу не видел? Что такое норд с зюйдом и ост с вестом любой маячный дошкольник знает. Идти на зюйд — значит вдоль стреженя Кольского залива спиной к впадению его в Баренцево море. С этим Николка во сне справился не задумываясь. И даже на залив не надо смотреть: в полуночный час низко сидящее над горизонтом, утомленно-красное, совсем не слепящее глаза, солнце находится точно по компáсу на Севере! Такое можно наблюдать только в Заполярье... То есть шагай себе спиной к ночному солнцу и не собьешься с курса строго на зюйд. Представить же на южной окраине неведомого Большого Оленьего песчаную лощину меж невысоких сопок, расширяющуюся к воде и уходящую под нее, тоже просто: нужно только вспомнить летние купания на реке Угре в отцовой калужской деревне Дворцы. Прямо как выйдешь на высокий левый берег реки, пройдя отделяющее ее от деревни картофельное поле, так и спускаешься к воде по небольшому, но заметно год от года все удлиняющемуся в направлении Дворцов, овражку, что прорезывает отвесный глинисто-песчанный берег со множеством стрижиных гнезд, около которых с гомоном весь световой день стремительно вились говорливые птички. И расширяется овраг по мере спуска по его лощине, заканчивая большим пляжем, заполненном детворой и уже взрослеющими ребятами из Дворцов и окрестных деревень. Вот такой во сне Николки и оказалась песчаная лощина меж уходящих вправо-влево невысоких сопок-горушек, расширенная к воде.

Судя по не совсем высохшему, комковатому песку, в прилив нижняя часть лощины заливалась, а он пришел в самый отлив. Как ни мал годами и умом был дошкольник Николка, но по сходным местам берега Седловатого понимал: отлив идет водой с юга на север — по стреженю Кольского залива и подгоняет песок со дна в лощину, где тот и оседает. А в прилив вода по рогатым выступам окаймляющих лощину сопок, обратным курсом норд-зюйд, огибает южный берег острова и песок из лощины не сносит. Потому-то песок в такой удачно расположенной лощине и не растаскивается водой на глубину. Может и не сам додумался, а от Тольки знал, много чего ему сообщавшему на своем досуге про вечную борьбу суши и моря... Но что уж точно сам Николка во сне сообразил: лучшего места на сплошь гранитном, без земли, как все в тех местах, острове не сыщешь: копай себе без натуги песок хоть на десять метров в глубину, а песок этот, засыпавший древнего покойника, за много тысяч лет вода не стащит в море. «Мир праху твоему, человеци»,— как слышал Николка от попа во Дворцах на похоро́нах дальнего деревенского родственника...

♦ Детский ум ребенка убежден в бессмертие носящего его тела. Это правильно природа сотворила, ибо человек должен хотя бы первую треть своей жизни не задумываться о конечности своего бытия в этом не лучшем из миров. «Вкушая, вкусив мало медех, я се умираю» — это все на потом; поэтому, слыша малопонятные церковнославянские слова от дряхлого годами попа Маркела, что еще в революционном семнадцатом году крестил Николкиного отца, привезенного из Калуги на деревенское старообрядческое кладбище, Николка в свои шесть лет относил и слова, и все происходящее на кладбище посередь векового соснового леса — погосте даже без часовни для окрестных деревень и двух сел со старо-

верческим по происхождению населением — к чему-то никак его не касающемуся.

И во сне, попав на «остров мертвых», отыскав ту песчаную лощину на южной оконечности Большого Оленьего, Николка вовсе не опасался возможной встречи со скелетистыми мертвяками, бывшими людьми где-то под пять тысяч лет тому назад. Это из Толькиных пояснений. А такое число годов ему было трудно представить, невозможно пересчитать. Как число людей в Москве, Ленинграде и Калуге, через которые семья их ездила в летний отпуск во Дворцы. Спустившись с перемычки двух расходящихся в направлении воды невысоких сопок на прогретый дневным еще солнцем песок, Николка остановился. Следуя окаймлению этих сопок, песчаный пляж, как на Угре во Дворцах, расходился в стороны до тех пор, пока не уходил плавно ровным берегом в штилевую зеркальность залива. Перемычка сопок скрывала ранее светившее в спину низкое и багровое ночное солнце, но где-то с середины лощины и до берега песок золотился: сюда через перемычку и отроги низеньких сопок неугомонное заполярное солнце доставало. В этот светлый и тихий полунощный час прямо на траверсе Большого Оленьего, безлюдного, не считая явившегося сюда во сне Николки, «Острова мертвых», в Кольском заливе расходились встречными курсами, по морскому обычаю приветствуя друг друга гудками корабельных «сирен», старейшина еще царского ледокольного флота «Ермак» и новехонький крейсер «Киров». Первый, заметно накренившись на левый борт, как пожилой мужик вечером возвращается с тяжелого трудодня домой, кособочась от усталости, шел в порт приписки Мурманск, изрядно пообломав свои стальные бока полутораметровой толщины льдинами, направлялся после окончания зимнее-весенней проводки в Арктике судов Главсевморпути для отдыха экипажа и регла-

ментной починки на судоремонтном заводе в Росте, что на окраине Мурманска. Крейсер же, отсвечивая строенными стволами башенных двенадцатидюймовых пушек низкие лучи ночного солнца, держал от Североморска курс на выход в Баренцево море. А куда дальше? — О том знали только его командир в звании капитана и адмиралы в штабе Северного флота. И в Москве, кому по должности положено, ведали. Главное, чтобы враги-натовцы голову себе ломали в размышлениях и догадках...

Так рассуждали в действительности отец и другие мужики, наблюдая только что минувшим днем встречу «Ермака» с «Кировым» на близком траверсе острова Седловатого. ...Забегая же вперед: в первый год, уже не во сне, но наяву, жизни на Большом Оленьем третьеклассник Николка все на том же траверсе острова наблюдал встречу с приветственными гудками «Ермака» с только что спущенным на воду и прибывшим в Мурманск на свою долголетнюю службу первым в мире атомным ледоколом «Ленин». Много чего в своей детской маячной жизни на островах на выходе из Кольского залива в Баренцево море повидал Николка.

...Пока же он во сне шел по согретому дневным солнцем песку верхней части лощины, до которой не докатывались волны прилива, не остужали песок. В какой-то момент чуткие в полночной тишине округ («Ермак» и «Киров» закончили свое взаимное приветствование гудками) уши Николки уловили похрустывание в песке при каждом его шаге. Испугался: это ссохшиеся за тысячелетия скорбного лежания кости погребенных отзываются на Николкину ходьбу — как бы он аккуратно не ставил ноги на песок. И вообще — нехорошее это дело, ступать по останкам, даже такой немыслимой давности погребения. Испугавшись же, свернул влево и побежал, уже не прислушиваясь к доносившемуся из-под песка похру-

стыванью под ногами, к взлобку ближней пологой сопки, вбежал на нее и упал на вороничник, зацепившись за торчащий валунок — из земли маленькой зеленой лужайки на плоской вершине сопки, сплошь покрытой созревшей уже ягодой вороникой, которой люди брезгуют, но днем над такими полянами носятся с криками сотенные стаи чириков, сражаясь друг с другом из-за лакомой ягоды черного цвета...

Прогнав паническое волненье, Николке, чтобы не пачкать штаны красным соком раздавленных ягод, на тот же самый валунок и умостился. И вовремя же он, почуев неладное, улепетнул с песчаного погоста! — В разных местах его, от вершины лощины и до ее широкого впадения в воду, забурлили крохотные вулканчики округлого вздыбливаемого песка, а из них одно за другим начали выступать, поднимаясь на полуметровую высоту, копья с каменными остриями, вставленными в расщепленные надвое концы древков и туго обмотанными узкими полосками кожи, задубевшей за тысячелетия безделього лежания обочь своих хозяев... Все как Толька объяснял устройство древний орудий воинов и охотников и даже — для закрепления в памяти — изготовил слаборазумному еще брательнику короткое копьецо, взяв для наконечника подходящий остроугольный кремнистый камень, а для перепояски — крепления с древком, им же оструганной палкой,— вместо отсутствующей в хозяйстве кожи, от которой можно было бы отрезать узкий длинный ремешок, использовал прочного плетения бечевку. Этим копьем Николка щеголял по всему Седловатому до самого школьного года.

...И насчет числа обитателей погоста в песчаной ложбине Толька, уже обучивший брата («пора, малец, к школьным премудростям готовиться!») считать до пятидесяти, это уж точно, оказался опять прав: с вороничной лужайки сопки Николка таки и

насчитал этот самый взвод: тридцать копейных наконечников и еще один, роскошный, из позеленевшей в веках бронзы — явно комвзвода, то есть лейтенант по воинскому расписанию!

Но древние каменные (у покойного комвзвода — с бронзовым наконечником) копья не просто так пробили толщу песка, чтобы показать Николке кто здесь хозяин: их острия раскачивались сначала из стороны в сторону, а затем и вовсе завертелись в маленьких кругах. И сами древки то поднимали наконечные острия на полметра от песка, то уходили восвояси, оставляя глазам Николки только острые камни (у комвзвода — бронзу) наконечников. Этим обитатели древнего погоста прямо, без окололичностей и намеков, говорили потревожившему их многотысячелетний покой мальцу: не мешай нам, парень, не до тебя, занимайся своими делами, а по разворачивающейся только еще своей жизни иди осторожно, всегда под ноги гляди — не пораниться бы тебе о копье!

...Тот странный сон Николка забыл было в новой обстановке школьно-интернатской городской жизни, но после разговора по телефону с матерью о завтрашней дороге на Большой Олений с пронзительной четкостью вспомнил...

ДОРОГА С ДВУМЯ ПЕРЕПРАВАМИ И ЧЕРЕЗ ОДИН ОСТРОВ НА ДРУГОЙ

♦ ...И вспомнил по причине повторившегося в ночь на тридцать первое декабря, после дневного телефонного разговора с матерью, давнего сна об общении с подземными обитателями Большого Оленьего. Только в этом, зимнем, варианте песок ложбины был покрыт метровым слоем слежавшегося в недавней оттепели снега с хрусткой подмороженной корочкой. Соответственно таковому времени года копья

с каменными наконечниками (у комвзвода с бронзовым) бурунили не песок, но, проломив хрустящую корочку, комковатый слежалый снег. Уже набравшийся за два с половиной года школярства материалистической (еще не с приставкой насчет марксизма-ленинизма!) мудрости, Николка сна не напугался, но поутру даже ухмыльнулся пару раз, вспоминая рассказы Анфисы Петровны, иногда любившей выходить за рамки начальных классов, дескать, подробно будете изучать в таком-то классе, про погребение египетских фараонов в пирамидах...

Николка еще вчера специально, то есть внеурочно, сходил в школу, нашел в учительской Анфису Петровну: мол, завтра прошу отпустить с уроков, объяснил причину. Та, поздравив с переездом «ближе к городу», отпустила восвояси. Заведующая интернатом Нина Тимофеевна, понятно дело, уже из телефонного разговора матери с Николкой все знала. Так что после завтрака он пошел в свою палату, скоренько собрался и, время от времени поглядывая в окно на черноту полярной ночи, медленно и неохотно подергиваемую все светлеющей синевой, ожидал прихода матери, сидя на своей кровати и читая взятую накануне в школьной библиотеке книгу «Путешествие Гулливера».— Сам готовясь к путешествию с двумя переправами и через один остров на другой.

Когда синева за окном — оно было единственным в длинной, узковатой палате — приобрела оттенок хулигански разбавленных Сашкой Белозеровым в его непроливайке водой чернил, отчего перо оставляло на тетрадной странице бледные, плохо читаемые буквы, что означало десять — половину одиннадцатого на часах, что висели над входом в столовую на первом этаже, дверь в палату растворилась, вошла мать с пустой еще сумкой и без сетчатых авосек. Значит, в магазины еще не заходила.

— Анфису Петровну предупредил? А Нине Тимофеевне вчерась спасибо сказал? Одевайся тогда, еще по магáзинам успеть, ведь на новом месте был — небыл, а без припаса заглох широк двор! Пошли в Циркульный, а на обрате, все одно через Старый Полярный итить, еще в попутные зайдем.

С собой на длинные зимние каникулы, кроме начатого Гулливера, Николка взял еще пару библиотечных книг и назначенную в постирку и починку одежонку. Спускаясь с матерью вниз по улице, что начиналась от школьных порожков и вела к мосту, упиравшемуся в дэкаф, летняя танцплощадка справа перед фасадом которого сейчас украшалась наряженной елкой, привезенной из Мурманска — деревья в этих местах не растут,— Николка по опыту всех предыдущих приездов за ним матери уже знал начерно «список» покупок. Охотничьи припасы, табак «Золотое руно» и обандероленные упаковки «Беломора» — для отца, обязательно чай, малоинтересные для него одежда, материя и швейные всякие причандалы, иногда батареи для радиоприемника, когда прежние иссякли, разрядились.... Поскольку маячники в полном наборе обеспечивались в осенний и весенний завозы продовольственными пайками, треску ловили сами, тож птицу прилетную стреляли, грибы и ягоды вволю заготавливали, то из съестного мать покупала только «на приварок», как это по-флотски называл отец, то есть для лакомства и разнообразия: копченую колбасу, куски окорока и, если случалось, буженины; для ребят конфеты, пряники, печенье (в паек его давали сухое, слабосладкое), халву и особо любимые Николкой коробочки с орехами в шоколадной оболочке.

Спустившись по пологой крутизне улицы меж рядов справа и слева выходивших торцами двухэтажных деревянных, оштукатуренных домов, которыми застроен Новый Полярный, к мосту, свернули

вправо и мимо уже кирпичных, но тоже оштукатуренных домов и здание штаба — все довоенной постройки — вышли на широкую площадку с фигурной чугунной балюстрадой, «по циркулю» огибавшую фасад Циркульного дома. За балюстрадой стоял высоченный памятник Сталину, а выложенная кремнистым норвежским гранитом стена площадки слева направо все увеличивалась в высоту по мере того как дорога — продолжение улицы — уходила вниз к пирсам Екатерининской гавани.

Весь длинный закругляющийся первый этаж Циркульного дома был занят магазинами, каждый со своей входной дверью с опарапеченной площади. Мать долго не задерживалась, торопясь выбраться из города до полудня, когда в отсветах загоризонтного солнца синева неба хоть ненадолго, но позволяла видеть под ногами снежную тропу, по которой им предстояло из конца в конец пересекать Екатерининский остров. Главное — и отец может их рассмотреть в бинокль от маячного дома и выйти на шлюпочную переправу.

♦ Обратная дорога от Циркульного магазина через Новый Полярный, Чертов мост, опять же весь Старый Полярный с заходом в два его магазина и далее до переймы* заняла без малого полтора часа.

---

* Поскольку настоящее повествование в части фактологии сюжета и характеристик главных персонажей в определенной степени автобиографично, то слово «перейма» в бытность своего детства и взросления воспринимал, равно как все жители Полярного и его окрестных мест, однозначно — переправа на шлюпке через юго-восточный выход — пролив из Екатерининской гавани в Кольский залив. Поскольку мне недавно возразил главный смотритель Музея истории Полярного <имярек>, что-де перейма суть перемычка, перешеек в некие времена (?) вроде как в отлив обнажавшая песчаную «обсушку», то не поленился провести небольшое этимологическое розыскание, используя авторитет Даля, «Этимологического словаря» Фасмера и др. Внешнее созвучие слов «перейма» и «перемычка» суть

В общем в условный световой день пока укладывались. Николка, за два с половиной года полярнинской жизни исходивший в хорошую погоду, особенно в начале осени и в апреле-мае, все окрестности города, раскинувшегося от Пала-губы с ее военным судоремонтным заводом, далее собственно город на берегу Екатерининской гавани, и до губы Кислой, из которой ходили до Североморска и Мурманска пассажирские рейсовые катера, конечно же не раз и не два бывал на перейме — узком, сравнительно с другим, западным, проливе из Екатерининской гавани в Кольский залив, отделявшем материковый берег от Екатерининского острова. Корабли с большой осадкой, те же подлодки, выходили в залив через широкий и глубокий западный пролив из Екатерининской гавани. Через перейму шли катера, буксиры и иногда, явно с какого-то перепугу, заплывающие в гавань касатки — наверное, отбившиеся от своей стаи.

С полярнинского берега место здесь необитаемое, а напротив через пролив «живая» часть Екатерининского острова: пара солидных рубленых двухэтажных домов, каждый на несколько семей, и небольшая казарменная постройка с наблюдательным мостиком — какая-то вспомогательная флотская береговая служба. Как пояснил всезнающий Толька, пересекшийся

обычная фонетическая обманка. Корень слов, обозначающих переправу (перейма, паром...), восходит к праязыку-санскриту. От него схожие слова в кельтских языках (тот же древнеисландский), в греческом — πορυμός и др.— все обозначают место переправы, саму переправу, пролив и пр. Северное русское «переймище», от которого и идет «перейма», обозначает расстояние между чем-то двумя... Но может прав и <имярек>, ранее обсушка имела место быть, но в 1930-е годы, обустраивая Полярный под главную базу Северного флота, для второго выхода из Екатерининской гавани пролив углубили и расширили. Я просто привел выше свои доводы. ...Кстати, и в южном русском говоре слово «впереймы» означены «поперек пути».— Прим. авт.

в школьно-интернатской жизни с первоклассником братом, в двух здоровенных домах проживают гражданские люди с семействами своими, а обслуживают они флотской принадлежности метеостанцию, раскинувшуюся своими будочками на ходульных ножках, ветродуйными пропеллерами, полосатыми матерчатами «рукавами» и прочим хозяйством, на вершине береговой сопки — прямо по деревянным ступеням вверх от домов. Впрочем, добавил Толька, метеосмотрители проживают в одном из этих домов, а в другом устроен какой-то хозяйственный склад с парой гражданских то ли сторожей, а может и кладовщиков... Главное же, что крепко запало в Николкину память из Толькиных рассказов,— именно с этих двух домов со стенами из почерневших от времени, без малого в обхват, бревен, и начался в конце прошлого века и сам Полярный. Именно на берегу Екатерининского острова, а не на материковом напротив, в свежесрубленных по-архангельски, то есть о двух этажах с высокими потолками, в несколько плетей бревен по длине, с печками-голландками в железной обшивке, домах разместилась вновь организованная компания коммерческого порта, место которой выбрал царский министр Витте, сам здесь побывавший.

Когда в прошлом году еще второклассник Николка с двумя интернатскими дружками в теплый, недождливый сентябрьский день впервые дошел до переймы, то его восхитили шлюпочные причалы на полярнинской и противоположной островной сторонах, явно совсем недавно устроенные: бревна и доски еще желтели и пахли сосной. А этот запах Николке хорошо знаком по ежелетнему пребыванию во Дворцах, стоявших на опушке сплошного, «корабельного», как его называл отец, соснового леса... А восхитило устройство причала: учитывая разницу в уровнях воды в отлив и прилив в несколько метров, собственно причал, бревенчатый сруб, покрытый сверху

досщатым настилом, являлся плотом на свободных якорях. Деревянный же, с перилами трап на бревенчатой основе закреплялось своими концами шарнирно на береговом створе и краю плота-причала. Ребята пришли на перейму в самый отлив, трап уходил под ноги с берега на причал очень круто, спускаться надо осторожно, не выпуская из рук перила. ...Ради утоления своего любопытства, через пару дней Николка пришел, уже один, на перейму, подгадав полный прилив. Как маячный житель «со стажем», он и без сверки часовой стрелкой, почти что нутром своим, сидя, например, за школьной партой, чувствовал это приливно-отливное дыхание моря... Так вот, в прилив, когда плавучий причал поднялся на полную длину якорных цепей, трап почти повис над уровнем воды, едва ее не касаясь...

♦ Еще в хожденьях по Полярному и пути к перейме мать рассказала о маячниках нового места житья и работы. Поскольку только вчера обосновались на Большом Оленьем, еще не вжились, главное, отец не успел всех взрослых обитателей маяка «окрестить» едкими, но все объясняющими в характерах и поведении, прозвищами, мать просто перечислила обитателей единого, общего здесь маячного дома: во всю длину дома коридор, справа-слева которого маленькие, но со своими печами — кухоньками, квартирки жильцов и просторная пекарня с большой русской печью, со столами и лавками по стенам. Вроде как маячный «клуб». А перед коридором — со стороны входа в дом — застекленная, тож поместительная, веранда, опять же со столом и парой лавок, и общая кладовка с отсеками полок для каждой семьи. Дом стоит на укосе сопки, поэтому с мористой стороны, где высокий фундамент, в подвальном полуэтаже расположена мастерская с отдельным входом с торцевой стороны дома.

По причине того, что маяк здесь не громадная

«сирена» Седловатого, но небольшой *наутофон*, то есть издающий в туман и штормовые ночи визгливо-лающие частые звуки, то и обслуга чуть поменьше седловатовской, с ними, вновь прибывшими, четыре семьи, но с работой не для всех женщин: начальник — старший брат лопаря Седалина, что на Седловатом, с бездетной женой Прасковьей, Просей в общении. В семье Степана и Анны Канатчиковых знакомые Николке по школе и интернату Вовка, что учится в четвертом классе, и второклассница Настеха. За ними Анна приходила еще вчера, когда Николка был на уроках, потому до телефонного звонка матери и не узнал от нее о переезде на Большой Олений.

Николкиной же матери дорогу через Екатерининский остров и порядок переправы на перейме сегодня утром разъясняла жена Егора Пряхина — третьей семьи на маяке — Наталья, Натаха в разговоре, с шестилетним своим Петькой шедшая в город, а потом из Кислой губы на рейсовом катере направлявшаяся в новогодние гости к сестре, чье семейство проживало в Коле — пригороде Мурманска, между реками Колой и Туломой. Натаха и сама родом из Колы.

Про старшего Седалина Николка еще дошкольником на Седловатом знал по случившемуся на острове происшествию, в благополучном завершении которого заметную, если не основную роль сыграл его отец. На Седловатом, да наверное и на большинстве островных маяеков, никакой связи с внешним миром не имелось. Просто раз в месяц — полтора политотдельский катер из опекающей маяки флотской службы, то есть гидроотдела, объезжал «точки», интересовался жизнью обитателей. Черномундирный капитан или майор проводил политбеседу о бдительности и трудовой дисциплине. Сопровождавший его старшина приносил в самое большое маячное помещение киноаппарат, навешивал экран и «крутил фильму». В это же время инженер с техни-

ком — без формы, гражданские на военной службе — осматривали маячное оборудование в работе. «Жалобы на что-то есть?» — «Жалоб нет». С тем катер отчаливал от седловатовской пристани-каменюки и убывал на следующий в маршруте маяк: на острове Торос, где отец в войну служил, на мысе Лодейном и далее уже по побережью, омываемому Баренцевым морем...

Как-то в середине зимы, в самые шторма, когда даже в полдень солнцу не удавалось из-под горизонта хоть малость подсвечивать заволоченное черными снеговыми тучами небо, в их дом, стоявший поодаль от общего маячного, спешно вошел Колун — начальник Седловатого Федоров: «Андреян, выручай! Ты же по флотскому делу сигнальщик. У Седалина, язвенника тя в душу, нехорошее: катается от боли по полу, кровищей рвет. В Полярный его надо, а в такой штормягу на моторке далеко не дойдешь... Давай сигналь по морзянке в сторону Большого Оленьего. Там военный пост, примут. И старшой брат у Седалина начальником маяка, достучатся до Полярного, связь у них имеется. Пошли!»

...Повезло лопарю Седалину с его прободной желудочной язвой, что в тот день шторм разогнал все кромешные туманы над морем между Седловатым и Большим Оленьим, а до штатного включения большого вращающегося округ себя прожектора оставалось минут сорок. Если бы чуть позже — каюк Седалину бы пришел: останавливать вращение прожектора, значит, Федорову идти под суд и получать приличный срок. Словом, отец навел огромный, с человеческий рост прожектор прямиком на пост СНИС'а* и, давя точки-тире рубильником включения-выключения прожектора, просигналил азбукой

* Служба наблюдения и связи (флотск.) — Прим. авт.

Морзе текст о происшествии. С поста дали ответный сигнал: «Поняли. С Полярным связались. Катер выходит».

Катер с врачом на борту скоро, насколько позволял разбушевавшийся шторм, прибыл и отвез Седалина во флотский госпиталь Полярного прямо на операционный стол. Из госпиталя его отправили для поправки здоровья в санаторий, тоже флотский, под Выборгом. Вернулся он на Седловатый повеселивший и с зимним загаром от лечебных процедур.

...Отец очень обижался, что спасенный привез для него всего лишь одну бутылочку водки, к тому же карельского, петрозаводского рóзлива, с каким-то известковым осадком на донышке. «Вот делай после этого людям добро»,— не раз и не два ворчал он при случае.

Вот тогда-то и запала в голову Николки фигура Седалина-старшего. А сейчас судьба и вовсе их сводила.

♦ Еще мать с видимым удовольствием сообщила, что, в отличии от прежних *их* маяков, Палагубского и Седловатого, Большой Олений и по размеру поболее, главное, людьми побогаче: кроме маячников, тот самый пост СНИС'а, на который с Седловатого отец морзянил прожектором о захворавшем Седалине-младшем, с полуотделением матросов, и зенитная батарея, установленная еще в начале войны для защиты Полярного от налетов немецких бомбардировщиков с норвежских аэродромов, с целой казармой солдат и офицерским домом. «Будете в кино в казарму ходить. Сам капитан, командир зенитчиков, отдал распоряжение насчет маячной ребятни». Вот тебе и «остров мертвых», усмехнулся Николка *детским* своим страхам...

— Мам, а почему такое название — перейма? — спросил Николка, когда они, обогнув высокую сопку, которую именуют, как он слышал от Анфисы

Петровны, почему-то горой Энгельгардта*, явно фрица — и это в военно-морском городе Полярном! — начали осторожно спускаться с крутизны по расчищенным от снега деревянным мосткам, так и сяк вертящимся по ложбинкам сопки, к плавучему причалу.— Я спрашивал у Тольки и Анфисы Петровны, но они не знают.

— По-нашему, по-архангельски...— Далее мать, как всегда, коль речь заходила о чем-то родном для нее архангельском, непроизвольно начинала говорить не на обычном русском языке, а на похожем на него, но все же другом наречии, на котором разговаривают в ее онежском селе Великий Халуй. Николка еще сызмальства знал: когда отец и мать поженились, а он только родился, Андреян целых два года переучивал мать говорить по-русски, чтобы окрестные люди ее понимали... При отце-то она обычным языком разговаривала, но с маленьким Николкой, сам-двое, переходила на родную речь. Поэтому и подросший Николка эту речь понимал, даже мысленно не «переводя» ее.

Выходило, что перейма, или переймúще, по-архангельски означает расстояние, вот здесь пролив между материковым берегом и Екатерининским островом, который надо переезжать на шлюпке.

На причал они спускались держась за перила трапа, который стоял сейчас довольно круто — от-

---

* Александр Платонович Энгельгард, конечно, из обрусевших немцев, в начале XX века являлся архангельским губернатором, к каковой губернии был «приписан» Кольский полуостров. Пройдя пешком и на лодках через весь полуостров от Кандалакши до Екатерининской гавани — инспектируя лично прокладку телеграфной линии, связавшей центр страны с Колой и Норвегией,— Энгельгард и стал «крестным отцом» (в 1899 году) города Александровска, будущего Полярного. Новый город стал главным (вместо прежней Колы с XVI-го века) в Кольском уезде — нынешняя Мурманская область — Архангельской губернии.— Прим. авт.

лив вот-вот достигнет нижней своей отметки. Наталья Пряхина научила мать: если идешь из города, то надо с причала во все горло кричать через пролив: «Эй, на перейме! Перевезите!» — И кто-нибудь, из гражданских метеорологов или из морячков с поста, прибудет на шлюпке. Или в ответ крикнут: «Подожди малость, сейчас своего в город доставляем и вас в обрат возьмем!»

— А обязательно перевезут,— засомневался было Николка,— мы же для них чужаки?»

Но мать успокоила; как ранее разъяснила Наталья Пряхина, чужому и в голову не придет на Екатерининский переправляться, а обитатели Большого Оленьего для них свои люди.

Но опробовать «Эй, на перейме!» даже не пришлось. Только спустились по крутому трапу на причал, как увидели отчаливающую от такого же на противоположном берегу шлюпку-двойку: на веслах и на задней, «пассажирской», банке в матросских шинелях и шапках. Значит с поста мореманы сухопутные.

Перед самым причалом гребец резко протабанил* шлюпку и, развернув ее, кормой ровно уткнул в причальный борт. С кормы на настил причала лихо шагнул старшина (второй статьи, машинально отметил про себя Николка: на квадратных погончиках по две лычки) с чемоданчиком, явно в краткосрочный отпуск.

— Ну-у, Андреич, отличник боевой и политической, хорошей тебе погоды за бортом! Смотри, особливо не заштормi на родине по этой части (гребец прищелкнул указательным пальцем по кадыку). А вы, мадам, со своим школяром — милости прошу на борт!

Судя по флотской разговорной манере и таким же

---

* То есть, опустив весла в воду, затормозил движение шлюпки (флотск.) — Прим. авт.

двум лычкам на погонах, мореман явно не первого года службы*. Налегая на весла, поинтересовался:

— На Большой Олений? Я здесь на берегу давненько уже застрял, всех ваших знаю, а вы вот вновь. Погостевать на Новый год к родственникам? Хорошее это дело гостеванье...

Мать разъяснила: новые маячники. Домой движемся, вот за парнем в интернат ходила.

— Ну-у, значит будем знакомы, увидимся еще не раз.

Так же лихо подтабанив и пристав кормой к Екатерининскому причалу, бравый старшина пожелал пассажирам протоптанной тропы через остров, а сам занялся швартовкой шлюпки к плавучему причалу, используя в качестве носового фалиня мелкозвенную цепь — навроде собачьей будочной.

♦ Николка уже знал от отца, что все здешние старые названия родом из архангельских краев, те же давние поселения, *становúща* по-старому, на берегах Баренцева и Белого морей — Терский берег, как его называют, навроде Териберки, Иоканьги, Кандалакши, Ваенги, что сейчас город Североморск, Печенги, Варзуги, Умбы, что он часть слышал по радио в областных новостях — все они были основаны архангелогородскими поморами. И понимал почему: в те времена, когда Кольский полуостров, особенно его побережье, наглухо отделялось от остальной страны непроходимой тысчеверстной карельской тайгой, кольскими Хибинскими горами, тундрой и озерами, попасть и поселиться на побережье — ловить треску и селедку, бить морского зверя, китов и тюленей — единственно можно было, причем достаточно просто, водным путем с архангельского Поморья через Белое и Баренцево моря. Поэтому-то он,

* В описываемое время срок флотской службы составлял четыре года.— Прим. авт.

как должное, не вызывающие никаких сомнений, и принял объясненное матерью значение слова перейма.

...Слово-то словом, но Екатерининский остров и именно со стороны гавани круто горист. И дорога от причала, мимо жилого дома метеорологов («Здесь у отца проживает знакомый, со времени войны. При случае переночевать можно»,— кивнула мать в сторону дома), сразу, «без разминки», взяла по-альпинистски вверх на сопку, хорошо по ступенчатым, расчищенным с утра от снега лестничным пролетам, не везде состыкованным, если встречалась крохотная горизонтальная площадка. Понятно даже малосмышленному дошкольнику, не говоря о солидном третьекласснике, что лестничный путь взбирался на вершину сопки и содержался в чистоте от снега не ради маячников и других обитателей Большого Оленьего! Это для метеорологов все четко, по-флотски устроено,чтобы им в любую непогодь без заминок, строго по расписанию подниматься на метеостанцию, каковую Николка и увидел чуток справа, одолев последний пролет лестницы и вступив на снег пологой вершины сопки. Также основательно, по-флотски, площадка станции с ее вышками, полосатыми матерчатыми «колбасами», вращалками, будками на табуреточных опорах огорожена квадратом металлической изгороди, что навроде пружинных сеток в их интернатовских кроватях. Все проходы и подходы к метеоприборам также аккуратно, «по линейке», расчищены от снега.

Но весь этот порядок метеостанции, ответственно обслуживающей значимую часть Северного флота, Николка отметил для себя мельком. Даже не развернутая, как в кино про войну или северных путешественников, представшаяся ему с высоты сопки картина гористого Екатерининского острова, а за ним низкого, пологого Большого Оленьего, отвлекла его глаза и внимание от метеостанции, но начавшая-

ся дорога по снегу, не прямая, что называется по азимуту, но вертевшаяся по ложбинам между небольших сопок обочь правого, низменного берега острова.

Месяц декабрь, уходящий сегодняшним предновогодним днем, выдался, явно перепутав себя с февралем, умеренно снежным, но метелистым, а неделю назад и вовсе с небольшой, трехдневной оттепелью. Поэтому здесь, на низменной, близкой к береговой части острова, продуваемой — от вершин сопок противоположного берега и до Кольского залива — преобладающими северо-западными ветрами, при таком раскладе «перепутанного» декабря образовался к его окончанию прочный наст, который и сам бы выдержал идущего в валенках негрузного человека, но здесь еще и чуть углубленная тропинка наличествовала от не столь частых, но относительно регулярных ходоков с Большого Оленьего. А повысившееся внимание Николки разве что обычная осторожность человека, впервые проторивающего себе новый, ранее не ведомый путь... Дорогу к новому дому с двумя переправами, одна из которых уже преодолена, и через один остров на другой.

Николка шел впереди матери, благо зимнее, загоризонтное солнце в этот полуденный час самую чуть не дотягивало до показа своей «шапки» заполярным людям, а косым, преломленным на небесных облаках, отсветом оттеняло несколько углубленную тропинку среди ровного, даже без прямого солнечного света серебрившегося ветродуйного наста. Пяток минут ходьбы — и вроде как сами ноги в валенках ступают куда им положено. А спуск с «метеосопки», справа от которой толстый мыс еще на полкилометра тянулся на восток к заливу, шел легким и пологим — для ног и глаз.

♦ Тропа вниз с сопки шла ровно, с плавным округлением поворотов — чуть вправо, чуть влево,—

явно следуя череде телефонных столбов, которые при прокладке линии (в войну, как потом узнал Николка) устанавливали не «по линейке», что экономило бы провода, но следуя рельефу, наиболее удобному для работ, которых на скалах, лишенных земли — только тонкий слой тысячелетиями слежалого торфа — при установке столбов предостаточно. Николке уже по Полярному хорошо было известно, что в этих голоскальных местах столбы, всякие — электрические, телефонные и телеграфные, не «врывают» в отсутствующую землю, но устанавливают иначе: делают бревенчатый сруб размером со школьную парту, в центр которого устанавливают столб и заваливают камнями, которых вокруг предостаточно. Зимой метровой высоты сруб сравнивается с окружающим снегом, так что обманчиво кажется: столб основанием своим зарыт в землю...

Спуск с пологой сопки закончился — впереди и слева, размером с два футбольных поля*, удивительно ровная площадка, сейчас кипенно-белая, без каких-либо всхолмий и ям. Слева от нее начинались взлобки высоких западных сопок острова, с севера, курсом на который шли Николка с матерью, прямо и отвесно вырастала из снежной равнины крутобокая со всех сторон, довольно высокая гора. А справа эта «футбольная» площадка столь же круто обрывалась в Кольский залив. Но что с интересом отметил Николка, ибо шли они близко от края изгибающегося на пару-тройку метров берега,— обрыв этот не гранитно-скальный. А какой? — Ответ пришел, когда тропа совсем приблизилась к берегу у бухты-

* Провидческое сравнение пришло в голову третьекласснику Николке: в настоящее время именно здесь, на Екатерининском острове, устроили футбольные поле. А прежнее, в Полярном, между двух сопок, с выходом к пирсам Екатерининской гавани, ... отвели под стоянку легковых автомобилей — и сюда жажда частной собственности пробралась! — Прим. авт.

впадины с длиной вглубь Екатерининского и шириной, как Николка прикинул, в которой без малого поместилась бы треть острова Седловатого, который он за годы жизни там «измерил» ногами и глазами вдоль, поперек и, что называется, по диагонали с точностью до пары метров... Вершина бухты, медленно, но упорно, тысячелетиями вгрызающаяся в остров, являла собой десятиметровой — от уровня воды — вертикально прямой обрыв со стенами из слежалого морского ила. ...Уже годами позже, поумнев от школьных уроков физической географии, Николка сообразил: все это пространство в треугольнике между южными, западными и северными грядами сопок и открытое с четвертой стороны к заливу, в древние геологические времена, когда над тогдашним уровнем моря торчали только вершины самых высоких на острове гор, было намыто на высоту пятиэтажных домов, которые только начали строить в Полярном, илом и песком, натащено миллионами лет ежесуточных приливов — отливов. Примерно так им объясняла, правда, не по поводу Екатерининского острова, школьная географичка, много чего по жизни знавшая. В том числе и по своему предмету.

...А в самых старших классах и вовсе сообразил о причине почти на глазах — всего за четыре неполные года жизни на Большом Оленьем — все углубляющейся в тело острова Екатерининского этой песчано-илистой бухты: море в шторма прямо-таки слизывало метр за метром, въедалось в сушу, обрушивая слежалый ил вершины бухты, явно имея диспозицию, утвержденную кем надо из начальства природными стихиями, добраться воде залива до дальних еще сопок западной гряды, то есть перерезав сушу более чем на половину размера острова в этом направлении. И не только метр за метром! По третьему году житья на Большом Оленьем, когда уже самостоятельный во всем шестиклассник Никол-

ка, предводительствуя школярами-интернатовцами, младшими братьями Славкой и Сережкой, правда, по оговоренным заранее с родителями дням, лично тропил путь — братья за ним гуськом — домой по снегу Екатерининского, то при спуске с метеосопки вспомнил слова матери, неделей раньше приходившей в Полярный. А рассказала она интересное: после длившегося несколько дней позднеянварского шторма та самая бухта, не выдержав «девятых валов», ухнула вниз своим слежалым илом, продвинувшись, причем расширенно в своих берегах, почти на десяток метров вглубь острова. «Ужотко пойдете на тот выходной домой, под ногами тропинку ладьте левее от берега!»

И лишь совершенно самостоятельный, особенно в части мыслительных упражнений, городской житель и старшеклассник, откликавшийся только на полное имя Николай, от приятелей — Колька или Колян, прочитавший множество научно-популярныхх книг, четко расставил все по местам: почему миллионы лет в межгорье погруженного в морские воды будущего острова отливы — приливы намывали песок и сотворяли многометровую толщу ила, а после снижения уровня Мирового океана до нынешнего еще многие и многие миллионы никакой бухты на острове с будущим названием Екатерининский и в помине не было, был ровный низменный берег, поросший на наметенным временем торфе вереском и вороничником? А только совсем, по геологическим и историческим меркам, недавно, уже на памяти первопоселенцев этого края, все стремительнее год от года нарастая, бухта возникла и пошла себе пробиваться через остров вымываемым штормами и теми же приливами — отливами миллионами годов ранее запасенным песком и илом. Что же случилось, что стронуло все это и потянуло в обрат в море?

Не только популярные научные книжки (библио-

текарши хвалили его и ставили его познавательный интерес в пример другим) помогли Николке — старшекласснику Николаю дойти до истины, но... растущий год от года, от отпуска родителей до отпуска, на окраине калужской отцовой деревни Дворцы, прямо от крутого изгиба реки Угры овраг.— Та же бухта, только впадающая «посуху» не в море, но в реку. Не то что сторожилы Дворцов, все сплошь дальние родственники, как это в деревнях бывает, отца, но даже его младшая сестра Настасья говорила, что «овраг случился и пошел-поехал» уже на взрослой ее памяти, «как будто вчера это еще было, уже точно после войны».

Сравнивая скороспелость деревенского оврага и илистой бухты Екатерининского острова, держа в голове недавно прочитанную книжку «Борьба моря и суши», Николка — Николай и пришел к решению самому себе заданной загадки. Даже и не помышляя, что решил задачу (правда, без формульного ее «обрамления») из сложной отрасли современной ему теоретической физики*. Задача эта и ее решения (без формул...) издавна известны всем людям по пословице «лиха беда начало». То есть стоит себе миллионы лет берег как берег, хотя бы и из ила. Покрыт торфом древним, на котором вереск и вороничник, переплетясь корнями, предохраняют от разрушения. Но вот как-то невзначай, без выбора слабого места, в сильный шторм ударила высокая волна в это слабое место, сорвала тонкий торфяной слой и вдобавок вышибла с низу крутоватого бережка несколько кубометров ила. И — пошло-поехало от шторма к шторму, от прилива к отливу и обратно. Вглубь острова вымывает, а заодно и вширь, а чем

* Теория устойчивого неравновесия, или, что то же самое, неравновесной устойчивости + теория нелинейной бифуркации.— Прим. авт.

шире, тем и вглубь дело идет сноровистее. Как будто время ускоряется...

♦ Обогнув коварную новодельную бухту, далее не един год занимавшую склонную к размышлениям голову, миновали остальную ровнехонькую половину «футбольного поля», затем слева обошли крутобокую сопку-гору, что, кстати говоря, заботливо защищала от наиболее назойливых, холодных северных ветров пройденную просторную площадку, где, действительно, никакого ветродуя не наблюдалось. У взлобка спасительной от ветров горы даже росли кустарник и скукороженные, с тонкими витыми стволами березки чуть повыше Николки. Великое дело в заполярных местах защита от злого норда — дыхания полюсной ледяной Арктики.

— Где долами, а где и горами идем,— сказала мать, когда сопку обошли,— привыкай, Колька, к новой дороге. Уже умом-то рослым должон быть, скоро и сам будешь добираться. Заплутать-то негде: за спиной перейма, а вон из-за горушки и *наш* остров показался! Отец к двум часам на перевоз придет, и мы успеваем как раз.

Мать приостановилась, что шедший впереди Николка уловил по замершему похрустыванию наста за спиной. Сам обернулся. А мать, стащив левой рукой самовязанную (у Николки тоже ее вязания) рукавицу с другой, чуть оттянула край рукава пальто и посмотрела — сверила время на своих часах, которые всегда очень боялась потерять — золотые они были. Николка помнил хорошо тот год их житья на Седловатом, когда оба родителя работали, В Полярном учился и жил в интеранте один Толька, то есть «длинные» заполярные рубли тратились только при отпускных поездках во Дворцы. Наверное по причине некоторого их избытка и присущего северянам неназойливого красования на людях — не козыряй заслугами своими, да марку держи, едучи на Боль-

шую землю! — по настоянию отца все семейство прибарахлилось: золотые часы себе и матери из Циркульного магазина, платья матери из настоящего китайского шелка, разная одежа — обувка для всех добротного фасона... Сам отец придерживался особого флотского щегольства: сшитый в калужском ателье костюм из — тоже настоящего — английского бостона, все из того же Циркульного магазина, стетсоновская, как он именовал ее, шляпа, галстуки. Все это великолепие завершал длиннополый плащ-реглан из тонко выделанной кожи — еще военных лет подарок от сдружившегося с ним английского офицера, что нес службу по части караванов ленд-лиза на одном с отцом посту СНИС'а на острове Торос.

...Но все это козыранье — для летних поездок. На маяке же одежда по погоде, рабочим вахтам и домашнему хозяйствованию — все из казенного «обмундирования»: овчинный полушубок, ватник-фуфайка, сапоги, валенки, шапки с кожаным верхом, холщевый комбинезон, а летом — кто во что горазд. Только часы, хотя бы и золотые, круглогодень на руке: маячная жизнь вся расписана должностными инструкциями по ним... по часам и минутам. То есть часовая и минутная стрелки здесь востребованы, а золотой корпус? — Нужен, как после ужина горчица... Но потерять было бы крайне обидно.

Действительно, за останавливающейся нордовый ветер крутобокой горушкой тропа шла, как по линейке отчерченная, по снежному полю и кособоко к полого спадающему к берегу предгорью — все тому же, западному. Коль скоро время уже половина второго, воздух заметно густел темной синевой, а все что далее за полкилометра смотрелось неясным, дрожащим абрисом. Вот и весь «день» в разгул полярной ночи! А тут, как всегда внезапно, дотоле темно-синие тучи и вовсе почернели. Ага, вот сейчас заряд ударит, заснежит. И точно: задуло ветром с

севера, небо, тотчас потеряв черноту, размылось в грязную серость, с подсвистом ветра посек щеки крупчатый снег*, но ветер столь же внезапно стих, а на смену секущей крупчатке важно, медленно, так что различались одна от другой крупные фигуристые снежинки, из молочно-побелевшего неба повалил радующий почему-то пушной снег, что мать на своем архангельском говоре называла падью...

Но сейчас уже любой снег, даже идущий стеной в полном тумане, как то бывает по берегам залива, не страшен: до берега — места переправы на Большой Олений — дойти не ошибешься, не собьешься с пути! Всего-то две-три сотни метров. Но зато шаги по этим самым метрам — не вытанцовывать по насту верховой части острова! За предшествующие зимние месяцы северный и северо-западный ветра погуляли метелями по пологой к берегу равнине, весь-то снег и стащили поближе к низовой линии края острова. Даже имея под ногами еще утром проторенную тропу, приходится вытаскивать ногу для следующего шага с поколенной, выше голенищ валенок рыхлой глубины.

Вот и берег, омываемая тихим штилем воды галечная крохотная бухточка для причаливания шлюпки. А через неширокий пролив между островами даже через идущий, медленно падающий снег различен отец, подходящий к вытащенным на пологий песчаный берег шлюпкам-двойкам: у каждой маячной семьи своя, вовсе не казенная, тем или иным путем обретшая своего постоянного хозяина, следующая за которым при переселениях с маяка на маяк. *Свою* шлюпку Николка помнил еще с Палагубского маяка, а на Седловатом уже постигал в летнее время от отца все ремонтные со шлюпкой регламентные работы:

---

* То есть снег пополам с мелкими, бесформенными градинками (сев.).— Прим. авт.

от просмаливания днища и бортов кипящим в небольшом котле черным варом до рихтовки малой кувалдой стальной полосы, закрепленной шурупами на торце киля — от вершины форштевня шлюпки до кормы, и шлифовки наждачной шкуркой крупного номера нового весла, что на смену прежнему, выщербленному, с многократно подлатанной лопаткой. Маячные ребята не городские чистоплюи, много чего рукодельного должны разуметь!

И отец их заметил, махнул рукой, поднатужившись, поволок, толкая вперед себя, шлюпку по песку к воде. А та в самый пик отлива далековато отступила от шлюпочного «стойбища».

Еще в Полярном мать сказала Николке, что в отлив с Екатерининского на Большой Олений можно спокойно перейти по обсыхающему песчаному перешейку, насыпанному во время войны для нужд все той же зенитной батареи, но на прошлой неделе перешеек забило оторванными в шторм от берегов обоих островов льдинами, через завал которых не пробраться. Николка и сам видел это в сотне метров слева черт-те какое столпотворение налезших одна на другую изломанных льдин, из которых только столбы давешней телефонной линии, переходящей здесь с острова на остров по перешейку — обсушке по местному названию.

...«В тесноте люди песни поют, а на просторе волки воют»,— вспомнил Николка материнину присказку, через полчаса с небольшим входя в общем маячном доме в их новое жилье — крохотную, по сравнению с отдельной избой на Седловатом, квартирку о двух комнатенках. Да еще с печью в передней из них, как входишь из общего коридора.

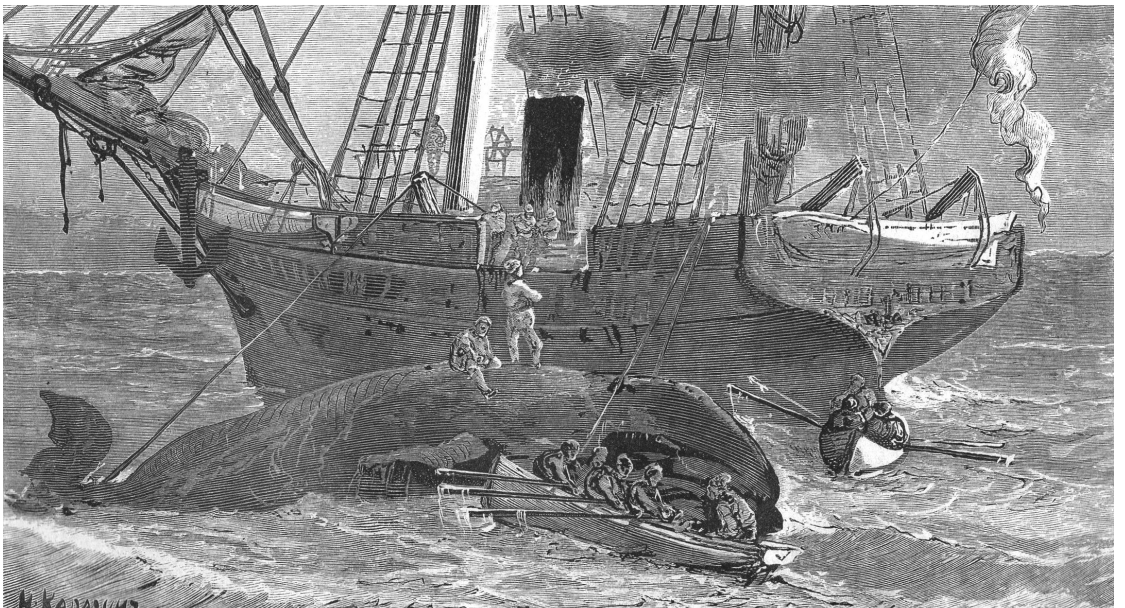
НА МОРЕ ЗЫБИТ, КАНИКУЛЫ НА НОВОМ МЕСТЕ ИДУТ НЕТОРОПКО

♦ Зыбь на море в наступившую безветренную январскую стужу («Вот и стужайла пришел»,— говорила иззябшая на улице мать, входя в тепло...) с ее непроницаемыми туманами, конечно, малоприятное состояние погоды. В отличии, например, от длинных новогодних каникул. А на новом мосте они не пролетают вмиг, как обычно, но длятся душевно и неторопко.

В предновогодний день прибытия попутным матери ходоком на остров Николка толком ничего рассмотреть не сумел. Пока отец стащил шлюпку, добрался до другого берега, затем — с Николкой на носовой и матерью на кормовой банках* — воротился назад, после чего, размотав длинный фал стоящего на высокой, неприливной точке берега во́рота, закрепив его конец с багорным крюком на носу шлюпки, вместе с матерью и Николкой, вращая слеги ворота, вытащили по песку «плавсредство» на прежнее место, пока... Словом, только они отошли на сотню шагов от берега, как прежний пушной снег с открыточными новогодними калейдоскопическими снежинками вдругорядь сменился крупчатой метелью, которая зловредно секла навстречь пути прямо в лица, заставляя идти наклонив головы и полуприкрыв глаза. Что уж тут разглядишь, да еще в окончательно наступающей темноте! Только по светящимся окнам отметил Николка казарму и офицерский дом зенитчиков. Хорошо широкая тропа, почти дорога, вдоль всего этого батарейного хозяйства каждодневно чистилась: военный порядок, и солдаты не засиживаются в казарме, бесцельно мечтая о родных местах —

* Сиденье в шлюпке, поперечное килевой оси, от борта до другого борта (флотск.) — Прим. авт.

Внутри русской промысловой хижины



Убитый кит

без полярных ночей, голых скал окрест и во всем окоеме, без съедающих легкие недельных туманов, штормовых ветров и метелей. «От Колы до ада три версты»,— гласит старинная поморская присказка, а здесь от Колы уже за полсотни верст курсом на норд; значит, умственно вычислял по цифрам Николка, и Полярный с Североморском, и Седловатый с Большим Оленьим вроде как расположены в этом самом аду...

Оно и в городе, всего в трех километрах, если по прямой линии мерить, в Полярном, та же полярная ночь, въедливые многосуточные туманы, секущая пурга и снежные сугробы на глазах растут, но там ведь не пустые дикие скалы под ногами и вокруг, куда не взглянешь. От горы Энгельгарда, на верхушке которой сейчас установлена здоровенная, в десять человеческих ростов бетонная плита с надписью: «*Здесь был 22 июля 1933 г. основатель и создатель Северного флота ВЕЛИКИЙ СТАЛИН*», и до противоположной ей, если смотреть по длине Екатерининской гавани, еще более высокой сопки на западном, широком выходе из гавани, между которыми и раскинулся Полярный,— освещенные фонарями на столбах улицы с порядками домов, где в каждом окне яркий свет. В любую зимнюю непогодь на улицах люди: моряки и штатские, школьники и взрослые. От дэкафа пургу пронзает музыка наружных громкоговорителей. А сбоку школы, за бывшим рестораном — сейчас по «сухому» закону столовой, но с обслуживанием официантками — «Ягодка» и вовсе шум, гвалт, музыка на заполненном городском катке. Всюду жизнь, движение, мальчишеское раскрасневшееся щеками счастье. И та же деятельная, слаженная жизнь, только без бравурной музыки, но с сигнальными гудками, мегафонными командами, работой корабельных двигателей, на пирсах, длинной изогнутой полосой во всю протяженность Екатери-

нинской гавани отделяющих город от воды. Здесь сугубо флотские владения и порядки. Загружаются боевыми торпедами подлодки, готовящиеся к выходу в море на боевое патрулирование, а то и вовсе в автономку на Средиземном море — сторожить авианосцы Шестого американского флота. Деловито шныряют по гавани небольшие буксиры, сами себя остерегая всхлипами сигналов-ревунов. Пирсы освещены прожекторами. В левой части гавани, на стоянках торпедных катеров, малых противолодочных кораблей «охотников», минных тральщиков и разной «катерной мелюзги» тож тихая, но деятельная жизнь — если вблизи досужно присмотреться.

...Но больше всех, в столь неподходящую погоду, радости у бегающих по улицам собак, в основном, средних размеров каплоухих* дворняжек, с хвостами и сообразительными мордами явно унаследованными от лаек — их дедов и бабок. Они вовсе — и упаси бог! — не бесхозные. Таковых в дисциплинированном флотском городе распорядками и табелями не положено иметь. Часть их на вольном выпасе от хозяев из одноэтажных домиков и бараков Старого Полярного и Корабельного городка, что господствует на пологой сопке под Новым Полярным. Другие «приписаны» к военному судоремонтному заводу в губе Пала, отделенном от собственно города сопочной грядой. Они зарабатывают свои пайки, не за страх, но за совесть скрашивая своим общением томительные суточные вахты расставленных по периметру широко раскинувшегося завода охраниц, одетых в темно-синие вохровские шинели, а на правом плече по инструкции положено попридерживать рукой карабин — облегченный вариант вековечной мосинской винтовки. И при этом неустанно вгляды-

* То есть нас с маленькими, округленными ушами (сев.) — Прим. авт.

ваться в окошко сторожевой будки: не идет ли в неположенном направлении лихой человек с недобрыми намерéниями!

Вахтерши вохровские из матерых уже баб, жизнь знающих: какой черт в такую адову погоду попрется из города на завод, тем более круглосуточно работающий? И сухой закон опять же, не может и быть «гонца» из работяг за бутылкой-другой... Тем более немыслим иногородний: с двух сторон города морские просторы, а по суше — десятки километров бездорожья по сопкам до ближайших жилых мест. И вообще все эти обширные владения Северного флота — от норвежской границы до Терского берега Беломорья — запретная зона для посторонних. Без особой отметки в паспорте сюда не сунешься.

Вот и коротают свои «сутки» рассудительные вахтерши, раскочегарив в своих будках казенные обогреватели, пьют чай с домашними сладкими пирожками, скинув грубо-волосяные шинели и опасливо уставив карабины в уголок. Обок же присел приписанный к будке пес, смышлено, наклонив морду правым ухом к хозяйке, слушает ее долгие рассказы о воспитании дочери, не совсем ладном характере супруга, ее вычисления: сколько осталось лет до льготной заполярной пенсии, когда можно из этих чертовых мест уехать в родные края, где нет... зато есть... Раззевалась от духоты и чайной благости вахтерша, кинула животине кусок жареной трески, а тот, мигом проглотив лакомство, выказал уставное усердие: по личному почину прыгнул на дверь, открыл ее передними лапами, побегал вокруг будки, полаял для порядка в метелистую ночь, вернулся, исполнив урок, заскребся в дверь и, впущенный хозяйкой, продолжил слушание человеческой речи.

Но высшая радость в пургу у третьей категории собак, корабельных. Старая флотская традиция, как рассказывал Николке отец, на корабле иметь свою

животину: собаку или кота. Первая — для компанейства, а в туман в море лаем охраняет от столкновения с какой-нибудь неуклюжей шаландой. Кот — по части корабельных крыс и для душевного расслабления матросов в минуты отдыха. Про котов на надводных кораблях в Полярном (на подлодках домашние и иные звери не водятся: запрещено, да и сами они не люди, то есть не выносят замкнутого пространства...) Николка ничего не мог сказать, но про собак всем известно, особенно на «охотниках», тральщиках, разного калибра катерах. Там высокое, распекающее по поводу и без оного, начальство не бывает, а командиры их в небольших еще чинах, не выше каплея, редко кап-три, то есть относительно молоды и с флотских либерализмом — Николка это словосочетание уже понимал — допускают присутствие на борту хвостатых друзей матросов. Ведь не баба же на корабле!

На стоянках у пирсов, закусив чем кок послал, убегают они мимо скучающих часовых у трапов в законные увольнительные — к своим друзьям и подругам из первых двух категорий хвостатых, но к ужину возвращаются без опозданий. Ведь на флотской службе!

...Все это в един миг пронеслось в Николкиной голове, когда он с матерью и отцом, миновав в слепящей пурге казарму и офицерский дом зенитчиков, поднялись по заметенной уже к вечеру деревянной лестнице с тремя пролетами на высокую северную оконечность острова, мимо бани и небольшой казармы матросов поста СНИС, «питьевого» озера с прорубью, подошли к маячному дому, а навстречу им с возбужденным пургой радостным лаем выскочил из-за угла маячной общественный пес Малахай. Понятно дело, хвост крючком и каплоухий. Лайкообразный.

♦ Уже через полчаса по прибытию к новому месту проживания Николка с братьями и знакомые

по интернату Вовка с Настехой Канатчиковыми расселись по лавкам в просторной пекарне маячного дома. Последние двое за компанию, а ребят-новоселов родители спровадили, чтобы не мешались под ногами: мать готовила ужин, а Андреян доканчивал — со вчерашнего переезда — нехитрое устройство квартирки: расставлял мебелишку, стучал молотком, сверлил ручной дрелью — принайтовывал к стенам полки и навесной шкафчик. Все по образцу корабельной каюты.

Хотя новогодняя ночь и последующее первое января нового, тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года — отец уже повесил на стенной гвоздик новый, толстенький отрывной календарь («Вишь, мать,— усмехнулся он,— с нового года и новую жизнь на Большом Оленьем начинаем!») — на маяке, тем более в «сухих» владениях Северного флота, мало чем отличаются в регламентной, расписанной должностными инструкциями жизни от всех других дней и ночей, но все же кое-что сдвигается во времени и изменяется в окружающем. Пекарные и банные дни не по строгому графику, но чуть ускорены: Николкино семейство в баню попадет уже в наступающем году, а из пекарни еще не улетучился сложный аромат печеного белого хлеба, главное — всевозможных пирогов: с засахаренными с лета ягодами, грибами, всевозможной рыбой — от трески и пикши до жирных палтуса и семги. То есть сдвинули график — пошабашили по вчерашний день включительно. Коль скоро Николкино семейство прибыло на остров, пользуясь оказией с гидроотдельским ботом, в неурочный день, и матери не удалось побыть стряпейкой*, то на новоселье бабы-маячницы поделились с ней свежевыпеченным белым и черным хлебом, пирогами: «Едоков-то, Маша, у тебя вдосталь!»

---

* То есть кухаркой, по северному говору.— Прим. авт.

Духмяное тепло от суточной протопки здоровенной подовой печи тоже пока не собиралось выветриваться в аккуратно прикрываемую при входе-выходе дверь в коридор и через плотно пригнанные зимние трехрамные окна с бумажной оклейкой.

Малышня болтала о чем-то своем, маловразумительном. Четвероклассник Вовка Канатчиков и младше его на год Николка, как люди уже рассудительные, сидели за угловым столом, на котором стояла ультракоротковолновая армейская радиостанция; два раза в месяц по регламенту, либо внеурочно по возникшей необходимости, Седалин-старший связывался по ней с главной маячной службой гидроотдела флота в Мишуково — ближе к Мурманску по заливу. Дотрагиваться до защитного цвета короба в пуд или поболее весом ребятне категорически запрещалось. Тем более — открывать щиток, за которым размещалась приборная панель. Наушники же с заглушками из мягкой, пористой резины начальник маяка и вовсе уносил с собой после проведения связи. Чтобы ребятам соблазну, а маячному хозяйству убытку не случилось. Поэтому Николке с Вовкой оставалось только, выворачивая головы вокруг радиостанции, читать и догадывающе обсуждать металлические таблички инструкций, привинченные по бокам и на крышке прибора. На правах старожила Вовка пояснял: что, где и для чего. Николка же впервые видел перед собой «живую» радиостанцию; на Палагубском и Седловатом маяках вообще никакой связи ни с кем не было... А здесь тебе и радиосвязь, и телефон? — жируют маячники на Большом Оленьем!

Но малышня не только бессмысленно ботала языками, но и хрумкала арахисовыми орехами и лупила мандарины — по заведенному обычаю накануне политотдельский катер объезжал маяки и военные «точки», доставлял ребятне новогодние подарки. Николкино семейство успело их получить еще на Сед-

ловатом, на сборах скарба и росстанях, но мать их выдала только сегодня. И Николка с Вовкой, отринув свою серьезность, снисходительно уделяли внимание подаркам, порой доставая из карманов шоколадные конфеты. В другом, дальнем от печи углу стояла на крестовине убранная игрушками метровой высоты елочка — тоже из заботливых и все помнящих политотдельских рук: где-то под Мурманском невысокие ели уже произрастали.

Вообще-то, в связи с переездом в самую новогоднюю пору, Николка рассчитывал хитроумно: а вдруг в политотдельских списках их семейство дважды попадет в подарочные списки — как жители Седловатого, так и новоселы Большого Оленьего? Даже с родителями такой замысловатой догадкой поделился. «Где нищий не бывал, там по две милостыни подают»,— ответил, хмыкнув, отец своей зловредной калужской присказкой.

С этими отцовскими пословицами и Николка пару раз впросак попадал. Как-то Анфиса Петровна, поучая на уроке ребят доброте и нежадности, для наглядного примера спросила у Санька Белозерова: «Саша! Допустим, у тебя два яблока, еще не съеденных, а у Кати Семеновой только одно, притом уже надкушенное. Какая мысль в твою добрую, хотя и несколько безалаберную, голову должна придти? Отдать Кате, тем более твоей соседке по дому, одно яблоко, а?»

Зная некоторую прижимистость Сашки по части обжорки, Николка заухмылялся Анфисиному вопросы и, неожиданно для себя, ответил частой в разговоре у отца присказкой: «Хрен возьмешь с тарелки деньги у попа!» И зарделся, запунцевел до щекотания кожи на щеках и лбу. Анфиса же Петровна воспитательно-укоризненно оглядела совсем потерявшегося Николку, ученика старательного, хотя и диковатого от уединенной маячной жизни, и как-то

ловко, как их учат в учительских училищах и институтах, увела разговор от грубой пословицы, заодно пояснив, что религия у нас в стране отделена от государства и школьного воспитания, у них свои порядки и обычаи, незачем поминать всу... (здесь Анфиса Петровна педагогично поправилась)... поминать служителей церкви, коль скоро речь идет... «О яблоках!» — выкрикнул в поднявшемся смехе Юрка Тепляев. Учительница и здесь не растерялась, снова свернула настроение класса к серьезности и полезным знаниям, в частности, объяснив про полезные качества овоща хрена, никакого отношения к священнослужителям не имеющего.

И мать порой, когда отец находился на маячной вахте, увещевала Николку, что-де не следует запоминать, тем более в людных местах произносить, отцовы присказки. «Староверы-то ихние, от века живущие близ Калуги, при царе оченно обижаемы были от властей и всякого начальства. И правила у них свои, раскольничьи, потому только из одной своей посуды едят, а пуще всего попов, кроме своих, старообрядческих, помнишь, во Дворцах на ихнем кладбище Маркел требы служил? — не любят. Все от царского времени притеснений. И крестятся по-своему, двумя пальцами... Лучше помалкивай, когда чего умного в голову не приходит! Порой осторожничанье за ум сойдет.»

♦ Про осторожничанье Николка помнил с прошлого года, когда по радио, чьи динамики в каждой интернатской палате на шкафах одежных стоят, вдруг заладили говорить про мудрую партию и верного ленинца Никиту Сергеевича Хрущева, разоблачивших антипартийную группу Молотова, Маленкова и Кагановича, а также примкнувшего к ним Шипилова. Со слов отца Николка понимал, что радио надо слушать одним ухом, а вторым — что народ говорит. Так если Хрущева называют по радио одним

из главных победителей Гитлера, то почему же сразу на двух — из числа отцовых боевых — медалях изображен Сталин, а не Хрущев?

...Может в чем-то провинились Молотов, Маленков и Каганович, но у Николки к ним возникло само собой сочувствие. Но вот что натворил особо выделяемый «примкнувший к ним Шипилов?» — Наверное, решил Николка, он и есть главный виновник, из-за него-то пострадали те трое. Такое убеждение сложилось из наблюдений в жизни: школьной и интернатской. Дружат промеж себя несколько ребят — им хорошо, другим не помеха. Но вот навязался им в приятельство хулиганистый, просто хитрован-парень, и все пошло насмарку: дружба на глазах рассыпается, другим порой тумаки от них, прежде смирных, начинают перепадать. Вот так и «примкнувший Шипилов» всех про меж себя рассорил и поругались они с Никитой Сергеевичем. Во всем Шипилов виноват! Тем более, что Николка сызмальства уважал Маленкова, услышав от Тольки песенку:

Берия, Берия вышел из доверия,

А товарищ Маленков надавал ему пинков!

А страшнее человека с такой странной фамилией, как талдычали по радио, и вообще на белом свете не существовало. «В убогой гордости дьяволу утеха»,— загадочно говорил отец, слушая по домашнему приемнику всевозможные россказни, как великий Никита Сергеевич спас страну от злокозненного Берии.

Про осторожничанье же Николку наставляла мать, когда, наслушавшись из интернатовских громкоговорителей про «примкнувшего Шипилова» и явно подставленных им троих «руководителей партии и правительства», он начал рассуждать с мало что понимающими Славкой и Сережкой про антипартийную группировку. «Нишкни, помолчи! — оборвала его случившаяся рядом мать,— тебя там,— мать ткнула

пальцем в сторону потолка,— не спросили: кто прав, а на ком вина?» И для острастки и убедительности рассказала уже не раз слышанную Николкой историю про старшего материного брата Мишкó, что в молодые годы был у них в деревне передовым комсомолистом, за что назначили его председателем колхоза, в партею записался... все это до войны происходило. А потом, как начали сажать и у них в районе разных начальников, так осторожный Мишко и завербовался, от греха подальше, на мурмáнские севера в маячники. Николка хорошо помнил своего дядьку по Полагубскому, где тот начальником маяка служил...

Еще по метельной сегодняшней дороге от перевоза с Екатерининского на *свой* остров отец, втихомолку выругавшись, сказал, что и здешний наутофонный электрогенератор, как и «сиренный» на Седловатом, дает постоянный ток, значит, по-прежнему их радиоприемник только на батареях может работать. Электрик по гражданской специальности, Андреян давно уже разъяснил Николке, что для питания от сети последняя должна быть переменного тока. Огорчение это понятно Николке: по два-три раза в год заказывать в «Посылторге» анодную, размером и весом с кирпич, и две катодные, поменьше, батареи. Ждать пока они прибудут на почту Полярного, а оттуда матери, теперь и Николке, тащить их до дома. Хотя... своя ноша рук не оттягивает. И отец не забывает воспитательно поучать: дескать, что легко дается, то радости мало приносит.

Возню у елки малышни и Николкино с Вовкой обсуждение у радиостанции — с Москвой, конечно, по ней не свяжешься, но с Мурманском уж точно — прервала вошедшая в пекарную комнату мать: «Пошли ужинать!»

За скоренько приготовленным едовом, завершенном выдачей ребятам по блюдцу сгущенки и печенья

от пуза, в основном брюзжал отец, которому не понравился дареный пирог с палтусом — не так испечен и все тут! Но Николка привычно пропускал это мимо ушей, ибо хорошо знал: отцу сложно угодить чем-либо приготовленным, как он выражался, «чужими руками». «Старообрядец чертов»,— порой в сторону, чтобы хозяин не услыхал, не выдерживала брюзжанья мать.

После ужина младших потянуло в ранний зимний сон, а Николка вернулся в пекарню продолжить умную беседу с Вовкой. Но прямо следом за ним вошел Седалин; «для связи с начальством», как пояснил он, и отмашкой руки всех выставил в коридор.

Сожалея, что не удалось послушать, о чем Седалин докладывает (начальству только докладывают! — это он хорошо знал) кому следует по инструкции, Николка принял предложение Вовки показать веранду и общую для маячников кладовую. Понятно дело, дверь в кладовку, раз она для всех по назначению кладовка, не запирается. Стояла же холодная, две ее, угловые для дома, стены специально оставлены просто досчатыми в один ряд без насыпного утеплителя. Словом, как недавно привезенный в школьный буфет холодильник — только все наоборот: холод идет не изнутри, а извне, с улицы.

Растворив дверь, из проема которой морозно ошпарило, Вовка, щелкнув выключателем — наутофон работал, давал в дом ток,— наскоро указал на стойки с полками, забитыми всякой съестной всячиной, от пирогов и буханок накануне выпеченного хлеба до хранимого в картонных, явно из-под сливочного масла и банок со сгущенкой, ящиках, рогожных кулях и насыпных ситцевых мешочках. Хотя кладовка и проморожена, но ничто не истребит запах вяленой трески, навалом сложенной уже в грубо сколоченные деревянные ящики. Нижние ряды в стойке отстоят от досчатого пола на метр с гаком, а там в

соблюдении порядка уложены короба со всяким хозяйственным «шмутьем», как пояснил Вовка на правах всезнающего старожила.

— Угловая камóра вашей будет,— указал он на угловую стойку с пустыми, сиротливо — в сравнении с соседними, обжитыми — смотревшую пустыми полками в три-четыре ряда обрезанных, но обструганных, сосновых досок.— Ладно, пошли отсюда,— щелкнул выключателем Вовка и захлопнул дверь.

А напротив кладовой слева, вдоль стены жилой части дома и чуть поотдаль входной двери, спускалась лестница уже к двери на выход из дома, а справа, огражденная от нее перилами, располагалась застекленная угловая веранда, еще более кладовой промороженная, со столом и двумя супротивными друг другу лавками. Поодаль на полу стояла пудовая — цифра «16» отлита вовнутрь — гиря.

— Зачем... гиря? — поинтересовался Николка.

— Для порядка,— усмехнулся Вовка,— я пока ее до пояса поднимаю, зато не один раз. Осенью, в завоз на маяк овоща, Пряхины и мои капусту в бочонках квасят, так цапаются слегка из-за гири, на гнет ее удобно пользовать... Как будто булыжников на берегу мало валяется!

...В недавнюю оттепель окошка веранды оттаяли от ледяной наморози. Сейчас снова от центра к рамам, где потеплее из щелей от какой-никакой, но обитаемой веранды, намораживало. Но просветы на жизнь вовне дома оставались еще достаточными. А в той жизни уже порядочно как стихла пурга. Все свинцево-серые тучи за день выпали на землю снегом, попеременно то крупчатым, то пушным, расчистив к вечернему, совсем темноту, в этот день безлунному, часу небо. Николка, не размышляя, но как совершенно привычное, сызмальства воспринимаемое как должное, знал: при таком погодном раскладе мороз крепчает час от часу. Сейчас и начнется...

Словно подслушав мысли двух ребят, стоящих обок стола и смотрящих в незамороженные у рам стекольные прогляды, безлунная и чистонебная ночь — ночь по часам в полярной ночи? — начала свою свето-шумовую игру-потеху: для всего живого и бесчувственного на полярных оконечностях, в Арктике и далекой отсюда Антарктике, Земли.

— «Аврора бореалис»*, ух, ребята, сегодняшней ночью разыграется по морозцу,— как-то щегольнула иностранным словечком Анфиса Петровна, загадочно веселая в тот зимний день с чистым, чернильно-синим небом, в половину своего свода обагряненом лучами загоризонтного солнца, въявь не кажущегося глазам людей почти месяц. И пояснила, что так в древнем римском мире именовали «хорошо всем вам знакомое ночное небесное сияние». Николка хорошо запомнил это название: аврора бореалис.

И началось. В тишине веранды, отъединенной для звуков утепленной стеной жилой части дома, в еще большей, полной немоте снаружи, где давно стихла метель — тучи истощились снегом, ветер стих до нуля,— вдруг всесветно, со всего окоема свода небес зашипело, тонко заломалось — затрещало, тотчас дугой через середину неба, от одного горизонта до противоположного, повисли спутанные световые нити, а от них, до земли едва не достигая, провисли, как замороженные белые холсты на протянутой бельевой веревке-фале, пульсирующие струи. Великолепно играя огнями различных оттенков, переливаясь, смыкаясь и разъединяясь, пуская шипящие шутихи, сияние заполнило все видимое из полузамерших окошек веранды небо. Временами успокаиваясь в своем движении с переливами, небесный свет замирал, и тогда на смену слабому шипению и тонкому треску приходила... чуть слышимая музыка стеклян-

* *Aurora borealis* — северное сияние (лат.) — Прим. авт.

ных колокольчиков. «Музыка сфер небесных»,— всплыли в памяти доселе непонятные слова, как-то услышанные по радиоприемнику, где некто умный, вроде профессором названный, пояснял сущность звучания мелодии, только что проигранной, композитора с трудно запоминаемой немецкой фамилией.

Забыв о стоящем рядом Вовке, не чувствуя струящегося от оконной стены веранды пронизывающего холода, Николка слушал тихую, отдаленную, но всепроникающую музыку стеклянных колокольчиков...

Хорошо начинается жизнь на этом острове, а впереди и долгие зимние каникулы, которые на новом месте всегда идут неторопко.

МИЛ ЧЕРТ ОДНОМУ САТАНЕ, ИЛИ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ОСТРОВОМ

♦ Вопреки известной Николке пословице, на новом месте спал он крепко и без снов. Правда, по пробуждении долго соображал: где это он? Рядом посапывают еще не открывшие глаза Славка с Сережкой; в окне, как и положено в утренний час первого дня нового года, сплошная темень без намека на рассвет. Сопоставив уже застеленную родительскую кровать, что наискосок в другом углу спаленки, и электрический свет через дверной проем из передней комнаты, она же и кухня с печкой, с которой, постукивая посудой, возилась мать, сверхчувством ощутив отсутствие в квартирке отца, явно ушедшего на суточную вахту на маяк-наутофон, отрывистые взвизги которого с непривычки еще воспринимались ушами, Николка определил и время — где-то девять, начало десятого. У маячных от роду ребят время мер в голове работает безошибочно.

В считанные секунды и глаза в отсветах из дверного проема приобыкли в полутьме различать все предметы в спаленке, в том числе фигуры, даже отдельные лица на картине «Утро на Куликовом поле». Уже начиная с Палагубского маяка, так получалось, что холстина, подшитая по краям, длинной горизонтальной в полтора нынешних Николкиных роста, всегда оказывалась на стене прямо обок его постели. Даже и посейчас, солидным третьеклассником, он старался в полутемноте, в зимнее утреннее и вечернее время, то есть просыпаясь или отходя ко сну, не смотреть на изображение, вот-вот обещавшее через несколько минут перейти в кровавое побоище между русскими и татарами Мамая. Собственно пугала его не изображение воинов Дмитрия Донского, тем более доброе бородатое лицо самого князя, чем-то похожее бородой на отцову, но развернутое за князем походное знамя с образом бога Христа, который, казалось, неотступно смотрел на Николку сурово и пронзительно. Не зная за собой никакой вины, даже не имея в дальних своих предках татар (мать из архангельских поморов, куда орда не дошла, отец из старообрядцев), тем не менее он смущался укоризне в выражении лица бога. Все остальное поле скорой битвы он рассматривал с интересом, даже подсмеивался над ратником, изображенным перед князем на коне, что, нагнувшись, подбирал с травянистой земли оброненный им щит. «Экий растяпа! — не одобрял Николка воина,— на тебя военачальник смотрит, вот-вот мамаевцы в атаку двинут, а ты личное оружие разбазариваешь, еще и в бой не вступив!» Со временем он научился, лежа на кровати, смотреть на картину искоса, выбирая такое положение и наклон головы и глаз, чтобы на княжеское знамя попадало пятно света — электрического или солнечного — и отсвечивало от сурового бога. Для глаз же его этот отсвет от лаковой масляной

краски на выбеленном холсте представлялся уже не знаменем с изображением, но цветным пятном.

Историю появления такой большой картины в семейном имуществе Николка знал еще дошкольником из рассказа отца, обращенного к собеседнику, дальнему его родственнику в Новоскаковской чайной — во время очередной отпускной поездки в калужскую деревню Дворцы. Николка тогда увязался за отцом, который пил в чайной с родственником водку, закусывая порезанной буфетчицей, окропленной зеленым луком селедкой и свежими огурцами со сметаной. Мальцу же выдали бутерброды с колбасой и бутылку лимонада. С того времени в голове Николки и закрепилась история с картиной.*

Участник двух войн, финской и Отечественной, Андреян и в наступившее мирное время остался во флотской службе на сверхсрочную, хотя бы и был в строю на десятом году. В последний свой «холостой», как он называл сам, отпуск прибыл бравый военмор к родственникам в Калуге при «длинных рублях», которые на отдаленной «точке» СНИС'а весь предыдущий год с лишком тратить было негде. Вот и закозырял Андреян этими самыми рублями в еще не совсем отошедшей от военного лихолетья Калуге: никого из многочисленной родни обойти нельзя — обидятся насмерть, старообрядцы они памятливы! Опять же, было бы болото, а черти найдут-

---

* ...Хотя пишем о временах стародавних, но порой не в силах сдержаться от сопоставления с делами нынешними. Автор «Утра на Куликовом поле» Александр Павлович Бубнов, член Академии художеств СССР, в 1948 году был удостоен Сталинской премии за эту монументальную картину (1943—47 гг., Третьяковская галерея). Не знаю, верить ли интернету, но появилось там сообщение о выставлении «Утра» на распродажу (?!). Воистину провидчески слова Н.С. Лескова из «Соборян»: «Нет, кажется и вправду уже грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность».— Прим. авт.

ся — как нарочно на пути попадается коммерческий ресторан, а пивных «голубых дунаев» и летних веранд «с подачей» в городском саду, что на высоком берегу над Окой, и вовсе не счесть. Особенно отдыхающий от полярных зим, вечных штормов и непросмотровых тяжелых туманов Андреян закомпанействовал с двоюродным то ли племянником, а может и в ином родственном статусе? Словом, с тож отдыхающем в родном городе, только без «длинных рублей», живописцем, учившемся в Москве по художественной части. Трофим все нахваливал заполярную щедрость родственника, дескать, едино в жизни пребываем, а мы, староверские потомки, как разойдемся, так не остановишь! «Народ наш не лиходейный, наоборот, добрый и отзывчивый»,— поощрял живописец Андреяна, по-столичному пощелкивая пальцами, подзывая официантку для нового заказа...

И все рассказывал щедрому родственнику московские новости из жизни, успехов и неудач, взлетов и падений работников мольберта и палитры. «Вот и мой наставник Александр Павлович только что завершил картину про Мамаево побоище; сейчас исторические сюжеты поощряются оттуда! — Трофим, подмигнув, ткнул большим пальцем вверх, на ресторанную люстру.— Пока она в академии краской просыхает, а потом, как уверенно говорят,— на Сталинскую премию и в Третьяковку!» И еще Трофим похвалился: для экзамена переводного выбрал он скопировать Мамаево побоище.— «Сам Александр Павлович похвалил! И экзаменаторы прочувствовали. Я с собой ее привез, только раму для картины еще не сварганил. Сейчас вот дообедаем (— Эй, официантка! На посошок нам... с закусочкой) и пошли ко мне на вернисаж!»

...На что уж военные моряки, да еще измученные службой на «точках» с полным «сухим» образом жизни, охотники гульнуть на отпускном досуге, где,

как говорится, стоит крякнуть и мошной брякнуть — все будет на столу, но и они супротив живописцев, особенно столичных, единственно что на равных могут устоять. Ибо у тех и других руки от профессии крепкие, уверенно стопки и другую питейную посуду держат до последнего сухого донышка... Словом, только на второе утро Андреян покинул родительский домишко своего родственника, что расположился около Ракова — по имени дореволюционного владельца — магазина и взял поначалу неуверенный курс на улицу Кирпичную, что на окраине города, на высоком берегу, подмываемом речкой Яченкой, где проживало семейство одной из его старших сестер. А под мышкой левой руки — в пальцах правой держал папироску — нес он свернутую в свиток копию картины о Мамаевом побоище. Истинно, как любит повторять Николкина мать, стрезву старовер и снегу посередь зимы, подозрительно задумавшись, не даст, а как хлебнет горькой, так все раздарить готов. Так и живописец Трофим истинным двуеперсником* оказался в восторге от родственной, затянувшейся гульбы.

Уже семейным человеком, в маячной жизни Николкин отец все грозился выделать полаченную раму для картины, но то руки за занятостью не доходят, либо подходящего качества, бессучковых сосновых досок под обработку рубанком не случается... словом, в первое утро на новом острове Николка проснулся под писаной маслом картиной «Утро на Куликовом поле» без рамы, но приколоченной по углам и посередь сторон по ширине гвоздиками с бронзовыми фигурными шляпками. На Седловатом, а еще

* Староверов даже смешно называть старообрядцами, ибо все отличие их от «никониан» в обрядах и есть-то: крестятся двумя перстами, пишут имя Христа с одним «и», да еще их различает дву- и трехгубая аллилуйя в окончании молитвы — то есть дважды или трижды произносимая...

раньше на Палагубском картина укреплялась на стенах этими же гвоздями.

♦ «Мил черт одному сатане»,— ответила мать Николке еще по приходу за ним в интернат на его вопрос, какой остров, прежний Седловатый или новый Большой Олений, лучше. Он смысла не понял, но суть — по интонации матери — уловил, тем более, она присказку таковой же разъяснила: «Лучше, Колька, всегда там, где нас нет». Но даже по вчерашнему, в слепящую метель, осмотру острова Николка с давешними словами матери не соглашался. По прикидке выходило: раза в четыре-пять побольше Седловатого и с широким внутренним заливчиком, куда бы втиснулся прежний их остров. Опять же берега изломаны, с губами, но главное — многолюден, не говоря уж о возможности в любую погоду в пешем порядке через Екатерининский за пару часов добраться до Полярного. «Не-е,— усмехался про себя Николка, вставая и заправляя за собой постель,— я хотя и не сатана, но и Большой Олений на рогатого не смахивает!»

Он уже доканчивал завтракать омлетом из яичного порошка, куском рыбника с палтусом — от доброхотных соседок, запивая какао, опять же на сухом молоке, когда через дверной проем послышалось утреннее пыхтенье проснувшихся братишек. Но они ему без надобности; оделся, вышел в коридор и по вчерашнему уговору постучал в дверь Канатчиковым. Через минуту вышел Вовка, а на веранде к ним присоединился по собственной воле Малахай, только что дохлебавший из личной посудины («Как старовер»,— ухмыльнулся Николка, мигом вспомнивший отцовы отдельную тарелку, вилку, ложку и стакан в подстаканнике) свое утреннее варево. По его взгляду видно: еще вчера зачислил новоприбывшую ораву в личный состав стаи под руководством начальника Седалина. Из дальнейшего Николка понял, что

всех остальных обитателей острова, носящих черную и темно-зеленую форменную одежду, Малахай полагает дружественной — по прикорму,— но иной, соседствующей стаей со своими начальниками: ближней, черномундирной командует усатый старшина первой статьи, хохол Прокопенко, а дальней стаей зенитчиков — капитан Фомичев. Трех же офицерских жен, одетых в штатское, дающих ему самые лакомые куски, Малахай, мысленно извиняясь перед Седалиным, условно относил, вопреки штатному расписанию, к стае маячной. У собак свои доводы нередки.

Впрочем, не зря северное сияние со вчерашнего вечера на ночь так разыгралось своими сполохами и звоном хрустких колокольчиков: ни единого дуновения ветра с утра, небо чисто синее, значит, без облаков. Морозит в такую погоду заметно, зато уже за два часа с лихвой до полудня, при белейшем от вчерашней метели снеге, привычный к полярной зиме глаз и в новогодний день под ногами и на другом, круто-скалистом берегу Кольского залива все четко... не то что видит, этого не скажешь, но уверенно различает. Это как в кино, на экране в обозначаемую полусветлую пору действия, но ближе к рассвету.

Для начала обошли маячный дом, на крыше которого из четырех труб строго вверх, как при безветрии бывает, идет сизый дым. Только самая большая, пекарная не обозначает себя: в праздничные и воскресные дни хлебы и пироги уставом не рекомендуется печь. За противоположной от входной двери торцовой стороны дома, на которую выходят три окна — коридорного и по одному из квартир Седалина и Николкиного семейства, утоптанная, с метровыми брустверами снега от регулярной расчистки, тропа ведет к длинному досчатому сараю, поделенному на хозяйские секции со своими дверьми.

— Вот вторая от ближнего угла ваша,— пояснил Вовка.

Не сворачивая к сараю, по также расчищенной тропе пошли вправо от дома к близкому коробчатому, в полтора этажа, с наблюдательными мостками поверх, посту СНИС'а. Один из дежурных матросов, играючись, расчищал дворницкой фонерной лопатой, явно по-уставному, окрест поста метра на два снег, а на мостике другой в этот момент как раз, развернув на оси треноги прожектор в сторону Оленьей губы, сигналил морзянкой. Такие прожектора Николка знал еще по Палагубскому маяку: световой круг его закрыт десятком металлических полосок, а когда сигнальщик нажимает на захваченную всей пятерней рычажную скобу, то полоски одновременно поворачиваются на своих осях, раскрывая световой круг. Так и сигналит сухопутный морячок: точка — полсекунды жмет на рычаг, тире — секунду. Электричество — от работающего «тук-тук-тук» на поддоне поста небольшого дизель-генератора. Но вот сигнальщик на мостике закончил сухое на морозе щелканье створками прожектора, а Николка тотчас увидел ответную, с невидимого на береговой полосе, где-то между входом в Оленью губу и более мористым, ближе к Седловатому, мысом Чевруй, небольшого корабля, световую морзанку.

— Здорово, пацаны,— отставил лопату морской дворник, на погончиках бушлата которого сиротливо присутствовала одинкая узкая полоска старшего матроса, *страшного* по флотской фене,— что? личный состав у вас пополнился, вижу.

Достав из бушлатного кармана пачку «беломора», по флотской вежливости предложил сначала пацанам, а после их отказа с чувством закурил, наслаждаясь физкультурной разминкой с лопатой, замысловато пускал изо рта дымовые кольца. Николка ухмыльнулся: слабак морячок по сравнению с брательником Толькой! — Тот запросто нанизывал кольца друг на друга, навроде цепи получилось.

— А что, Вовчик, мужики ваши маячные вчера под Новый год водовкой баловались?

— Папаня чекушку употребил. Остальные — не знаю. Сам понимаешь, на маяках не дозволяется...

— Да и у нас стол не накрывают. Прокопенко добрый мужик, хотя и хохол, да где взять? Так, по мензурке «тройного» под компотную запивку. Э-эх, еще год до дембеля!

— Домой, небось, пишешь и на побывке травишь, что на атомной подлодке геройствуешь? — поддразнил Вовка своего давнего, уже года с полтора, знакомца.

— Не без этого, но скромнее посудину подбираем. А фотографируемся или домой наведываемся — поочередно значок «За дальний поход» на форменку навешиваем. Прокопенко, из отпуска возвращаясь, сумел из Мурманска через все посты и патрули пару бутылок протащить. И за одну из них в Полярном значок у подводного старшины взалкавшего выменял. У них, у хохлов, с этим строго: если вернешься, дембельнувшись, в село свое без лычек и почетных знаков, так и невесты хорошей не достанется!

Николка знал от соучеников, что не только у матросов и *ундеров*, то есть старшин всех рангов, но и у офицеров знак «За дальний поход» считается наиболее почетным. Подводникам его дают за многомесячное патрулирование в Средиземном море. Это когда в перископы *секут* авианосцы Шестого американского флота.

♦ «Страшный» матрос докурил, отсалютовал собеседникам, вновь взял в руки лопату-широкозахватку, а Николка с Вовкой двинулись уже не по расчищаемой, но оттоптываемой в снежном насте тропе на северный мыс острова, где располагался маяк-наутофон. Тропа шла — от столба к столбу — под проводами, связывающими маяк с домом электричеством и телефоном — в доме он у Седалина. Еще

вчера по прибытии на остров, на вопрос Николки о странном названии здешнего сигнального маяка отец, впрочем не совсем уверенно, со ссылкой на давно слышанное от гидроотдельского офицера-инженера в Мишуково, пояснил, что слово это древнегреческое, переводится как «морской звук». И еще добавил для понятности: «Во флоте уважают отвлеченные названия — моряк в душе имеет большую мечтательность. Вот на Седловатом сиреной маяк называют. Будешь в школе древнюю историю учить, так узнаешь, что греки, много бороздившие свои теплые моря, среди всяких своих богов, героев и разных чудищ придумали и сирен — в туманы и другую непогодь эти злые бабы-птицы заманивают своим пением корабли к острову и прямо на скалы. И каюк им! Но еще пуще на флоте почитают этакий гробовой юмор. Вот и сирена на Седловатом не райским пением, как у греков, но утробным ревом не заманивает, а предупреждает: не при на скалы! Чувствуешь флотскую ехидцу? А вот теперь *наш наутофон* взять... хотя бы на высоких тонах (Николка вспомнил давнюю мечту отца научиться играть на мандолине...) взвизгивает, как-то тревожно становится — вот тебе и морской звук! Всякий сигнал есть предупреждение, потому он и настораживающий. А название... опять же флотский юмор, поделдыкивание словом».

С последнего в пройденном ряду столба провода брали влево и заканчивались на фарфоровых изоляторах, что крепились на стенке маяка, как и пост СНИС'а, кубастенького кирпичного здания, побеленного, с ревуном на плоской крыше, зимой почти круглосуточно, как пояснил Вовка, выводившем свою тоскливую, взвизгивающую песню.

Разглядев еще от взгорка, что сразу после снисовского поста, небольшой по размерам маяк, Николка даже чуть свысока посмотрел на Вовку, хотя бы *уже* четвероклассника, с цыканьем, как научился у

Тольки, сплюнул, выражая неодобрение увиденным. Действительно, по сравнению с огромным, почти как заводской цех на судоремонтном заводе в Палой губе, зданием сирены на Седловатом, здешний наутофон гляделся какой-то подсобной постройкой без окон. Такое неравенство в понятиях усугублялось и звуками двух противостоящих в заливе маяков: хотя и слегка заглушенный расстоянием, но ухающий, басистый вздох сирены почти что ощутимо давящей на уши звуковой волной пролетал над Большим Оленьим, а в промежутках между этими вздохами стоящий в сотне метров от ребят ревун наутофона успевал визгливо отлаяться с десяток раз. И Малахай сравнительно прислушивался к столь разным тревожным звукам: поднятым левым ухом — по верховому ветру — к дальней сирене, а опущенным правым к *своему* наутофону. И по его собачьему мнению, здесь обидному для *своего* источника звука, наутофон лишь подлаивал вожаку сигнальной стаи — сирене Седловатого. «Всяка сосна издали своему бору шумит»,— и мать, как всегда по-архангельски замысловато, отнеслась к сравнению Николки не в пользу здешнего маяка. Понимай как хочешь: про него сказано или при сирену с наутофоном? Он склонялся к последнему. Опять же Малахай...

И отец, подобно своему соседу, «страшному матросу», откидывал вчерашнего намета снег от стен маяка. Также и дворницкую лопату оставил и закурил — с отличием от матроса не предлагая ребятам,— но не «беломорину», а трубку с медовым сладкозапаховым «золотым руно».

— Седалин с твоим отцом,— Андреян кивнул Вовке,— только недавно ушли, вводили меня, так сказать, в должностные инструкции. Да-а, дизеленок здесь по размерам и по мощности во сколько-то раз поменьше седловатовского? Как раз для ревуна и десятка лампочек здесь и в доме хватает.

Остров на озере Нотояарби

Ловля семги на Севере: семужий забор-рюрик

И опять сожалел, что и тут, как на Седловатом и Палагубском, постоянный ток используется.

— Впрочем, Седалин говорит: с этого лета по всем наутофонным маякам, до Терского берега и до Кандалакши, гидроотдел поочередно, начиная с Сального и нас, будет заменять силовые установки на новые электродизели с переменным током. Тогда и закончится мутота с батареями для приемников. А Седалин и к телевизору присматривается. Мода на них пошла такая; в Мурманске на Варничной сопке, у которой в войну столовая для союзников с подачей водки и ихнего джина-виски располагалась, вышку уже соорудили. Лазарь-то, муж сестры моей предстаршей, что в ленинградской энкаведе служил, еще в сороковом году этот телевизор видел. Пойдем вовнутрь, посмотришь,— и отец, не хуже Николки, снисходительно усмехнулся, явно сравнивая седловатовскую сирену с наутофоном.

Малахай дисциплинированно уселся перед входной дверью на расчищенную от снега досчатую дорожку, а Николка с Вовкой вошли вслед за Андреяном.

В единственном помещении маяка, не считая пристройки, где в ряд стояли железные бочки с соляркой, а на полках разложены рабочий инструмент и запчасти, напоминавшем поставленную на попа на бетонный пол огромную спичечную коробку, треть места занимали два дизеля с электрогенератором — работающий и резервный, каждый не больше школьной парты, а у противоположной узкой стены — стол с выдвижными ящиками. Еще вдоль широких стен — топчан в рост человека длиной, обтянутый затерханной от времени черной клеенкой, тумбочка и набитые на стену полки со всякими железками, масленками, протирочной ветошью. Дизель ровно, но не надоедливо гудел, генератор по-кошачьи проскрипывал. С высокого потолка, заглушенный кирпичной кладкой маяка, доносилось как бы издалека моно-

тонное всхлипывание-взвизгивание вынесенного за пределы помещения ревуна наутофона.

— Вот и все здешнее хозяйство,— отец жестом руки обвел коробчатое помещение маяка, садясь на передвинутый к торцу стола — чтобы видеть ребят, расположившихся на топчане — стул. На столе, как разглядел Николка, стоял взятый отцом на суточную вахту двухлитровый китайский термос с крепкой заварки чаем, его *личный* тонкостенный стакан в «железнодорожном» подстаканнике и с серебряной ложечкой с надписью *U.S.Navy*. Еще там лежали развернутый вахтенный журнал и толстенная, в обхват по торцу Николкиной рукой, книга с надписью «Электротехника», купленная отцом в давешнюю летнюю отпускную поездку в Калуге.

— Переучиваюсь с постоянного тока на переменный,— заметил он взгляд Вовки,— готовлюсь, так сказать, к замене электрогенератора. Дизели-то прежние оставят. В переменном токе свои особенности. Ну-у, это в старших классах сами узнаете. А мне за все новое отвечать.

...Николка давно уже знал особенность маячных обязанностей: каждый нес вахты по графику, но в то же время и являлся сугубым специалистом. Кто по дизельной части, другой, как отец, отвечал за все электрическое. И акустики были, и ремонтники. Так на Седловатом, где и на женщин раньше ставки имелись, мать работала дизелисткой, так как в войну в своей архангельской деревне трудилась бригадиром трактористов — все мужики на фронте. Тож на Седловатом хромой холостяк Матронин числился оптиком-механиком: на его попечении огромный вращающийся прожектор с рубиновыми гранеными стеклами. «Как сестры Виноградовы — многостаночники мы»,— шутковал отец в благодушного настроения часы.

Николка посмотрел на стенные часы с флотским

суточным циферблатом, что располагались над столом, заторопился: сколько-то еще времени на обход большого острова понадобится? Вышли на улицу, где их приветствовал Малахай, почтительно поднявшись на все четыре лапы, хвост наотлет.

♦ Вовка указал на близкий, в двух десятках шагов острый северный мыс острова, что прямо указывал на Седловатый — строго на север:

— Здесь летом всегда треска клюет. Отец говорит, что их косяки мысом рассекаются надвое: одна часть дальше по заливу в сторону Мурманска курс держит, а другая в сторону Оленьей и Палой губ сдуру прет. Главное, с удочкой там удобно стоять, гранит берега плоский, а в прилив, когда самая рыба идет, вода прямо под ногами. Пошли в обрат до дома!

Оно и так понятно: другой дороги с северного острого мыса вглубь острова нет. У дверей же дома на расчищенных деревянных мостках уже мельтешили Славка с Сережкой, которым Настеха Канатчикова, размахивая рукой и поворачиваясь туда-сюда, показывала окрестные места. Не обращая на них ни малейшего внимания, Николка с Вовкой остановились чуть поодаль, на берегу небольшого озера, что разделяло маячный дом и две постройки — маленькую казарму снисовских матросов и общую для них и маячников бревенчатую баню, торцевые стены которых, как и таковая маячного сарая, выложены поленьями дров. Из трубы бани шел дым. Вот матросик, одетый налегке, в одной холщевой белой рабочей рубахе-форменке, выскочил из дверей, набрал охапку дров и снова скрылся в бане.

Вовка показал на прорубь посредине озерца, уже освобожденную от тонкого ночного льда:

— Если зима, как эта... пока что, не очень морозная, то водой из проруби пользуются по хозяйству и для бани. А как промерзнет до дна, так снег топят. Ладно, пошли *вниз*.

Миновав «левыми бортами» еле угадываемый берег озера и баню с казармой, ребята действительно спустились по трехпролетной деревянной лестнице вниз — с северной сопки на низину острова, что почти вровень с водой большого, но мелкого, с торчащими в отлив большими камнями, внутриостровного залива. Выходная часть его по берегам забита льдинами — как и перешеек с Екатерининского, виденный вчера.

Если лестница с горки еще не почищена, то начавшаяся от нее даже не тропа, но дорога, на которой встречные могут спокойно разойтись, расчищена не хуже городского тротуара — зенитный капитан Фомичев, радея о пользе и здоровье своих солдат, всегда найдет чем их занять, вызволить из скуки службы на гранитном невеликом острове с унылым видом диких и малообитаемых окрестных мест. Но Николка во всем видел лишь армейский порядок, почти приближенный к недостижимому, конечно, флотскому, не задумываясь об участи солдат в таком месте службы. И зачем маячным ребятам чужая докука? — для кого-то злая мука, а для них, родившихся и подрастающих здесь, все привычно и близко. Главное — в родном доме, а не в так и оставшемся для них чужом, казенном интернате... Не потому что плохо там живется, но ведь в отдалении от семьи?!

А вот и начало зенитных владений: слева миновали семейный офицерский дом и уперлись в большую казарму — оба здания бревенчатые, одноэтажные, но высокими смотрятся. На траверсе офицерского дома Малахай приостановился, радушно помахал хвостом, улыбчато поглядывая на окна. Ответное внимание не заставило себя ждать: хозяйский здоровенный рыжий кот, вышедший по делам своим и подышать свежим воздухом, замер небоязливо на крыльце у входной двери. Но кот не входил в стаю,

к которой приписан Малахай, тем более, что на крыльцо вышла лейтенантова — как пояснил Вовка — жена, разглядевшая компанию в окошко, поздоровалась с ребятами, а Малахаю из рук-в-пасть пирожок, явно с мясной начинкой, судя по отчаянному благодарению фигуристыми извивами хвоста. Одетая лыжницей лейтенантша, явно недавняя школьница, поздравила с каникулами:

— Десять дней на вольной воле! А мы с Пашей, сегодня до вечера он свободный казак, покататься собрались.

И совсем по-девчачьи не удержалась похвастаться:

— Завтра всем «женсоветом» в Полярный на концерт в дэкафе едем («идем»,— машинально по-флотски поправил про себя Николка) — ленинградские артисты будут! Спасибо командиру полка за новогодний подарок, катером соберут со всех батарей и обратно доставят.

Лыжница, махнув им рукой, скрылась за дверью. Николке давно известно, что батареи зенитно-артиллерийского полка разбросаны по «точкам» на левом берегу Кольского залива на его выходе в Баренцево море. Одна из них стоит прямо напротив Седловатого у Медвежьих входных в губу Сайда, где рыбопромысловый поселок с цехом копчения трески и палтуса. Очень Николка уважал треску горячего копчения, а отец сайдагубского приготовления палтус иногда даже приравнивал к зубатке и семге...

Со вчерашних рассуждений матери при ходьбе через Екатерининский Николка уже усвоил, что молодые офицерские жены, пока опасающие обзаводиться своими детьми на «диком острове», очень привязчивы к маячным ребятам, всегда норовят при случае конфетами одарить. Но сегодня повезло Малахаю, приравненному к детскому народу.

Казарма многими своими окнами, фасадом, гово-

ря по-городскому, выходила на оконечность внутриостровного залива, оставляя между ним и собой лишь место для дороги. А на условном углу по линии офицерского дома и казармы располагался расчищенный плац для уставных построений личного состава батареи, обок которого на двух столбах навешан большой фанерный стенд со схемами и надписями о боевых успехах во время войны и посейчас. Значилось число сбитых батареей немецких самолетов: пятьдесят девять, из них почти все бомбардировщики, летавшие из Северной Норвегии на Мурманск и Полярный. Но об этом Николка хорошо знал от отца, всю войну служившего в местах от выхода в Баренцево море до самого Мурманска.

...И прямо за стендом крутобоко начиналась сопка, на вершине которой располагались бетонные капониры (Вовка всезнающе уточнил) с зенитками крупного калибра. С противоположной стороны — он заметил еще с маячной сопки — батарейная гора круто и высоко обрывалось в воду. Опять же со слов отца знал Николка, почему для всех островных и береговых зенитных батарей выбирались именно такие по фигуре сопки: чтобы при бомбардировке пролетающими самолетами, когда фрицам нет времени особо прицеливаться, фугаски, попадая на склоны и взлобья сопки, там и взрывались, не причинея никакого вреда зениткам и их обслуге.

♦ На крутую сопку вела, тоже прямо от стенда, железная ступенчатая лестница с перилами по левую сторону, по-уставному: вбегаешь по команде «к бою», оружие в правой руке, а спускаешься — автомат или карабин за плечами. Все предусмотрено в фортификации! В пролетах лестница, как зорко углядел Николка, закреплена на стальных штырях, вколоченных в высверленные в граните отверстия-лунки.

У самого входа на трап (Николка мысленно опять же, машинально переиначил лестницу на флот-

ский манер) обязанности постового и дневального по расчистке лестницы от снега совмещал солдат с одинокой ефрейторской лычкой на погонах, то есть по званию родной брат давешнему снисовскому «страшному матросу».

— А-а, Вовка! — отставил «вольный» (отец объяснял Николке, что ефрейтор — от немецкого гефрайтер, то есть вольный, свободный...) лопату и закурил. При этом, осторожничая, оглянулся вправо-влево, не видать ли офицеров — все же на посту! Далее разговор в точности повторился слышанным Николкой давеча у поста СНИС: как встретили дома новый год, что родители пили, про новую пацанскую личность, то есть про Николку. Явно других дел и забот у военных на острове нет...

— А нам вчера новое кино показывали, «Карнавальная ночь» называется.— Далее ефрейтор, довольный появлением собеседников, кратко пересказал фильм: про бюрократа Серафима Огурцова, наклюкавшегося лектора, что Филиппов исполнял. Особо понравилась ему с земелями* новая молоденькая артистка — Лена Крылова по фильму.— Эх, скорее бы дембель! С такой вот девахой познакомиться!

Вовка с Николкой вежливо выслушали, но, догадываясь, что сейчас второй год служащий «отличник боевой и политической» перейдет к непристойным рассуждениям о девках и молодых бабах, сообщили: кино это не новое, они его еще прошлой весной в дэкафе смотрели. Нимало не огорчаясь, но сбитый с продолжения разговора по женской части, ефрейтор, в свою очередь, похвастался:

— Скажите, «Тихий Дон» уже смотрели?

— Не-ет,— врастяжку ответил Вовка.

---

* Во флоте «годок», в сухопутных войсках «земеля» суть взаимное именование вместе служащих и ранее служивших — в пределах одного корабля, соединения, части, военного городка и пр.— Прим. авт.

— Так сегодня ввечеру приходите, первую серию будут давать. А завтра и вторую. Третью, говорят, еще снимают только.

Заслышав с верху батарейной сопки явно командирские голоса, а затем четко отдающиеся в морозной тишине постукивания каблуков по железным ступеням, ефрейтор притушил пальцем сигарету «памир», спрятал окурок в карман и, подмигнув ребятам, с нарочитым усердием занялся расчисткой вчерашнего снега за стендом, что, по здравому рассуждению, от него и требовать-то не стал даже въедливый по долженості ротный старшина Пилипенко,— для солдат второй после капитана Фомичева «бог, царь и воинский начальник». Правда, были еще полковые командиры и батарейный повар, но «батя» и его замы далеко пребывают, а повар все же свой, земеля, от которого нет-нет, да перепадет в дневальство по кухне «за усердие» вожделенная банка сгущенки, а в воскресенье и табельный праздничный день и лишняя огнедышащая булочка. Благо, по сравнению с Большой землей, в этих местах такое дневальничанье не утомляет: картошку и другой овощ чистить не требуется — все на фабрике почищенное, нарезанное и высушенное, как сухари. Бери себе указанное поваром мерой из мешков и сыпь в «ротные» кастрюли на плите.

...Но на казарме расчищенная под тротуар тропа и заканчивалась. Далее к проливу и переправе на Екатерининский только заметенное вчерашним снегопадом и метелью, еле угадываемая протопка ногами. Впрочем, этот путь Николка помнил по вчерашней ходьбе. И Вовка явно не собирался почти что снежную целину пахать невесть зачем: ничего там интересного зимой нет. Летом — другое дело. Николка поинтересовался могильником, даже, со слов Тольки, пояснил: на южной стороне острова большая песчаная бухта меж двух невысоких сопок, а песок

даже в полный прилив на много метров свободен от воды? Про могильник древний Вовка не то что не слышал, но полагал детскими пугалками на сон. Впадину же песчаную, конечно, хорошо знал. Камбалу там и на Екатерининской переправе летом на острогу ребята бьют. А зимой туда не ходят: зачем? И почти километр отсюда уже безо всякой раньше протоптанной дорожки надрываться...

— Пошли домой! Лето наступит, весь остров ногами оттопаешь!

ОБРЯЖЕНИЕ БАНИ. ПЕКАРНЯ. СТРАХ.

♦ Николка от кого-то из полярнинских взрослых, школьных учителей или интернатских воспитательниц, впрочем, тоже «училок», услышав не понятые им слова «развертывание времени», тем не менее отложил их в цепкой детской памяти. И только в первые дни пребывание на новом острове он, не умея все это объяснить словами, еще не послушными недостаточному разуму третьеклассника, осознал смысл странного сцепления понятных по отдельности слов. Именно время — жизнь ощутимо развертывалось на новом месте. Шли года...

...В будущей своей, взрослой жизни, вспоминая северные годы, Николка, но уже Николай Андреянович, сам себе задавал вопрос: «Вы жили на Севере?» Тогда трудно, может быть, отвечал сам же себе, вам будет представить. Для этого родиться там нужно, чтобы вообразить от веку забытую богом землю. Землей-то трудно ее назвать: гранитные, двухсотметровой высоты обрывы берегов. С самой высокой сопки куда ни посмотришь — на три стороны только камень, камень, лишь в ущельях, где срастаются основания сопок, видна земля или то, что

можно назвать землей: тонкий мазок древнего торфа, лежалой пыли тысячелетних ветров, что со свистом и звериным воем проносятся по извилинам межгорий. Это и есть земля, а вы: поэзия, колорит!..

С четвертой стороны, северной, где отвесной стеной обрываются гранитные скалы,— ужас: каменящий душу ледяной океан. Зимой прибрежное море не замерзает, пересиливает Гольфстримом мороз, но от этого тоже мало радости, любоваться тут нечему: вода-то переохлаждена, кипит и извергает туман, да не простой, а такой, что легкие душит. Адское варево изо льда, замерзающего пара и ртутно-холодной, тяжелой, как паста, густой воды. А когда ударит снежный заряд, заштормит на месяц — еле-еле тлеет жизнь на побережье, жизнь и без того искусственная, единственно возникшая по случайному капризу моря: не замерзать в любой мороз. Живых же людей держит здесь удвоенный с половиной оклад.

Но совсем прячется жизнь на продуваемых сквозными ветрами, обкатываемых со всех сторон ледяными валами островах. Ни один отблеск огня не пробивается сквозь туман, снежный заряд, кромешную смесь падающих, вздыбливающихся, разбивающихся в ледяную пыль волн. Только рев и посвист звуковых маяков обнаруживает острова для пробивающихся к портам рыбацких сейнеров и торговых судов — «купцов». И, разумеется, военных кораблей.

Все население острова — три-четыре семьи — живет чаще под одной крышей: так уютнее и легче поддерживать существование. И как бы ни плясала, ни грохотала, ни сходила с ума сорвавшаяся со всех мыслимых и немыслимых цепей дикая природа, по издавна заведенному маячному порядку по субботам хозяйки ставят хлеба на под большой русской печи в комнате-пекарне. Это и клуб: женщины не отходят от печи, то и дело приотворяя дверцы и пробуя вилкой запекающиеся корочки пшеничных буханок, поворачи-

вая противни с пирогами. Ах, эти пироги! С чем только их не пекут по субботам матери с наследным мастерством поморок Архангельского и Терского берегов? Ребята притихли на лавках вдоль стен, но зорко смотрят: не опоздать бы и, обжигая пальцы, побыстрее схватить с вытащенного матерью противня раскаленный сладкий пирог или творожную шаньгу и со вздохом проводить глазами отправляемый остывать рыбник — запеченную в хлебном домике трехкилограммовую треску или плоскую, истекающую жиром камбалу. В самом же большом, к ближнему празднику заготовленном рыбнике — распластанная пятнистая зубатка с волчьими клыками. Но еще более влекут руки и источают слюни открытые и на весь противень пироги с засахаренной морошкой, черникой, голубикой и клюквой. Поверх же пирогов — корочка сахарной глазури. Несколько менее интересны пироги с грибами... Попозже, когда пироги сняты, а хлеба доходят, подтягиваются на огонек мужики, все, кроме дежурного, ушедшего в чертово месиво пурги на маяк в ночную вахту. Седалин с радиостанцией возится.

♦ Ребята, прибывшие домой на новогодние зимние каникулы, сидят, раскрыв рты, а в них влетают горячие пироги и россказни, одни занятнее других. Место здесь глухое, одинокое, особенно, когда на третьем году жизни Николки на Большом Оленьем «съехали» зенитчики и снисовцы, а рассказы чем страшнее, тем интереснее. Та же сказка на ночь. За окнами, облепленными снегом,— злобное, воющее, черное и дикое, а в пекарне — хлебный дух, банная жара, отблески печного пламени. Маячники — среди них помнящие даже предвоенные годы — не первый десяток лет живут на островах, старожилы побережья. Для них острова, море, вечные шторма — не такая уж серая и одноликая нежить. За все есть зацепка в памяти, а в субботу в пекарне сами собой, без особых усилий памяти и побуждений разматыва-

ются воспоминания, быль мешается с небылью. Дети же знай только подхватывают пироги с остывающих противней да ловят ушами рассказы о былом, давнем. Чего только не узнаешь? Многое повидали за свою жизнь маячники, люди с родовой, не в первом колене профессией, привыкшие впятером-вдесятером годами жить на отдаленных островах, при этом исправно, с точностью безотказных часов нести вахты, не спиваться, не сходить с ума от однообразия жизни и малой ее комфортности.

Помнили старожилы папанинцев, их первую остановку на твердой земле. Всю войну также точно и размеренно несли вахты на маяках. Помнили, а мать говорит, что Николка сам смотрел, да от крайнего младенчества не затвердил, как касатки загнали в залив молодого кита и тот, пуская фонтаны, добежал почти до Мурманска, но, оправившись от страха, снова уплыл в море. Много чего порасскажут маячники, знай только слушай!

Получается, не такая и бедная событиями жизнь, если человек научился отмечать обычные ее явления даже среди серых гранитных обрывов, ледяного и кипящего холодом моря, раздирающего душу крика чаек. А ведь говорили раньше: только волк тундры россомаха может здесь жить? Получается — жить можно, если есть что вспомнить и через десять, и через пятьдесят лет. Страшно ли здесь жить? У него, страха-то, глаза большие, разный он бывает: когда тебя напугают и когда сам напугаешься. Две истории накрепко осели в памяти Николки — и сколько оттенков у детского страха?

Еще раз, острова — места уединенные, до семи лет ребята растут, чужих людей почти и не видя. Раз в месяц, а то и реже, по казенной надобности прибудет на катере техник, покопается на маяке и опять на катер. Вот и все «чужие». Да и взрослые на островах, что дети становятся.

Как-то раз наслушался Николка разных историй в субботней пекарне, таких невероятных и страшных, что даже стихла резко, как бывает в тех местах, пурга, осели на землю взвешенные в воздухе хлопья снега, а на небе выступили звезды, включив в центр своей россыпи холодную луну.

— К морозу,— говорили, расходясь маячники. Действительно, наутро светило низкое зимнее солнце, воздух замер, море успокоилось, а тихий ветерок-поземка срывал с его поверхности плоские, прилипшими тучками бредущие в открытое море густые туманы. Остров — белый платок, накинутый на россыпь снежных камней.

♦ Ловя недолгий дневной свет, каждый, от мала до велика, принялись за свои дела: кто обряжает* баню — на маяках банный день в воскресенье — и носит дрова, другой раздалбливает на озерке промерзшую за ночь прорубь. Женщины с ведрами идут за водой, начальник маяка Седалин с помощником торопятся с регламентной работой: меняют шкивы на движке электрогенератора. Седалин спешит, до темноты бы успеть. Отец, свободный от вахты на маяке, засыпает заготовку дроби — кубики нарезанных свинцовых блинов — в барабан ветряка: маленькой ветряной мельницы. Ребята прямо от озера съезжают на лыжах по пологому спуску в лощину между сопок. Время спешит вместе с людьми.

Отец засыпал дробь в мельницу и пошел на маяк — что-то ему понадобилось из железок. Значит, уже двенадцать. Солнце заиндевело, задрожало и очень быстро спряталось. Потянуло с залива сырым холодом, затемнело. Матери выглядывают из форточек и зовут обедать. А тут Петька Пряхин кричит:

— Па, смотри, люди идут!

---

* Обрядить баню — то есть затопить и вытопить, дрова поднести, воду и пр. (поморск.) — Прим. авт.

И показывает пальцем на дальнюю, противоположную оконечность острова. Люди? На острове! Это почти диковинка после передислокации зенитной батареи и поста СНИС в другие места на побережье. Ими могут быть только свои, возвращающиеся из города, знающие час отлива, когда обсыхает насыпной перешеек на соседний остров. А все чужие — техники либо начальство, комиссия с урной для голосования в дни выборов — приезжают на катере со стороны залива. А ведь все маячники дома, в город никто сегодня не ходил? Седалин сбегал в дом, вынес бинокль, посмотрел и только сказал со значением:

— С ружьями!..

Всплывшим ужасом вчерашних россказней дунуло на всех: детей и взрослых, даже Седалин, на что мужик себе на уме, поколебался:

— Бабы, заберите-ка ребят по квартирам, да чтобы по коридору без дела не бегали. Сами тоже! — И жене:

— Прося! Готовь ужин, рыбников принеси, уток со вчерашней охоты разморозь, зажарь, сообрази еще чего...

— Не слишком ли того, Николаич, думаешь? Охотники, наверное, из города забрались,— засомневался Степан Канатчиков.

— Ничего я не думаю, а чужих охотников отродясь на острове не помню.

Седалин вроде как опомнился, чего-то еще хотел сказать, махнул неуверенно рукой, но и досадливо в то же время. Все-таки ответственность на нем! Но Седалин явно что-то думал и готовился, а к чему готовился? А к чему готовиться нам, ребятам? Все трое, со Славкой и Сережкой, забились в темной спаленке, накрывшись от разыгравшегося страха одеялом. Как огородились от всех напастей. Оно-то спасет, теплое, на гагачьем пуху. «А еще пятиклассник»,— сам себя стыдил Николка.

На кухне мать стучит посудой, ставит ужин на стол отцу, вернувшемуся с маяка. Тот посмеивается над осторожностью начальника, однако в смехе-то есть что-то стеклянное? Мы шепчемся. Проходит неопределенное время, незамеченное, в зимних сумерках *безразмерное*. Не схватишь: откуда пришло, куда ушло? В нестойкой полудреме узнаем из разговора родителей: Седалин встретил и привел обоих чужаков к себе, устраивает пир горой, даже выставил две бутылки! Это на острове-то! Слышим, как отец облизнул губы и крякнул.

Дрема отброшена, понемногу смелеем и выскакиваем в коридор, а там уже другие ребята. Седалинова жена шепотом прикрикивает на нас, таща бегом к гостям всякую всячину из кладовой. Из полуоткрытой двери начальниковой квартиры валит папиросный дым, а с ним и смех, голоса мужиков, звон посуды, довольное покашливание. Сам Седалин заливается без умолку, врет веселое, гости хохочут в голос. Наконец, он уводит обоих в вытопленную баню, а те хвалят, не жалея слов, маячное гостеприимство. В растворенную для проветривания дверь видим: Прасковья, по-маячному Прося, по новой накрывает на стол, ставит жареных уток, рассыпает по тарелкам грибы, пироги, всякой выделки рыбу, даже тарелку с мандаринами ставит!

В кладовке Прося шепчет женщинам, что-де *сам* отослал Канатчикова в город, пусть, мол, поинтересуются: кто такие? Как назло, второй день телефонной связи с Полярным нет... И радиостанцию на мелкий ремонт гидроотдельцы увезли недавно. Тем временем с улицы — смех и голоса. Распаренный Седалин с такими же гостями вваливаются в коридор и — прямо за свеженакрытый стол. Хитрит, думаем, Седалин, заманивает, задерживает, вот и ружья чужаков — мол, здесь тесно, ребята бегают — выносит в пекарню и — на ключ! Зовет к

себе маячных мужиков. Из-за двери шум, анекдоты, смех. Голос Седалина — веселый, довольный и полный самого разудалого гостеприимства — гремит по всему дому. Но от этого, как нам чудится, притворного веселья на душе страшно невсамоделешним страхом. За тонкой дверью, которая не спасет от пули, в темноте спаленки, под пуховым одеялом, тесно прижавшись друг к дружке, хотя бы Николка воображает себя взрослым, шепчемся:

— Шпионы! — Самому Николке и страшно и смешно за свой страх.

Сколько-то времени прошло? — выглянул из-под одеяла. В квартире тишина, в темную комнату падает ослабленный занавеской свет с кухни, что-то шелестит. Догадываюсь: мать, надев очки, по причине свободного времени пишет письмо брату в Плесецк. Тишина, чуть потрескивает натапливаемая на ночь печь, за окном — белесая тьма: снова пошел снежный заряд, но уже без ветра. А со стороны коридора все тот же отдаленный хохот, голоса и развеселые крики. Все то же нарочитое веселье, пир без конца и умолку, как пируют в сказках хорошо поработавшие богатыри. И отец не возвращается оттуда, да кто же уйдет от редкого для маяка застольного веселья?

Время идет. Снова под одеяло. Братья размеренно сопят. Заснули, счастливые, а к Николке сон не идет. Временами от тишины, тепла начинает чудиться: смолкли песни, настала секундная тишина, а потом вдруг злые окрики, ругань, выстрелы, взрывы припрятанных гранат. Всюду огонь, женщины с криком бегут, горит дом, дышать нечем, кто-то ломится в дверь. Душно!

Выкарабкался из последних сил из-под одеяла и ловит ртом воздух. Уфф! Примерещилось под пуховиком. Вокруг все та же тишина, вдали уже поют нестройными голосами, а стук — это мать задвинула чугунную вьюшку в дымоходе вытопленной печки.

Сердце колотится, но отходит: чуть не задохнулся под одеялом. Лежит, откинув его. Когда же начнется, наконец? Когда же кончится, думаю... Тикают часы на кухне: тик да тик. И вот вроде как в бухте застрекотал мотор. Катер! Послышались дальние голоса с улицы. Прошипела за окном красная ракета, за ней — зеленая и еще одна — желтая. Условный сигнал: брать осторожно — с оружием! Сразу вслед раздался топот по коридору, крики:

— Руки вверх!

И случилось все-таки, захолонуло сердце холодом отчаяния, от которого нет защиты и спасения. Загремели выстрелы, застрекотал автомат. Крики, стоны раненых. Всполыхнула граната, и зашатался дом. Грохотом сорвало Николку с постели. Голышом выбежал в коридор, а в глаза брызнуло ярко и беззвучно, едва успел упасть и закрыть голову ладонями — граната прямо перед ним разорвалась. Бежали люди с катера, дергая на ходу затворы карабинов, а в дальнем конце коридора стоял кто-то огромный и темный и беспрерывно строчил из автомата. Долго и непонятно шел этот бой, а Николка, распластавшись на полу в тупике коридора, никем не замечаемый, с ужасом ждал и смотрел... И вдруг запылал дом, стало невыносимо жарко, жаром опалило глаза, он рванулся и — проснулся вновь!

♦ Утро. На улице чуть забрезжило, а в спаленке включили свет: лампочку без абажура прямо над Николкиным лицом. Братья пыхтели и толкались, играя спросонок в бессмысленную игру. На кухне, уже давно проснувшиеся, разговаривали отец с матерью. Не вставая с постели, выглянул в открытую дверь: отец пил чай, мать что-то жарила на плите.

— Ну как, взяли их? — сорвался на хрип голос Николки.

Отец рассмеялся.

— Взяли, взяли,— ответила мать,— в час ночи

катер приходил. Обоих в город до дома и подвезли. Спасибо, говорят, маячникам, хоть охота не получилась, зато в баньке попарились и отдохнули. Один-то, слышь, что постарше, зубной врач. Седалину обещал протез безо всякой очереди сделать. Отец хмыкнул, но уже скорее зловредно, чем сконфуженно: зря, мол, Седалин припасенной к праздникам водкой охотников и маячников на дармовщину поил.

Николка пошлепал умываться, а субботние байки в пекарне с тех пор слушал вполуха, тем хуже... для пирогов.

Так Николка о надуманном страхе вспомнил, который по недоразумению случается. А вот когда дело осмысленное вполне? — другой уже страх может случиться. Страх! А что страх? На то и дан человеку: пугать его, но лишь на минуту, на час, на день, ну... много на неделю. А потом обязательно отпустит. И отец о войне рассказывает, что страх-то не длится больше положенного времени, вспыхнет и угаснет. А если ужас годами длится, то совсем не означает беспрерывного зуда страха. Не один ведь он схватил и держит в цепких лапах человека. Есть и другие чувства в самых лютых обстоятельствах. А тот... вспыхнет, но здесь же и отступит. Иначе бы жизнь была невозможной, люди без конца самоистребляли бы себя. Страх обязательно отпустит, как только ужас отдалится, либо станет нормой самой жизни. Это уже мысли взрослеющего Николки, уже Николая Андреяновича.

Где-то есть в голове человека место, куда старается каждый быстрее затолкнуть, упрятать страх, пока не захватил он всю душу и не вверг в безумие. И так устроена человеческая природа, что ужас, страх, боль только сиюминутно чувствуешь. А потом все отбрасывается, убирается в темную кладовку памяти и кладовка накрепко защелкивается, чтобы и помину не было. А иначе что? Не знаете? И ника-

кой водкой не зальешь. Водка малый страх, пустячок выгонит и то до протрезвления. А было бы то, что воспоминание о пережитом страхе сидело сиднем в душе, в голове, в каждом нерве тела, и человек боялся бы, как стреляный заяц, всякого куста и слова. Больной зуб в петлю загонял! Странно, но ты всегда должен готовиться и быть открыт для нового страха и новой боли, иначе прожить невозможно. Так вот, опять не о страхе, что сразу в крик, в плач, а о том специальном детском чувстве страха. Он и взрослых не всегда минует. У детей просто чаще случается. Оттого не поймут порой матери: почему ребенок ночью проснулся и заплакал? Ведь не обязательно сон дурной приснился.— То пришел осознанный прошлый страх. Ужас, его причина, прошел где-то днем, не зацепив душу ребенка, живую, не умеющую еще сосредотачиваться, непосредственную, а отложился в той самой кладовке, о которой говорено. И особенность души ребенка, детской психики в том, наверное, и состоит. Щадя ее, природа человеческая прячет страх до поры до времени в кладовку и потом лишь выпускает. Не выпустить никак не может, это будет человек без впечатлительности. Выпускает в подходящее время, когда осознание страха менее губительно для здоровья, когда ужас выходит со слезами на материнской груди, на отцовских коленях.

Как было давно! Хотя и помнит Николай Андреянович все до мелочи, но время выжигает в памяти не очажки забывчивости, а осаждает тот туман, мглу расстояния во много лет, что делают любое, самое яркое и запечатленное воспоминание зыбким. И труднее всего одеть воспоминание в одежду колорита, если хотите — словесного выражения давно прочувствованных переживаний, волнений и бурь души.

«ТОРПЕДА, ПОДОЖДИ ДО ОБЕДА»... ИЛИ СНОВА О СТРАХЕ

♦ Николкино время все развертывается, а в памяти уже нет прошлого, настоящего и будущего. От зимних впечатлений — к летним!

Летом на Севере плохо засыпается. Даже уставшие на работе, утомленные дневной сутолокой, долго ворочаются с боку на бок, пока не поймают сон. Первый час ночи, а солнце не думает уходить за горизонт даже на самую малую толику времени. В полночный час лучи его текут вровень с землей, переваливаются через окна в комнаты, рисуя на стенах решетки оконных переплетов и четкую вязь тюлевых занавесок. От солнца завешивают окна плотными шторами, и только тогда в помещениях умирает вечный день, а наступивший полумрак отпускает в сон измаявшихся в борьбе со светом людей.

А дети? Им вовсе невозможно заснуть. Их на лето укладывают в комнатах без окон, если на счастье родителей такие есть в доме, а чаще в кладовках с маленькими оконцами, завешанными плотной ткани тряпками. И если взрослые со знанием пользы регулярного сна побеждают вечный свет, убеждая себя, что искусственный полумрак заменяет нормальную ночь, то дети не думают о том: для них все естественно. Если над миром стоит трехмесячный день, зачем же делить его на отрезки действительного светлого времени и выдуманную ночь? А «ночь» эта — лучшее время для своих, ребячьих дел на улице, где нет взрослых, родительских понуканий и толчеи, нет интерната, школы и учителей, всего, что осложняет жизнь. Родители не в силах удержать их от соблазна воли и с отчаянным: «А иди куда хочешь! Можешь не возвращаться!» — отмыкают двери и выпускают на улицу в час ночи. Не правда ли — дико по местам Большой земли звучит?

Радость-то! А поспать можно утром; детский сон, сморивши ребенка, не боится света, не выискивает затемненных уголков. А пока — величайшая из детских свобод: на несколько часов им отдан опустевший, спящий мир. А на островах? Представляете? То же солнце, скользящее в час и в два ночи по выпуклой крышке мира и моря там, вдали, на невидимой, на воображаемой составителями географических карт границе прибрежного моря и великого ледяного океана. И густо разбросанные по морю острова: бурые, скалистые с обрывов берегов, зеленые сверху, сплошь белые зимой. Много островов на выходе из залива в море, но совсем мало живет на них людей: рыбаки, а чаще на них живут семьи маячников. Вся их жизнь и работа связаны с проходящими судами. Николкин остров двойной, собственно наш, где живем,— Большой Олений, а рядом, отделенный сотней метров мелкого проливчика, другой, гораздо больший Екатерининский. Во время отливов, утром и ранним вечером, вода оттекает с обеих сторон пролива и открывается песчаная дорога между островами. Еще в начале пятидесятых, как говорят маячники, и в полную воду она была проходимой, насыпанная в войну. На Большом Оленьем установили тогда зенитную батарею для защиты от налетов Мурманска и ленд-лизовских караванов. По насыпи подвозили снаряды, стройматериал. Но батарею через пару лет после поселения Николкиного семейства на острове убрали, а монотонные приливы-отливы постепенно и незаметно растащили песок насыпи. Но тем не менее светло-желтая полоса была и осталась дорогой, даже в начинающемся приливе по ней можно перейти с острова на остров, засучив штаны. Летом, конечно, когда вода на мелководье теплеет.

Вечером, ближе к ночи, по всем приметам тихой и теплой, четверо — вся самостоятельная ребятня острова, перебежали, брызгаясь, по залитой морем

дороге на Екатерининский остров. Со стороны, верно, интересно посмотреть: по проливу, зеркалу воды, ломающему скользкие лучи ночного солнца, бегут четверо мальчишек, лишь до середины икр замачивая ноги. Но некому и посмотреть: тихий и светлый мир вымер... Это не брод на обмелевшей речке, все же море, зовущееся Студеным.* И вправо, и влево от залитого перешейка берега островов быстро разбегаются на закруглениях друг от друга, а десяток шагов от насыпи — настоящий морской залив с невидимым дном; где спят в густых водорослях рыбы и ползают крабы, перекатываются колючие известковые морские ежи, откуда высовывается поглядеть на мир божий усатая песья голова тюленя, где с плеском и уханьем прорезают воду стаи касаток. А вода — не парное молоко деревенской речушки, а ртуть холодного моря, и в жаркий июль не теплее нескольких градусов.

...А тогда, как и не раз до этого, перебежали на Екатерининский остров. Екатерининский действительно большой, не наш. Тот за полтора часа по берегу кругом обегаешь, а здесь за это время на всех рысях только что до противоположного берега доберешься. Но остров пуст, только на противоположной стороне, отделенной проливом от городка на материковом берегу, живут немногие люди. Летом, правда, бродят по острову ягодники-грибники и парочки из города; редко-редко это люди гражданские, все больше матросы с подругами — и те в самоволке. Светлая ночь на Севере устав не отменяет. Дети объедаются морошкой и голубикой, не замечая скучные, в натуре несъедобные грибы. А парочки ищут уединения.

♦ Четверо ребят пошли наискосок острова в

* Студеное — новгородско-поморское название Баренцева моря.— Прим. авт.

дальнюю бухту через болотистые площадки меж сопок, сплошь усыпанные перезрелой влажно-багровой морошкой. Излюбленная бухта, ничем не заслоненная от залива. Противоположный его берег чуть виден за плоскостью тихой, зеркально отсвечивающей лучи купающегося солнца водой.

Тишина и дымка, и запахи — терпкие запахи северных ягод, вереска и вороничника на сопках. Сопки торфяной попоной сбегают к берегу, а берег очерчен полосой выброшенных осенними и зимними штормами обкатанных камней и плавающих обломков: бревен, досок, ящиков. Деревяшки холстами выбелены морской солью и солнцем. Любимое детей занятие — часами, днями бродить по берегам бухт, выискивая невесть что, принесенное морем. А оно, щедрое, несет все что ни попадя, деревянный хлам всех пород, видов и форм с надписями на всех языках мира, бутылки и большие жестяные банки с испорченным яичным порошком, обрывки сетей и спичечные коробки, пробковые аварийные плотики, спасательные круги с названиями судов и портов: «Kobenhavn», «Norge-Bergen», «Adlermeer aus Lubeck», «БМРТ-2, п/п Мурманск», МБП «Ревущий»...* Тут же промокшие, засоленные навек тюки прессованного сена, ломаные весла и продырявленные шлюпки. И великое множество поплавков с промысловых сетей: целые вязанки пенопластовых шашек с дыркой посредине, нанизанных на пеньковые тросики, большие стеклянные шары темно-зеленого, бутылочного оттенка в веревочных сетках-авоськах, кухтыли — металлические полые ядра с приваренными ушками, огромные, как бомбы, понтоны.

Все, все выбрасывает штормовое море... В бухте

---

* «Копенгаген»; «Норвегия-Берген»; «Морской орел из Любека»; большой морозильный рыболовный траулер-2, порт приписки Мурманск; малый буксирный пароход «Ревущий».— Прим. авт.

разожгли костер из досок, ящиков из-под масла, вина, консервов — из всего, что оказалось поблизости. А после ухнули и пару целиковых бревен в разгоревшийся костер. Дурачились, лихо пропели «Кирпичики», бросали в сторону лежавшего на море огромного и тускло-красного солнца плоские камешки, считая подскоки:

— Раз блин, два блин, три блин...

Бревна занялись ровным, облизывающим пламенем, начали утомлять тишина, зеркально-неподвижная вода и замершее над морем солнце. Даже в этот заполуночный час лучи его были во сто крат ярче струй пламени костра, вокруг которого прилегли ребята на постеленных поверх теплых белесых досок телогрейках. Николка читал, а Вовка прикорнул. Двое тихо разговаривали.

Прошло время. Иногда подтаскивали к костру новый ящик, подпихивали в пламя отгоревшую доску, бревно, тогда костер разбухал с новой пищи. Кто-то отодвигался вместе с телогрейкой, а кто и оборачивался к огню менее чувствительной спиной.

Представляете это блаженство? И мало у кого в детстве было подобное! Эта солнечная, тихая до глухоты ночь, блестящее и синее море, нет, именно синее, светлое. Не гомеровское море в романах, те — южные, виннопенные, зеленые... Синее это море то ли оканчивается вдали берегом или берег прячется в дымке? Бесшумно, как само море, милях в десяти скользит серый корабль. А на этом конце залива — белая окантовка берега, зеленой вороничной одеждой восходящего вверх и горбящегося над морем невысокими сопками. Из-за них выглядывают другие, повыше. А на их плоских вершинах, высвечиваемые солнцем, которое само-то ниже сопок, как тоненькие хворостинки попарно колеблются, передвигаются взрослые, занимаясь своей таинственной и далекой от нас любовью.

Море, неугасаемое лето, сопки и извивающиеся вокруг них вытянутые узкие заливчики и проливы. Как передать словами заложенное веками и возрождающееся в каждом детстве поколения чувство неотделимости от твоего мира, твоего моря и проливов среди брусничных сопок? — Это развернутое время втянуло в воспоминания уже Николая Андреяновича...

Славянская равнинная кровь отца разбавлена материной — поморской, новгородского смешания прибрежных племен: от угорцев до варяжского племени русь. Темна история каждого рода. Не потому ли детские впечатления есть осязания этой земли, скал и моря, накопленные сотнями растаявших без следа и памяти поколений...

♦ Долежали у костра до того, что солнце заметно подпрыгнуло над морем. Часов, понятно, не было и быть не могло, но по тому, как исчезли парочки на сопках, а по заливу замелькали катера, было ясно: наступает утро, а с ним потянуло в сон. Растащили костровище по берегу и потешались, сталкивая тлеющие с обгоревших концов доски и бревна в воду. С шипением и паром заныривали они и тут же всплывали, мокрые, с черными заостренными носами. Подобрали слежалые телогрейки и побрели в свою сторону. Назад шли другой дорогой, через дальний конец бухты, ближний, однако, к дому. На самом же стыке пологого берега с полуотвесной скалой, воротами бухты, увидели большой, метров в пять, в обхват толщиной, ржавый-прержавый понтон с овальным носом и хвостовиком. Похожие штуки часто выбрасывало штормом. Правда, были они либо поменьше — от рыболовных сетей, или побольше — от плавучих мишеней. Такие же — ржавые, позеленевшие, обросшие известью ракушек и лохмотьями морской капусты,— не встречались.

Было ясно, что подняло со дна и выбросило в сильный майский шторм. И хотя они не раз с того

времени бывали в бухте, но понтон не замечали, и не удивительно: сюда редко уклоняется протоптанная тропинка, не по пути. Только карабкаясь по почти отвесной скале, здесь можно выйти с берега. К тому же после шторма берег завалило морской травой, под цвет обросшего понтона Только теперь, когда трава пожухла, высохла и сморщилась, железяка стала заметной, но и теперь только вблизи, волна уложила ее как раз в расселину скалы И увидеть понтон можно только сверху, с первого приступка, куда Николка с ребятами и забрались в тот раз.

— Смотри, здоровый какой! — увидел Вовка первым и нагнулся над расселиной, высматривая. Остальные тоже нагнулись, рассматривая. Вовка же тем временем, насмотревшись вдоволь, раскачал лежавший на приступке камень пуда в два и столкнул на железяку, угодил в самую середину понтона. Глухо ударившись, камень отпружинил на гранит зажавшей железяку скалы, и отрикошетив, успокоился на прежнем месте, на понтоне, от стенок которого отскочило облачко известковой пыли.

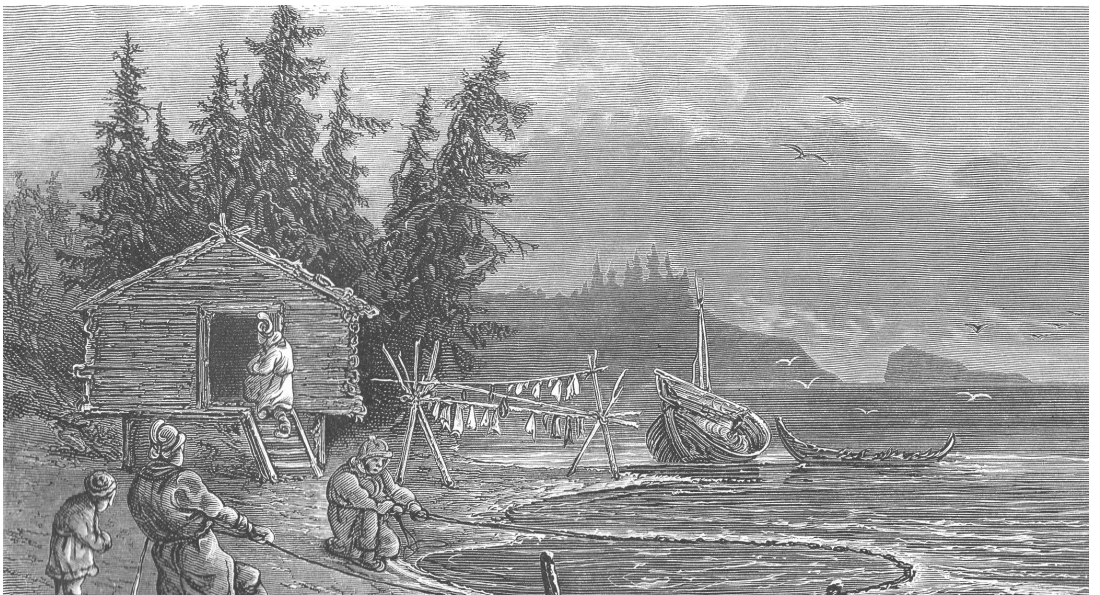
— А что так глухо? — Николка по опыту знал, как звенит пустой понтон.

— Может, не пустой? — понял его Славка.

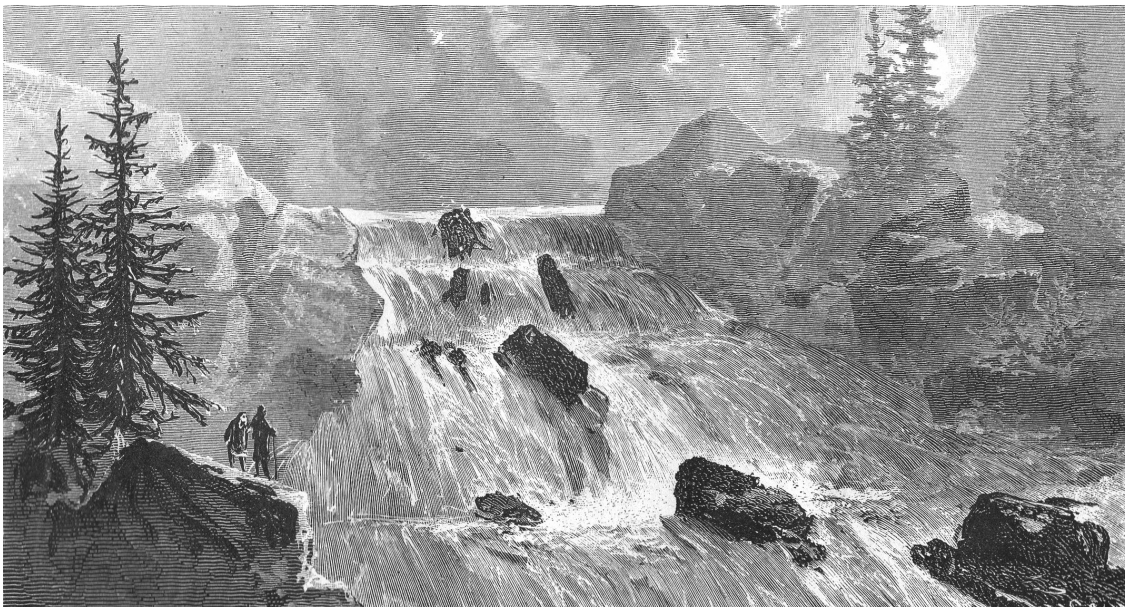
— Как не пустой? Должен быть пустой,— затвердил. Вовка,— если только вода не вытекла, на дне ведь лежал, дырявый, а выбросило дыркой кверху, вот вода в нем и осталась.

Спустились, цепляясь за трещины скалы, и стали расхаживать по понтону. Вовка же монотонно долбил камнем в одном месте. Николка подошел и увидел, что он успел очистить кусок стенки с ладонь размером, вынул из кармана перочинный ножик, раскрыл и, взявшись за лезвие, постучал темляком по железу: отзвук получился глухой и далекий.

— А стенка-то толстая!



Лопарская ставка и рыбная ловля



Водопад на реке Туломе

— Конечно, толстая. И понтон не маленький, посчитай-ка, метров пять-шесть.

Вовка попятился на шаг-другой и начал вновь отбивать ракушечный нарост. Обнаружил, что и здесь звук сильный и звонкий.

— А вот тут воды нет!

— Попал в небо пальцем! Часть вытекла, вот и пустой наполовину.

Действительно, понтон лежал в расселине наклонившись, а место второй пробы — ближе к носу, приподнятому вверх.

А Николка здесь и предложил развести костер: опять-таки вспомнив читанную не раз, валявшуюся дома, без начала и конца затрепанную книжку, где написано про польскую казнь гайдамака, посаженного в раскаляемый на огне медный полый бык, открытая пасть которого исторгает стократ усиленный вопль несчастного.

— Дырка где-то есть, вода нагреется, паром будет выходить, гудеть будет,— объяснил он. Подтащили несколько ящиков, досок, собрали для растопки кучку свившейся сушеной бересты, сложили под нависший нос понтона и разожгли. Полчаса скучно смотрели, как в огне обугливаются водоросли, лопается и отваливается известковая чешуя. Обнажилось ржавое, щербленное въедливой морской солью железо. Скоро оно закоптилось, но раскалиться, конечно, не раскалилось. В напрасном ожидании пришла скука, и костер забросили. Он было потух, но упорный малолетка Петька Пряхин, пыхтя, подтолкнул толстенькое бревнышко и закатил в огонь. Перед уходом подурачились, а Вовка огорошил:

— Ребята, а ведь это торпеда!

Подняли на смех, но тут же стало абсолютно все равно: торпеда так торпеда. Ведь старая и пролежала в воде лет пятнадцать с войны, а главное — всех неумолимо потянуло в сон, слипались глаза, в голове

стоял сладкий туман полного безразличия. Кто-то вспомнил: читал или в кино видел про такой случай, ребята торпеду или мину нашли. Сам командующий их благодарил. В сон, в со-о-он... Раззевались.

И хотя осторожный Славка спрыгнул с железины и встал поодаль, метрах в десяти, остальные почему-то развеселились, заскакали по машине, в такт распевая:

— Торпеда, торпеда, подожди до обеда!

Странная веселость, как Николка понял значительно позже, уже взрослым и умным, была лихорадкой близкой опасности, но явно не осознаваемой. А оттуда, изнутри, лихорадило и опьяняло, и веселил тело, дергая мышцы, холодный, странный бес веселья через силу. Сколько-то минут побегали и попрыгали по железяке, стуча по ней камнями и колотя палками. И вершина веселья: выразили свое детское величайшее пренебрежение, со смехом справили малую нужду прямо на понтоне; конечно, ясным-то умом все полагали: понтон это, понтон, никакая не торпеда! Дальше этого придумать более издевательского для железяки было невозможно, от хохота икалось и сводило катающуюся смешинку в низ живота.

Снова пригнало скуку, а сон увел последний всплеск возбуждения; вновь раззевались и с тем ушли. Поднявшись на сопку, оглянулись и увидели глубоко внизу, у самой воды, бурую сигару, под ее тупым носом неярко попыхивал костер, разгоревшись подтащенным Петькой бревнышком.

А на другом конце бухты, километром дальше, дымил чужой костер, виднелись двигающиеся фигурки ребят, пришедших на утреннюю рыбалку из города.

♦ На свой остров перешли по обмелевшему в утреннем отливе перешейку. Когда Николка вошел в квартиру, стараясь не скрипеть дверью, неслышно протопав по коридору маячного дома, то увидел пьющего чай отца — собирался на летние ремонтные

работы на наутофон. Мать и Сережка, не захотевший идти с нами на Екатерининский, спали. Отец спросил куда сегодня черти носили. Ответил: ходили на Большой остров, жгли костер, нашли здоровый понтон, со дна подняло и штормом выбросило, весь оброс ракушками и травой, а Вовка говорит — торпеда. Отец, доселе не скрывавший скуки к моему отчету, отставил стакан, насторожился:

—А ну-ка, какая из себя?

Рассказал и даже нарисовал: с хвостовиком, овально-закругленным носом. Сказал, что костер под ней разожгли, били камнями, а звук глухой, как водой залита. Вроде какой бес тянул за язык, даже сон переморгался.

— Костер и сейчас горит?

— Да, там ребята из города. Тоже по дыму найдут наверное,— совсем уж непонятно для чего добавил и испугался: отцово лицо побледнело, он странно на меня посмотрел, как бы сбоку, издали. Поднялся со стула спросил, в каком месте понтон (В Гагачьей бухте с правого края в расселине?), не говоря ни слова, вышел в коридор, постучал в дверь напротив по коридору — квартиру начальника Седалина. Через обе оставшиеся открытыми двери, через коридор, слышался их разговор. Потом Седалин взялся крутить ручку индуктора телефона. Нечетко разобрал Николка:

— Комендатура (значит, прямо в город звонил), дежурный? Это с маяка... да, в Гагачьей бухте, по всем признакам. Ребята видели, костер под ней оставили, дурни... Ясно. Я прослежу.

Звякнул отбой, вернулся отец, а с ним Седалин. Отец все так же странно, искоса посматривал. А обычно веселый, с прибаутками, нарочито дурашливый лопарь Седалин словно и не видел меня. Очень был озабочен. Взял листок с рисунком, рассмотрел, положил на стол.

— Похожа. Немецкая скорее всего.

— Так ближе Кильдина не подпускали, помнится?

— Черт ее знает, может, с торпедоносца, у входа в залив торпедировали караван, а сюда занесло? Впрочем, самолетные поменьше... Ну ладно, ты давай на маяк, Степан уже там. Маячников предупредить надо.

— Может, в бухту кого послать?

— Катер уже, наверное, вышел.

Хлопнула дверь. Николка достаточно разобрал из телефонного разговора, на лбу выступил пот. Пошел на веранду. В окнах — напротив выступ Екатерининского острова, за выступом — Гагачья бухта. Просидел в одолевавшей дремоте четверть часа и увидел заходящий за поворот выступа катер из города. Стало легче на душе, вернулся к себе, снял ботинки, добрел до постели, лег, не раздеваясь, на свою кровать и провалился в закруживший голову сон. Проснулся в полдень; солнце не заглядывало в окна, уже высоко поднявшись над крышей. Дома никого не было. Все вспомнив, Николка мигом вылетел на улицу и увидел...

♦ Дом стоял на верхней точке острова, и сопка, закрывшая Гагачью бухту, была хорошо видна: заливчик бухты, но не тот, с торпедой, а наш, островной, лежал под ногами. Была в этом промежутке еще одна сопка, низкая, с пологими скатами, не мешавшая взгляду. Поначалу увидел все то же, но высоко поднявшееся солнце, снова сверкающее, без единой морщинки море. А обогнув большой, как казарма, маячный дом, очутился в толпе сгрудившихся маячников с детьми; они теснились на деревянном настиле-террасе, полупериметром охватывавшем дом со стороны залива, где сопка, закругляясь, спускалась к воде, а жилой этаж дорастал вниз до убегающего каменистого склона еще одним, полуподвальным со складом и мастерской.

Пришедший с маяка отец, мать с братишками стояли там же. На перилах сидели ребята. И все на Николку, а он на них посмотрели одинаково настороженными и многозначительными взглядами. Боже мой! Какая детская, глупая и наивная гордость от сознания значительности своей роли в этом торжественном и пугающем их, взрослых, происшествии светилась в его и подельников глазах! Не зря же Петькина мать, услышав из-за сопки Екатерининского острова троекратный предупредительный гудок корабельной сирены, в сердцах, без пояснения причины, влепила сыну затрещину, погасившую и его восторженный взгляд.

В заливе же, километрах в полутора от Гагачьей бухты, неподвижно стоял серый катер; от него к бухте и обратно неторопливо для дальнего стороннего взгляд курсировала шлюпка. Дважды еще прогудел сторожевик, наступила долгая, бесконечная в ожидании, минутная тишина. Было слышно, как по заливу через острова доносится музыка из города.

Николка вцепился в перекладину низеньких перильцев террасы и, повторяя про себя: «раз, два, три... раз, два, три» чуть подпрыгивая, отжимался на опущенных и выпрямленных руках, внимательно глядя на носки ботинок А зачем?

Ахнула нервная Петькина мать, Николка мигом вскинул голову, увидел, как над сопкой, закрывавшей от глаз Гагачью бухту, взлетело белесое, с искорками лопающегося огня, прямое, параллельно лучами вверх пламя, облако-сноп, вслед за этим хлестнуло по ушам, рукам, перилам и помосту, отпружинившему ноги. Не прерываясь, хлест перерос в грохот, а тот раздробился отражением от воды и каменистых сопок на многократные, постепенно слабеющие отзвуки. Из расширившегося и замершего над сопкой облака выпали черные размытые ручейки камней и берегового хлама. На общем фоне грохота

взрыва залив напротив Гагачьей бухты беззвучно вскинулся узкими, с размахренными пеной верхушками конуса фонтанчиков от попадавших в воду камней. Из-под сарая выскочила седалинская кошка и дико, угловато петляя, опрометью бросилась за дом...

Все вдруг громко заговорили — о чем, не помнили, Николка сам не слышал заложенными хлопком взрыва ушами; слова сочились, как через вату, заглушенные и не связанные друг с другом. Только Вовкино: «Вот рвануло! Сила!» — разобрал и запомнил четко. И не совсем твердо, уже ввечеру того дня помнил, как вместе с ребятами шел от дома в сторону взрыва, хотя сам же с жаром утверждал, что так скоро не пропустят на Екатерининский. Но прекрасно помнил не словесное,— зрительное, как из-за сопки после взрыва выкатилась медленная сглаженная волна, глянцевито отсвечивая на солнце, как сплющивалась и округлялась, подбегая к сторожевику, и тот игрушкой закачался на ней...

С полчаса ребята просидели у перешейка. Над заливом прозвучал сигнал отбоя, а они, перебежав залитую дорогу, скорым шагом с перебежками направились к Гагачьей.

Ничего удивительного в бухте не произошло, просто торпеды и след пропал. Расселина, зажавшая ее, не пострадала, взорвать эти гранитные скалы можно было разве что атомной бомбой. Показалось, правда, что скалы расселины чуть побелели, как будто известью полили, да еще сразу около воды, у самого берега, слегка срыло гальку и расчистило от нанесенного морем плавучего хлама.

Вовке же попалось нечто большее, что он нашел на приступке, где мы стояли,— кусок торпедной обшивки, но, вывернув из земли, поняли, что заржавленная и позеленевшая железина лежит в торфе не менее десятка лет. Побродив по бухте, вернулись на свой остров с лихорадящими щеками, но домой

пришли к вечеру. Домой же в тот день велено было явиться не позже десяти часов. А там ждал странный сюрприз: наряду со строгим внушением никогда более за версту не подходить к незнакомым железкам на берегу, было сообщено, что-де Седалину звонили из города. Благодарили за бдительность, но понтон-то оказался отнюдь не торпедой, а ее макетом, то есть по сути обычным понтоном с двигателем; их используют для имитации отражения торпедных атак надводными кораблями. Такие штуки достаточно легки, вот и выбросило штормом. А это еще несколько лет на дне пролежали...

От греха подальше и ложных тревог, а заодно уж и потренировать минеров, под него заложили пару толовых шашек с расчетом, что взрывом напрочь выбьет из расселины и выбросит в море. На том и аминь!

А вот собственно о страхе. В тот день его не было, только гордость, возбуждение, болтовня, а до страха не хватило времени. Самое удивительное, что развенчание торпедной легенды никак не успокоило, именно отсюда начались ростки страха. Ну, да психологи это очень бойко могут объяснить. Пришла ночь, сон. Страха опять или все еще не было.

Снился взрыв, волна на воде и качающийся игрушечный сторожевик. Прошло несколько дней, с ними ушла, убежала острота ощущения, остался лишь сладкий ужас воспоминания: что, если то был бы не учебный макет торпеды, а сама она, настоящая, смертоносная? Но не было ведь в голове страха! Того, что был где-то упрятан вовнутрь с момента, как побледнело лицо отца, быстро взглянувшего на листок с рисунком и, ни слова не говоря, несоразмерно со своим ростом, маленькой кухней и ранней утренней тишиной, почти что выбежавшего в коридор...

Был страх, выплыл из тайных задворок памяти,

откуда и следовало выйти, где природа живого цепко держит чистую память и делает ее козырной картой чувственного в человеке. А все-таки не помнится первое явление страха. Может, он медленно просачивался и постепенно затоплял душу? Это неведомо, как неведомы и куда более ясные причины вещей. Или потому, что пароксизмы того страха впоследствии ощущаются не раз? В снах, гораздо чаще и страшнее — наяву, в самые разные моменты жизни?

А может, и потому нетвердо помнится первое явление страха, что есть свойство человеческой памяти хранить, конечно, не сам страх, уже об этом говорилось, а фиксацию, отметку его появления, не первое видение страха, но последние отголоски, оттесняющие начальные страшные проблески... Наверное, так и есть.

И вот момент, когда ***он*** выплыл в сознание, посреди совсем других слов и мыслей. Николка внезапно представил, как стоит на торпеде и монотонно толчет камнем тупой овальный нос. В полуметре горит костер, пламя разделяется носом надвое и вновь смыкается поверху.

В огне, под ногами, под ударами булыжника полтонны* взрывчатки. И представился сам момент взрыва: задрожал и рухнул оземь небосвод. В белом рвущемся пламени его вдавило, размазало по скале, а воздух хлестко сбил с камня ветхие пепелинки бывшего тела пацана Николки.

Небо закрылось облаком белой пыли, в ней перемешались с прахом обгорелые ворсинки одежды, а

---

* Заряд торпеды подводной лодки времен войны составлял 400 килограмм, но это была специальная взрывчатка с силой взрыва в полтора — два раза больше, чем обычная взрывчатка (тол, пироксилин и др.). Этот советский секрет был нашим приоритетом до «лихих девяностых», когда был продан на Запад не менее «лихими» людьми...— Прим. авт.

облака пронзилось, как метеорным дождем, поднятыми камням и раскаленным, измельченным железом корпуса торпеды.

Отзвук взрыва оттолкнулся от прочищенных, сглаженных скал расселины и упал на воды, выдул крутой и страшный вал и, раскачивая глубь моря, побежал к замершему настороже, перепутавшемуся со временем игрушечному кораблику.

Что от Николки осталось? Горстка пыли, рассеянная в облаке взрыва, обгорелые ворсинки одежды, обугленная пыльца только что живых клеток? Звук взрыва на десяток-другой километров отнес и его упрощенный, искаженный облик: глухой, ничтожный, невыделимый на фоне грохота шлепок тела о размазавшую, стершую его скалу.

♦ Вот когда пришел страх: посреди дня. Хрипнуло в гортани, язык прилип, тяжестью распластавшись по нёбу. Холодом дунуло в низ живота — до смехоподобной сладкой щекотки, и холодным ветром оттянуло со лба волосы, руки повисли, тело утратилось в своей невесомости... На миг страх все выгнал из головы. Это и было явление запрятанного ужаса. Потом легкие резко и быстро, со всхлипом, втянули воздух. Только холодило корни волос над потным лбом и по-прежнему сладко-приторно тянуло низ живота. Страх схлынул, отторгнутый спасительной мыслью, вновь спрятался в темном чулане памяти.

Спасение в том, чтобы хоть на короткое время убить память об этой мысли, тогда ходы чуланчиков и пещер запутаются меж собою, и страшный зверь памяти об ***этом*** снова долго-долго не найдет дороги, пока игра ума не вытолкнет его вновь по эту сторону темного лабиринта.

Как только возникало страшное видение, Николка шел к людям, без причины смеялся, лихорадочно болтал глупости, много ел и пытался заснуть с громко включенным приемником. Только не оставаться с

мыслью наедине после видения страха, отгонять его чужими голосами, едой, беготней и смехом.

Сейчас же, по прошествии столького времени, когда страх по частям вышел в детские еще видения, освободил чуланчик и переосмыслился, он не пожелал бы его никому, хоть это и обычная гипербола... но страха, при котором любая мысль, зараженная и побитая им, мечется и бежит. Такой страх преследует, наверное, и душевно угасающих людей в Бедламе, Сальпетриере и рядовой калужской Бушмановке*.

А во сне легче, во сне страх является в одежде кошмара, не соотнесенного с болезненными воспоминаниями, а потому и менее мучительным. Ночной страх лишь отражается через зеркало чуланной памяти на спящий мозг, как отображаются кривозеркально и другие птицы страха, либо ужаса, либо просто малоприятного воспоминания, залетевшие в чуланчик днем.

Прошло несколько лет. Конечно, все забылось за текучестью дней, малых и больших радостей, невзгод, огорчений и обид. И тогда-то, по прошествии лет, еще раз — последний — страх прощально Николку настиг. Опять днем. Все было как в первый раз или тот, который помнился первым? Но все было уменьшено в осязания: и холодок, и звон колющихся скал, и глухой шлепок тел.

А ведь время прошлому страху вышло. Все чувственное содержание ужаса выплеснулось уже из спасительного чуланчика, где остался антропологическим сувениром лишь иссохший скелет этой птицы. И его выбросило, наконец, в область сознательного, как напоминание об опыте жизни, как простую регистрацию былого страха.

Вернись хоть на миг воспоминание детства: море, качающийся на волне катер и незакатное в полуночи

---

* Психиатрические больницы.— Прим. авт.

июльское солнце, а вдали, у самого горизонта — скользящий по тихой глади купола мира серый корабль!

ЧУЖАЯ ДОКУКА — ЗЛАЯ МУКА, ИЛИ ЖИВИ ДА ОГЛЯДЫВАЙСЯ

♦ На Седловатом, а ранее на Палагубском общей пекарни не имелось, каждая хозяйка со своей печью возилась. Потому-то Николка, находясь на каникулах или просто выходных на Большом Оленьем, не пропускал ни одной большой «выпечки». Уже взрослым став, Николай, а затем и Николай Андреянович, понял смысл россказней взрослых в пекарне: на них, особенно которые со страшилкой, учили ненавязчиво ребят «жить с умом да оглядываясь»,— как говорила мать, добавляя, что не у Христа за пазушкой находишься, а в месте малолюдном да неприветливом. И люди в таких местах самые разные случаются.

Так и в истории о происшествии на каком-то дальнем от их мест островном маяке. Кажется, на острове Великом? Но точно название маяка Николка не запомнил. А если и Великий, то вовсе не значит, что какой-то гигантский островище с Гренландию размером; так себе островок. За час с небольшим весь обойдешь. Обычный маячный остров: сам маяк, несколько семей, его обслуживающих,— вот и все.

♦ Начальник маяка острова Великого Василий Коноплянников заступил на дневную вахту. Стоял тихий, почти жаркий июль месяц. Как и положено летом, вахты полусуточные: время отпусков, двухмесячных, северных. Сам Коноплянников отправил все свое семейство и на все лето, еще с конца мая, даже старшего сына из интерната в Полярном досрочно забрал, на родину, в архангельскую поморскую де-

ревню. Там и родня каждый второй, а главное — мать, еще бодрая старушка, обихаживает и в полном порядке содержит родительский дом, как и положено в Поморье, двухэтажный, со всеми службами, даже с отхожим местом, под общей крышей.

Самая многодетная семья Ворожейкиных уехала тоже в родную орловскую деревню в начале июля; Василий же собирался присоединиться к своим на август месяц — после возвращения Ворожейкиных, которые, как и он сам с супругой, приехали на Север по вербовке шесть лет тому назад, в год окончания войны.

Еще на маяке находилась бездетная чета молодых Хоменко, совсем недавно приехавшая «за длинным рублем» из Запорожья; ясно, что понятие отпуска для них было абстрактным, была бы денежная компенсация (супруга Хоменко тоже работала, в отличие от других женщин, в штате маяка, более того, была по профессии инженером-механиком). Почитай на каждом маяке была семья таких «длиннорублевых»; как на Седловатом хорошо знакомые Николке тож бездетные Гусаровы из Ташкента... Наконец, не собирались в этом году куда-либо уезжать пожилые Трещевы, поскольку супруга Трещева уже вышла на льготную пенсию в сорок пять лет, а сам глава семьи тоже по льготе дорабатывал последний свой год на Севере. Готовились к переезду следующим летом в родные места где-то возле Вологды, откуда уехали еще задолго до войны, которую также провели на маяках; отсюда и льготные пенсии. Трое их детей, уже вполне самостоятельные, разъехались: старший лейтенантом на Тихоокеанском флоте служит второй год, средняя дочь заканчивает в Мурманске пединститут, а младшая уже загодя училась в сельхозтехникуме в Вологде.

Василий сменил с ночного (солнце так и не заходило, полярный день на дворе) дежурства Трещева.

Не оговорился: не вахты, а именно дежурства, как сторожа дежурят, ибо в круглые световые сутки, без зимних туманов, маяк и не включался. Вообще, весь списочный состав маяка в короткое летнее время занимался техосмотром, в том числе и в вахтенные дежурства.

♦ Каждый в свою летнюю вахту занимался регламентом по своей части. Моторист по своей армейской специальности, Василий с самого утра, не разминаясь, продолжил уже недельную возню с дизелем — электростанцией маяка. Часам к двенадцати перебрал коробку и, весь в мазуте, вышел на мостик маяка, предварительно сполоснув руки в солярке и тщательно вытерев их ветошкой. Солнце почти пекло — со скидкой на заполярную широту. Василий присел на табурет, закурил.

Маяк стоял на самой высокой точке острова, в ста метрах от скалистого восточного берега, мимо которого и проходила линия судоходного пути вдоль северной оконечности Кольского полуострова. Где-то далеко, за горизонтом, путь этот отворачивал на юг, на вход в Кольский залив. С западной стороны острова, отделенная проливом полукилометровой ширины, располагалась материковая земля. Именно на этот берег на маячной моторке сегодня поутру за морошкой отправились Трещевы и жена Хоменко: на острове не было болот, поэтому за морошкой, сезон которой был в разгаре, ездили не первый день на ближний материковый берег. Хоменко, как человек городской, собирать грибы-ягоды не любил, поэтому пришлось с моторкой управляться сонному с ночной вахты Трещеву. Впрочем, он прекрасно поспит и в причаленной к берегу моторке. Кстати, берег тот был вполне обжитой: километрах в трех располагался береговой маяк, а еще чуть дальше — артиллерийская часть с батальоном солдат.

Переведя взгляд на свой остров, где в низине, в

полукилометре, маленькими отсюда смотрелись четыре однотипных домика, в том числе и его семейства, живописно в своей неправильности разбросанные по берегам озера, Василий мимоходом отметил, что уютный дымок идет из трубы только избы Хоменко, а также из трубы его личного сарая, где предприимчивый хохол соорудил рыбокоптильню, чем вызывал неудовольствие политотдельцев, курировавших маяки; на военизированных маяках самодеятельность не приветствовалась. Однако, копчушки получались отменные. Василий облизнулся, вспомнив их вкус.

Коль скоро вспомнил о Хоменко и его копчушках, то и задумался: а сколько ему еще лет глотать здешние зимние туманы, прямо-таки выедающие легкие? И деньги уже прикапливаются и жизнь на родине в норму вступила... Однако все же следует подождать, пока старший окончит школу. Опять же и лишние «длинные рубли» не станут помехой в деревне, да и парня учить надо дальше, чай, не двадцатые, не тридцатые годы. Сейчас и из большей глухомани молодежь в институты рвется.

Да и младший сын начальные классы проведет в хорошей, даже по-своему знаменитой школе Полярного, а не в деревенской четырехлетке, где все классы в одной комнате... Конечно, когда оба будут по девять месяцев в году в интернате, совсем сиротливо им будет, а родителям разве весело?

Правда, там, в городе, и уход за ними серьезный, не дай, бог, заболеют — больница и врачи первоклассные, госпиталь флотский... А здесь, на острове? Даже связи на случай чего нет; сколько не просили в гидрографическом отделе флота хоть простенькую рацию — не положено, говорят. Наверное, боятся, что прямо в Америку будем каждочасно сообщать о проходящих кораблях.

Был ведь недавно случай на маяке острова Седловатого, когда прободная язва образовалась у му-

жика, а она времени не терпит. На моторке в Полярный не пробьешься: море штормит под пять баллов. Хорошо Андреян, его, Василия, знакомый, оказался бывшим флотским сигнальщиком, развернул в сторону военного поста на Большом Оленьем большой маячный прожектор и отморзянил о помощи. С поста позвонили (там связь есть) в Полярный, оттуда выслали катер... словом, спасли мужика.

Василий докурил и пошел в вахтенную комнатушку попить чаю из принесенного термоса под нехитрые домашние пирожки с рыбой.

♦ Доев пирожки с палтусом (один попался с грибами; очень он уважал грибы), запив почти горячим чаем крепкой китайской заварки, Василий наполнил стакан в подстаканнике вдругорядь и, держа его в правой руке, а в левой кусок пиленого сахара — пил по-деревенски, вприкуску,— вновь вышел на мостик, уселся на давешнюю табуретку. Между двумя глотками чая заприметил, как Хоменко вынес из коптильни на вытянутых руках, как поленья носят, охапку свежепрокопченных трещин — с то же полено длиной; зорок был Василий.

Хоменко с поклажей скрылся за домом, но Василий хорошо знал хозяйство своего соседа: с той стороны избы были сгорожены полки-решетки, на которых копченая треска или пикша на свежем воздухе доходили до нужной кондиции. Хоть и посмеивались маячники над Хоменко, но и понимали: «длинные рубли» нужны южанам не для куркульства или баловства, а для строительства домика на тихой окраине Запорожья, куда их судьба — порознь — занесла в послевоенные годы.

Какая же тишина стояла в этот июльский полдень! Близкий материковый берег синел в дымке, а в низине острова тоже стлалась дымка, но уже от коптильни Хоменко, с коим их и было сейчас всего двое на острове... Вот к осени все маячники соберутся, к

первому сентября, все школьники еще здесь будут — почти многолюдно на острове станет. А следующее многолюдство повторится уже на школьные зимние каникулы. Новый год, а там до весны рукой подать. Глядишь и год промелькнул, потом еще и еще... Но придет время, уедут Хоменки в свое Запорожье. К этому времени в опустевшем было доме Трещевых уже заживет новая семья маячников. А там и очередь собирать скарб и гидроотдельским катером идти до Мурманска, а далее железной дорогой с пересадкой — и его семейству подойдет. А ведь привыкли, жалко будет с суровой, но и уютной, вдали от начальства всевидящего, жизнью на забытом богом острове прощаться. Но ведь дожить еще надо до того времени!

Померещилось? Да, почудились частые, короткими очередями выстрелы, еле-еле слышные со стороны материкового берега, но не того, что напротив острова, а откуда-то издалека. Если со стороны берегового маяка, то по какой-такой причине? Если и стреляют по осени и зимой охотники тамошние, то не из автоматов, а из тульских или ижевских двустволок. С артиллерийской батареи, где, конечно, имелось стрельбище для воинских упражнений, если что и слышно на таком расстоянии бывает, то уханье пушек во время учений.

Василий хлопнул себя по лбу и рассмеялся: вот что значит сам-двое на острове остаться, рассудок страхом заражается. Это ведь дизели подводных лодок порой так чихают, когда механик корабля на досуге, на тихом надводном ходу что-то начинает мудрить и проверять. Значит, где-то в милях шестивосьми, невидимая за изломами берегов, лодка идет из Полярного на боевое дежурство.

Василий допил чай, вынул из кармана початую пачку «беломора», закурил с наслаждением. Полуденное марево и вселенская тишина неумолимо тяну-

ли в сон. Устав бороться, Василий прошел в дежурку и прилег на топчан. «Часок подремлю»,— и провалился в крепкий дневной сон.

♦ Однако сон редко спрашивает своего хозяина о продолжительности, запрошенный час обернулся целыми двумя, да и прервался только звонком местного телефона. Конечно, телефон — звучит громко, но тем не менее он связывал мостик маяка с верандой дома Василия. Веранда исполняла роль общей телефонной будки, а местную связь сгоношил совсем недавно Хоменко, радиотелефонист по техникумовскому своему образованию: на маячном складе он розыскал бухту телефонного провода, завезенного на остров еще до войны и непонятно зачем, а два списанных старинчатых армейских телефонных аппарата обменял на бутылку водки у знакомого старшины береговой батареи. Телефон всем маячникам пришелся по душе, а Василий на правах начальника маяка добился от гидроотдела благодарности в приказе своему смекалистому подчиненному.

— Василий Никитич,— как к старшему по должности и возрасту обратился Хоменко,— ты что, прикемарил? Взглянь в бинокль на пролив, мне отсюда не разобрать: кажется, моторка тарахтит, а наши-то к вечеру только собирались. Отбой.

(Аппараты, купленные за бутылку водки, были односторонней связи, полудуплексные, как говорят техники, то есть говорить надо было поочередно, нажимая тангенту на трубке).

— Сейчас посмотрю. Слушай, Жора, я тарахтенье тоже хорошо слышу. Перезвоню, будь на веранде. Отбой.

Василий взял двенадцатикратный морской бинокль и направил на хорошо видную с горушки маяка моторку, шедшую на полной скорости наискосок пролива к их острову. В бинокль же, как рядом в двух-трех десятках метров, увидел человека в воен-

ном, в пилотке (значит, солдат, не офицер или ундер), который не совсем ловко управлялся с рулем. Особенно это стало заметным на повороте моторки с середины пролива к островному берегу: неопытный в морском деле солдат слишком резко переложил руль, отчего моторка выпрыгнула носом из воды, дала опасный крен вправо, вывернутый руль подтабанил, и моторка пошла делать зигзаги, пока не выровнялась по новому курсу. Может старшина, дружок Жоры, послал бойца с какой-нибудь рухлядью, что в хозяйстве всегда пригодится, на предмет получения бутылки — универсальной и высоко ценимой в этом краю (еще и до сухого закона) обменной единицы? Однако смутил автомат на ремне за спиной солдата. Был еще вариант поиска дезертира, крайне редкий случай, но... дезертиров ищут командами, с офицерами.

Василий снял телефонную трубку, крутанул динамо вызова:

— Слушай, Жора, странно все это. Давай-ка запирай свой дом и коптильню, мой тоже закрой вместе с верандой, замок с ключом слева от аппарата на полочке. Так-так... у Ворожейкиных заперто (В этих краях запирают только при длительном отсутствии — и то для пресечения детских шалостей), загляни к Трещевым. Если замок на глаза попадется — закрой. Да, захвати мое ружье, оно хоть не стреляет, но все же... Отбой.

Повесив трубку, Василий, вспомнивший о своем ружье, раздосадовался: еще в начале лета решил пострелять куличков на маленькой отмели в дальней части острова из старенькой своей одностволки, но на втором выстреле раздуло лопнувшую латунную гильзу — то ли от многократного использования ее, а может и чуток бездымного, к которому еще толком не привык, переложил. Ножа или чего тонкого и плоского, чтобы подцепить донышко гильзы под рукой не было, оглянулся, нашел подходящий гранит-

ный обломок с клиновидным выступом... словом, гильзу не вытащил, а сорвавшимся камнем скривил боек. Как ни пытался осторожно, уже дома, выправить боек, но каленый стальной шпенек сломался.

Отложил покупку нового ружья до осенней охоты. Больше на острове, исключая казенную ракетницу, ничего стреляющего не было: Ворожейкины охоту не вели, Трещев подарил свое бельгийское ружье, высоко ценимое в кругах охотников «Три кольца», неведомо как к нему попавшее, старшему сыну, а Жора Хоменко собирался вооружиться тоже осенью, за компанию с начальником прокатившись в Мурманск.

Однако, надо было что-то делать: моторка уже зашла под береговую сопку, исчезла с виду, а мотор снижал обороты, потом и вовсе стих. Приехали!

♦ Вскорости пришел Жора, поднялся на мостик, поставил в угол ружье без бойка.

— У Трещевых замок нашел. Закрыл.

Василий задумчиво рассматривал, держа в руках, ракетницу. На столике был выставлен запас ракет: восемь штук, трех цветов металлической крышки патронов. Положив ракетницу на этот же столик, взял бинокль, направил в сторону небольшой сопки, закрывавшей вид на островную половину пролива. Как раз в этот момент из-за сопки показался приехавший. Молча и поочередно с Жорой они рассмотрели гостя; в бинокле он был совсем рядышком: солдат, без единой лычки на погонах, воротничок расстегнут, пилотку он снял и нес в правой руке. Автомат висел на плече наперевес, удерживаемый локтем той же руки с пилоткой. Левая же придерживала подсумок явно с тяжелым; рожками с патронами, как сообразили тотчас оба маячника.

Меж тем, пока его тщательно изучали в бинокль, солдат прямо шел к домам у озера. Подойдя к ним, взяв автомат наизготовку, держась дворов, начал

обход слева — от избы Трещевых. Обнаружив, что дверь заперта на замок, с минуту постоял, раздумывая, затем направился к следующему дому — Василия. Там он долго всматривался в окна веранды...

— Давай вспугнем,— предложил Жора и снял трубку телефона, положил ладонь на ручку индуктора.

— А давай,— ответил Василий, не отнимая окуляров бинокля от глаз.

Жора из всей силы закрутил ручку, а Василий увидел в бинокль: солдат, без того настороженный в полной тишине острова и всего полярного мира, вздрогнул всем телом, даже пилотка с головы слетела, отскочил на пару шагов и дал длинную, гулкую очередь по окнам веранды. В наступившей затем тишине было слышно, как падают и разбиваются звонкие стекла.

— Ничего себе пошутил! — Василий не к месту вспомнил, сколько он положил трудов на веранду, особенно на переплет и остекление. Все вручную, из подсобного материала, одни стекла дармовые, казенные.

— Вот что,— обернулся он к несколько смущенному Хоменко,— шутки закончились и дело понятно. Давай дуй отсюда по западному берегу, садись на моторку этого раздолбая... да-а, в подсобке здесь возьми канистру, горючкой залей. Иди через пролив, где наша моторка причалена, там Трещев поблизости кемарит, во всяком случае где-то рядом. Пусть сюда не суются. А сам на любой из моторок на батарею. Понял?

— А если этот долбанутый моторку притопил или движок испортил? Потом, до батареи сколько километров пилить и еще почти час пехом? А ты как же? Пошли вместе?

— Если моторка не на ходу — на веслах на ней или на двойке Ворожейкиных, сумеешь ее стащить, легкая, а дальше на нашей пойдешь. За пару часов

до батарейцев доберешься. А что делать? На море ни одной посудины нет. Мне нельзя по инструкции, не забывай, что в военной части служим. Под суд не собираюсь. Потом, хотя и в железнодорожных войсках служил в войну, но под обстрелами и бомбежками побывал, не сдрейфлю. Иди, только с оглядкой.

♦ Одним глазом Василий смотрел, как Жора с канистрой вышел из подсобки с ГСМ* и скоро скрылся за углом маячного здания. Василий полностью переключился на солдата. А тот, отойдя от испуга, выбил прикладом часть переплета и влез на веранду (как потом выяснилось, автоматная очередь разбила телефонный аппарат). Что-то несколько минут он там делал, может, оголодавший, ел. Затем снова появился.

Проверив наличие замка на двери дома Ворожейкиных, солдат подошел к последнему — Хоменковскому. Видно, его привлек запах копченой рыбы, он зашел за дом, вышел оттуда, на ходу раздирая и жадно поедая увесистую трещину. Так же продолжая есть треску, он направился вверх к маячному зданию, впрочем, стараясь не оставаться в прямой видимости, так что в бинокль Василия то мелькала, то вновь исчезала голова в пилотке. Перед крутым подъемом и вовсе исчезла. Затарахтела со стороны пролива моторка, значит у Жоры все в порядке. Однако, надо что-то предпринимать, ракетницей против автомата не повоюешь.

Василий повесил сумку с биноклем по-чапаевски на грудь, рассовал сигнальные ракеты по карманам рабочего комбинезона и, держа ракетницу в руке, спустился с мостика, с досадой взглянув на бесполезное ружье. Запер подсобку с ГСМ на металлическую задвижку, навесил два замка. На задвижку и замок

* Горюче-смазочные материалы.— Прим. авт.

запер и входную дверь на маяк, после чего отошел к стоящему поодаль складу, за которым прямо начинался спуск к берегу. Склад всегда был заперт. Удостоверившись в этом, Василий спустился по едва заметной тропке к берегу, прошел вдоль него метров триста и поднялся на сопку, соседнюю с маячной. Нашел удобную позицию и наставил бинокль на маяк. К этому времени солдат уже поднялся и подошел к кубастому зданию с вынесенным мостиком.

Увидев надежный запор, солдат направился к складу, осмотрел его запор, который, даже истратив пару рожков патронов, вскрыть было нельзя. В отличие от жилых домов, имущество флота помещалось надежно.

Теперь в бинокль хорошо было видно и лицо солдата: скуластый, чем-то похожий на азиата или башкирца, с нехорошим, болезненным взглядом. Пилотка со звездой сбилась набок на голостриженной голове тыковкой с большими, оттопыренными ушами. На лице явно читалось недоумение: куда же все подевались? Звериным чутьем сумасшедшего он догадывался, что на острове кто-то есть, но где?

Солдат покрутился у склада, потом снова подошел к маячному зданию (оба были без окон), присел на ступеньках, пригорюнился, поставив локти на колени, а ладонями обхватив голову. Что в ней сейчас творилось? — Предсмертные крики тех четверых, которых он по приказу *того*, кто вчера поселился в его голове, застрелил в упор, входя в незапертые двери домов берегового маяка. Стрелял очередями, не жалея патронов, благо рожков с батареи забрал полный подсумок, что при ходьбе тяжело бил по пояснице и бедру левой ноги.

А может думал: сколько ему еще часов жить осталось — вообще жить или жить на свободе? Судя по солнцу, было уже часа четыре. Дальний пост, где он сегодня значился на дежурстве, проверяется через

час. Но может уже хватились автоматных рожков, которые он утром как-то ловко сумел вынести из оружейной комнаты? В любом случае уже в ближайшее время спохватятся, еще через пару часов найдут на береговом маяке четыре трупа — все тамошнее летнее население, дальше пойдут проверять остров... А голос поселившегося в голове упрямо требовал: найди, кто здесь живой, и убей!

♦ Солдат снова подошел к складу, обошел здание, увидел тропку и пошел к спуску на берег. Василий обернулся на соседнюю сопку, оценивая: как ему незаметнее перейти на нее. Однако безумец дошел до берега, потоптался и пошел в противоположную сопке Василия сторону.

Гулко бившееся сердце поуспокоилось, Василий вновь обрел слух. Что это? — Он явственно услышал характерный стукоток дизеля подлодки, а затем и она сама неспешно всплыла из-за той самой сопки, которую только что Василий присматривал для следующего пристанища. Лодка шла совсем рядом с берегом, очевидно, имея намерение обогнуть островок и далее следовать в губу, далеко вдававшуюся в материковый берег, километров на десять. Наверное, отрабатывала на учениях какой-то замысловатый маневр.

Лодка приближалась, солдат тоже не мог не слышать стук дизеля. Поэтому, долго не раздумывая, Василий, мало остерегаясь, сбежал на берег, поближе к соседней сопке, встал за камень, закрывавший его со стороны, куда ушел солдат, вставил в ракетницу зеленый патрон и выстрелил горизонтально в сторону подлодки. Затем поднес к глазам бинокль и рассмотрел на мостике рубки головы моряков. Убедившись, что его заметили, уже не торопясь, он одну за другой выпустил три красные ракеты: сигнал высшей опасности. Ракеты опять же пускал горизонтально, хотя солдат все одно его выстрелы слышал.

Вполне может быть, что безумец поначалу двинулся в сторону выстрелов (голос-то будоражил: найди и убей!), но, увидев подлодку, выключившую дизель и взявшую курс на остров, поспешил в обратную сторону.

Лодка с изменившимся курсом и выключенным дизелем еще некоторое время двигалась и остановилась метрах в двухстах от берега; место здесь было глубокое. Из открывшегося палубного люка вылезли матросы, вынесли похожие на ватные одеяла резиновые лодки. Через несколько минут десяток моряков на двух надутых лодках направились к берегу. Первым соскочил на берег офицер с пистолетом в руке, за ним попрыгали матросы с карабинами.

— Ну, что тут у вас,— спросил, поздоровавшись с Василием за руку, офицер в звании капитан-лейтенанта.

Василий кратко объяснил, указав возможное направление поиска. Офицер оставил у лодок караульного, порекомендовав Василию составить тому компанию. Рассыпавшись цепью, моряки скоро исчезли за сопкой.

Василий, не забывший взять с маяка папиросы, присел на камень, предложил курево молодому матросу, явно первого года службы — только что из учебки. Моряк охотно составил компанию, рассказал: кэп связался со штабом; на батарее, откуда ушел солдат, уже подняли тревогу, а к острову идет на всех парах политотдельский катер с военными судейскими.

Оказалось, что морячок вологодский, почти земляк. Разговорились, даже на время забыв о происходящем. Но минут через десять послышались недальние выстрелы: одиночные карабинные и автоматные очереди.

— Сейчас наши годки с каплеем захомутают пехотуру.

Действительно, еще раз вскинулась долгая автоматная очередь, на нее ответили залпами одиночных выстрелов карабины матросов. И все стихло. Выждав с пяток минут, Василий распрощался с матросом и пошел к маяку.

♦ Солдата живым взять не удалось, тот занял очень удобную стрелковую позицию на сопке поодаль маяка. Отстреливаясь, он легко ранил в руку матроса. Моряки тоже залегли за камнями. Вскоре автомат солдата замолчал. Поднявшись на сопку, увидели, что пуля из карабина вошла в висок. Вскоре прибыл и политотдельский катер.

Лодка ушла по свои делам, убитого солдата унесли на катер. Допросив Василия и попросив подписать протокол, судейские погрузились на тот же катер, который взял курс на береговую батарею. Василий же скоренько пошагал к проливу, сделал отмашку Жоре с Трещевым, напряженно ждавшими на другой стороне. Захватив Трещева, Жора примчался на моторке. Кратко поведав об окончании истории, Василий отослал Трещева в обратную сторону, поискать-покликать маячников и возвращаться домой. Сами же с Жорой пошли осматривать дома́ — что там успел натворить сумасшедший солдат.

...Прошли означенные года. Старший сын окончил в Полярном школу. Пришло время отъезда. Выделенный гидроотделом катер неспешно катил по июльской глади Кольского залива, с каждой милей приближаясь к Мурманску, затем поезд с пересадкой — и архангельская родина. Жизнь готовится к новому витку. Василий сидел на корме, на бунте троса, курил. С каждой милей он удалялся от своего острова. А тот давно скрылся за бесконечными изгибами берегов залива. Василий докурил папиросу и бросил в бурун, вырывавшийся из-под винта катера, смахнул с ресницы слезинку. Прощай, Север!

МЫ К ВАМ, А И ВЫ К НАМ ТОЖЕ: ГОСТЬ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ

♦ Каждое лето, на каком бы маяке не проживали, Николкино семейство на месяц — полтора выезжали на Большую землю — в калужскую деревню отца. Благо, хотя и арктическое Заполярье, но в пару часов и того меньше попутный гидроотдельский катер до Полярного домчит (а с Большого Оленьего и в пешем порядке...), а оттуда рейсовым пассажирским до Мурманска и — до Калуги поездом с пересадкой в Ленинграде или Москве. Что далеко, то и близко по времени получается. Мать же просто еще дошкольнику Николке объяснила: если с Севера на лето не уезжать, то рахитиками вырастите! «Лыс конь — не увечье, плешив молодец — не бесчестье, а вот к кривоногому пузану ни одна девка не пристанет»,— поясняла она по-своему, по-архангельски.

...И наезжая из деревни Дворцы к многочисленным родственникам в самой Калуге, причем отец всегда брал с собой Николку, после третьей стопки Андреян зазывал в гости на Север. Но они появились только на Большом Оленьем — по удобству пути во многом.

♦ Гости на Севере, имеются в виду не соседи по дому, улице или городу, а настоящие гости — родственники, давние сослуживцы, друзья детства и юности, которых жизнь разбросала по необъятной Советской стране,— редки и диковинны. Если в сегодняшнее время рядовой инженер на недельную зарплату от Москвы до Ленинграда, или как он там теперь называется, не доедет, а студент некоммерческого вуза на месячную же стипендию только от Тулы до Москвы и обратно сумеет провояжировать, то в прежние годы вопрос о стоимости проезда вовсе и не стоял. За тридцатку — стоимость пары приличных мужских туфель — тот же рядовой работяга или инженер,

врач и пр. мог с комфортом и «Аэрофлотом» преодолеть шесть часовых поясов, то есть совершить четверть кругосветного путешествия. Студент же с его льготами и вовсе на единоразовую стипендию мог всю страну с запада на восток проехать.

Нет, вовсе не копеечная стоимость железнодорожного, авиационного, речфлотовского или морфлотовского билетов препятствовала гостеванию калужских родственников на скалистых островах за Полярным кругом. Вовсе нет. Мог, конечно, дядька отца, пенсионер по части железнодорожного ведомства Мирон доехать до Мурманска вовсе бесплатно, как льготник МПС (один раз в год в любую точку СССР, до которой дотянулись рельсы — туда и обратно), а дальше надо следовать до Полярного рейсовым катером, а перед трапом, что соединяет пирс с бортом этого катера, стоят два дневальных матроса с красными повязками на рукавах бушлатов. Впускают же они на трап гражданских личностей при наличии у них двух предметов: билета за 90 копеек и паспорта со скромным штампиком в графе «Особые отметки», гласящим, что имя-рек является жителем Североморского района Мурманской области.

Точно такой же казус может случиться и с другим дядькой Андреяна — ныне туляком Лазарем Федоровичем (чудковатые имена дядек и самого их племянника Андреяна — от старообрядческого их происхождения), хотя бы он и был бывшим полковником грозного бериевского НКВД.

Этот самый штампик в паспортах всех, кто проживает по берегам Кольского залива, а далее и побережья одноименного полуострова севернее Мурманска, означает, что живут они во владениях героического Северного флота, который только через несколько лет после описываемых событий получит почетную приставку «Краснознаменный». А в этих владениях, сохранности гостайн ради, посторонним

делать нечего. Они туда особо и не совались, тем более, что и народ в этих местах сознательный и бдительный.

«Вот времена-то были тоталитарные,— возмутится нынешний либерализованный обыватель,— даже в лагзак к ударнику-зеку его родственница могла на три дня приехать, а здесь?!» Пальцем в небо попал, гражданин либерал! При известных бюрократических усилиях, без которых на Руси советской ли, царской, буржуазной и шагу не ступить, мог и железнодорожник Мирон, и энкавэдешник Лазарь, а при желании и многочисленные тетки, двоюродные братья, тож племянники с племянницами Андреяна, приехать погостить на остров Большой Олений — даже не на три дня, а на целых две недели, а если у «принимающей стороны» есть медицинская справка о необходимости стороннего больничного ухода, то и на бóльший срок.

Итак, проникнуть во владения военно-морского полярного Посейдона можно было, имея на руках документ, называемый вызовом-разрешением, который оформлялся очень долго, требовал прохождения различных чекистских и милицейских инстанций и прочих заинтересованных служб. Но вот тот же Мирон или Лазарь Федорович получали в калужском или тульском, соответственно, околотках вожделенный пропуск и... Вот здесь начинаются Николкины впечатления.

♦ Начинаются, да не совсем. Еще одно предуведомление. Такую вот грозную справку достаточно легко, не считая хлопот Андреяна и его самого по бюрократическим местам, получить Мирону, всю жизнь, включая военные годы, проработавшему машинистом на паровозах и тепловозах, имевшему за героический труд полстены почетных грамот с профилями вождей и трудовые медали. А как быть бывшему лагернику Лазарю, заслуженные им боевые

ордена и медали которого хранятся в архиве вещдоков где-то по ведомству «Детского мира», Лубянки то бишь? Вот потому первым в гости к североморскому племяннику приехал железнодорожник Мирон.

В советские времена люди любили гостевать постаринному, по- помещичьи: неделями, а то и месяцами. И чем дальше — по меридиану или параллели — в эти самые гости забирались, тем радушнее была встреча. А рассказов по возвращении домой хватало в кругу ближней и окрестной родни на целый год. Особо престижным считалось побывать у племянников-внуков где-нибудь в Находке, Петропавловске-Камчатском, легендарной Кушке или за Полярным кругом, хотя бы и был он всего в полутора сутках комфортной езды в экспрессе «Арктика», что отходит от Ленинградского вокзала в Москве и точно по расписанию прибывает в метельный Мурманск, бывший Романов-на-Мурмане. Любят русские люди общение с родственниками, волею или неволею судьбы разбросанными по 1/6 части земной суши. Но — это все в славном прошлом. Сейчас же, жалея своих близких и родичей в части непосильных трат на дорогу, даже о состоявшихся похоронах спустя пару дней сообщают... Вот до какого состояния людей довели выдающиеся наши реформаторы; «видно в понедельник их мама родила...». Однако откинем на некоторое время грусть, читая нехитрое это повествование об отрочестве Николки.

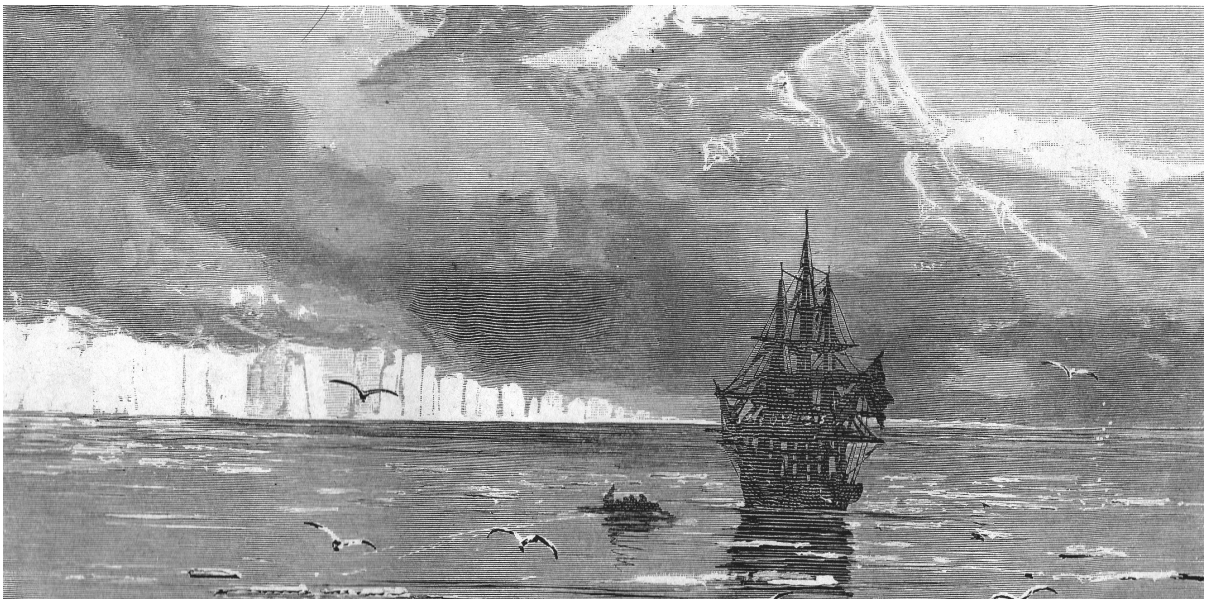
Почти четверть века прожил Андреян в Заполярье: две войны отвоевал, женился, народил троих сыновей, да еще двух воспитал, что жена его с собой на Север малолетками привезла из сгоревшей архангельской деревни — от первого мужа, погибшего на фронте в самом сорок первом... И все эти годы, исключая военные, только он — сначала один, потом со все увеличивающейся семьей — ездил в отпуск к своим калужским родственникам, кстати — много-

численным. И лишь в конце пятидесятых годов уже в обратном направлении, на Север, навестили его с интервалом в год дядьки Мирон и Лазарь.

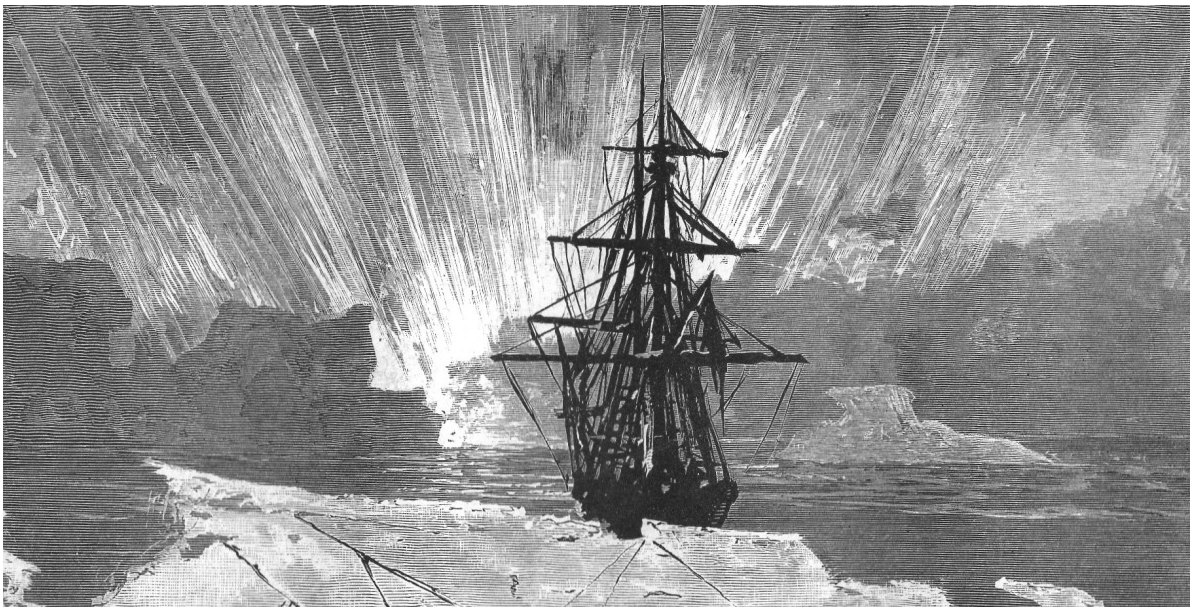
Опять-таки поясним, что железнодорожник Мирон и полковник НКВД — оба в отставке — вовсе не являлись дядьками Андреяну, равно как и он не был их общим племянником. И Мирон, и Лазарь Федорович своими племянниками имели Николку и других детей Андреяна, а сами были женаты на старших его сестрах, которых в большой некогда деревенской семье было множество, причем очень даже различных по возрасту. Если младший в семье Андреян родился, совпав по времени с отречением Николашки Кровавого, то самые старшие сестры, впоследствии ставшие супругами Мирона и Лазаря, явились на свет божий еще в самом начале века предыдущего.

Понятно, что и мужья соответствовали их возрасту. В старообрядческих семьях очень уважают старшинство, поэтому Андреяну с детских лет внушили именовать взрослых уже мужей своих сестер дядьями. Ведь смешно бы было: закричи пионер Андреяшка, увидев, как к домику их на Подзавалье, что на яченском берегу на окраине Калуги, подходит бравый старшина-артиллерист, опоясанный портупеей с саблей Лазарь Федорович: «А вот и шурин-свояк Лазарь со своей службы идет!» Так оно на всю жизнь и осталось: условные дядьки и условный племянник Андреян.

♦ Первым посетил семью Андреяна, что уже жила на острове Большом Оленьем, Мирон, чему в немалой степени, учитывая скупость почтенного паровозника, способствовала железнодорожная льгота, проще говоря — бесплатный проезд по родным магистралям. Как известно, скупость включает в себя качество бережливости, но несколько своеобразно, кривозеркально так сказать: имея ежегодный бесп-



Новая земля



Северное сияние

латный проезд, Мирон вполне здраво полагал, что неиспользование этого дармового права равносильно потере кошелька с суммой, эквивалентной стоимости проезда. Рассуждая в этом житейском ключе, оптимальный родственник Мирона должен бы проживать во Владивостоке... Дальше проезда нет, а на пароходы льгота МПС не распространяется. Жаль, конечно.

...В одно хмурое позднеянварское утро Николка, скучно позавтракав интернатовской рисовой запеканкой с ложкой фабричного варенья, манной кашей с растекшейся масляной лужицей, запив все это сомнительным какао, собирался в школу. Такими же хмурыми и неразговорчивыми были его соседи по спальне. Казалось, все старое, довоенное еще, здание интерната трещало на двадцатиградусном морозе. В чернильной темноте рогатая молодая луна холодно и отстраненно мутнела в окне. В такое утро даже забывалось, что впервые, начиная с четвертого класса, он свободен от хлопотных обязанностей по воспитанию младших братьев: у первоклассника Сережки в классе сразу трое прихватили какую-то детскую заразу, поэтому на время карантина мать забрала его домой, на остров. А Славка, в детстве имевший неполадки с легкими, и вовсе этот учебный год проводил в школе-санатории где-то возле Мончегорска. Впрочем, там морозы еще посильнее трещат чем на побережье. Зато старший брат Георгий, взрослый и с семьей, в соседнем Оленегорске проживает, часто навещает и кучу еды вкусной привозит...

Собрав портфель, Николка достал из шкафа шапку, а из личной тумбочки шарф и рукавицы (пальто вешалось внизу, на первом этаже, в общей раздевалке) и поплелся к двери спальни, но та опередила его: в комнату вошла дежурная по интернату и, остановившись, нашла глазами Николку:

— Вот хорошо-то, ты еще здесь. А к тебе дедушка из Калуги приехал!

В раскрытую створку двери надвинулась солидная фигура Мирона в громоздком драповом пальто с воротником, а из-под глухо надвинутой шапки-хрущевки хитровато смотрело памятное по ежегодным отпускным поездкам в калужскую деревню — с неизменным заездом и в саму Калугу — крупное, несколько продолговатое лицо отставного железнодорожника. Мирон почтительно, адресуясь к старшей воспитательнице замечательной стройности, кашлянул и вступил в спальню. Обут он был по погоде — в высокие серые валенки с калошами.

— Ну, Мирон Тимофеевич, вы немного пообщайтесь с Николаем, а то ему в школу пора, потом позавтракайте, я поварихе уже сказала; зайдете затем ко мне в воспитательскую — я вам дам ключ от изолятора, слава богу, у нас все здоровы, там и расположитесь, отдохнете с дороги. К обеду Николай придет из школы, позвоните с ним на маяк, договоритесь как вам туда добраться. Переночуете у нас, а завтра с утра в путь. Все, я пошла по делам.

Белла Нурьевна затворила за собой створку двери, а Мирон уже по-хозяйски осматривал комнату, изумленного до остолбенения Николку-племянника, притихших и озадаченных появлением здоровенного мужика ребятишек.

— Вот и добрался,— добродушно сказал Мирон, снимая с головы шапку-хрущевку.

От громоздкой фигуры Мирона, присевшего в расстегнутом пальто на кровать напротив племянника, на Николку повеяло летним теплом калужской окраины, что спускалась заливным лугом к невеликой речке Яченке, за которой темно-зеленой стеной стоял недалекий лес... Настроение сразу исправилось. Хорошо бы сейчас с Мироном на остров, домой.

— Ну, брат ты мой, и места у вас! Холод, темень сплошная, скалы. Да-а-а, не доводилось в таких бывать. И как здесь только люди-то живут?

Андреян много чего рассказывал, да пока сам не увидишь, не почувствуешь.

Как выяснилось из словоохотливого рассказа гостя, тот прибыл в Мурманск еще вчера днем, но по причине темноты уже в три часа пополудни, с непривычки, далее ехать не решился, остановился по своим великолепным льготам в железнодорожной служебной гостинице, прогулялся по вечерней столице Заполярья, изумляясь изобилию в магазинах, в гостиничке от души напился чаю в компании собратьев- железнодорожников, а утром поспел на самый первый рейсовый катер до Полярного. Поэтому уже в девять утра вступил в интернат (как в письме объяснил ему Андреян) и застал Николку, собиравшегося в школу, где занятия по зимнему времени начинались поздно.

Впрочем, привыкший к дисциплине Мирон сам заторопил Николку:

— Наговоримся еще, ты в школу-то не опоздай, учителя ругаться будут! А я пока пойду подхарчусь, да расположусь где указано. Гостинец тебе, придешь из школы, дам. Мирон, держа в руке знаменитую свою шапку, а в другой поместительный чемодан, наверное, набитый гостинцами, перепоясанный плетеными ремнями с ручкой, спустился вслед за Николкой на первый этаж, повернул направо, безошибочно определив направление на столовую и кухню. Николка же помчался в школу, горделиво посматривая на хмуро тянущихся к знаниям однокашников.

Время в школе пролетело единым мигом.

♦ Влетев в интернат вместе со стаей проголодавшихся ребят и скидывая пальто в гардеробной, краем глаза подметил в растворенную столовскую дверь: раскрасневшийся Мирон за служебным столиком, где обедал хозперсонал, что-то веселое рассказывает, а свободные кухонные тетки и дворничиха Зина в голос смеются. Хорошо Мирон устроился!

Переодевшись-переобувшись в спальне, дождался с ребятами звонка (до этого кормили уходивших в школу во вторую смену) и помчался в столовую, перед дверью которой уже волновалась легкая толпа: медсестра с дежурной старшеклассницей проверяли на чистоту руки. Когда перед Николкой оставалась пара пацанов, медсестра и старшеклассница почтительно пропустили выходящего Мирона, лицо которого прямо-таки светилось доброжелательностью.

— А, Николай! Двойку-то седни не принес? Шучу-шучу, родители пишут — хорошо занимаешься. Ты вот что: пообедаешь и загляни ко мне в *изоляторную* за гостинцем. Я хотел подремать часок-другой, да подожду тебя.

Ребята, уже второй раз за день слышавшие о замечательном гостинце, с завистью посмотрели на него: повезло же человеку! Еще памятна для всего города была недавняя знаменитая забастовка интернатовских, поэтому кормежка была хорошая, иногда и просто замечательная, особенно за день-два до плановой проверки из городской санэпидемстанции. Видно, сегодня и был такой день, поэтому поварихи с лихвой компенсировали рядовой завтрак: борщ желтел слоем жира, был наварист, даже с маслинами; винегрет щедро оделен зеленым горошком и мелко порезанной селедочкой; котлета радовала голодный глаз своим размером, а язык изрядным содержанием мяса; картофельное же пюре к ней было залито распустившимся сливочным маслом, а вместо обычного компота с размахренными сухофруктами полагался стакан неразбавленного виноградного сока. Еще и по горячему пирожку с повидлом выдали!

Дружное чавканье радовало старшую повариху, что вышла с кухни и любовно смотрела на обедающих ребят. Одному лишь Николке, никогда не страдавшему отсутствием аппетита, все было не по вкусу: винегрет с вымоченной селедкой казался пересо-

ленным, великолепный борщ, даже и не борщ, а настоящая ресторанная сборная солянка,— безвкусным... Расковырял котлету, что-то в ней не понравилось. Только сок выпил. Застольщики понимающе смотрели на мучающегося Николку: конечно, нужна ему эта котлета и винегрет с горошком, если сейчас калужский гость гору гостинцев — вон какой у него чемодан! — вывалит.

В глазах ребят читалось явное желание помочь счастливчику донести гостинцы до спальни. Обед прошел в нетерпении.

Николка поспешно вышел из столовой, великодушно предложив оставшимся за столом разыграть его пирожок с повидлом. Поднялся на второй этаж и свернул влево, в девчачью половину, где располагался хорошо знакомый ему изолятор; трижды за уже долгую интернатскую жизнь доводилось там пребывать: с ветрянкой, желтухой в вяло текущей форме (со слов врача) и с сильной простудой, с температурой под сорок и горячечным бредом, когда ночь тянется бесконечно долго, в закрытых глазах сплошь желтые круги, а в голове один за другим накатываются тяжелые, липкие валы чего-то темного, нехорошего... Николка неприятно поморщился, открывая дверь памятного помещения. Правда, вспомнил, что с желтухой провел в изоляторе только одни сутки, а потом, как условно легкого больного, перевели в оставленный на это время директорский кабинет, ибо изолятор понадобился сразу для двух скарлатинных... Здесь настроение Николки улучшилось: во-первых, вернулся к радостной ситуации — предвкушению гостинцев, во-вторых, вспомнил, как хорошо он провел почти целый месяц в директорском кабинете, обнаружив на шкафу ящик конфет «Кара-кум».

Мирон сидел на стуле, притулившись к тумбочке, что стояла у изголовья кровати и под светом настенного бра; окна в изоляторе не полагалось. Велико-

лепный его чемодан, запертый, но уже со спущенными ремнями, стоял у одежного шкафчика.

— А я тут письмецо решил на родину написать, а то ведь с маяка-то вашего почта не ходит, да? Ладно, вечером допишу, а завтра мы с тобой мимо почты пойдем, там и брошу в ящик.

— Мы завтра идем... а как же домой звонить?

— Да пока ты в школе школьничал, я с директором вашим познакомился. Милейшей души женщина! Она же меня и соединила с маяком. Седалин, начальник ваш, Андреяна розыскал. Договорились, что к двенадцати часам ты меня к перейме — не знаю что такое — сведешь, а там он сам меня переймет и доведет до дома. Ты насчет школы не беспокойся, директор и туда позвонила: со второго урока тебя отпустят. Да-а, хорошо у вас кормят. Сытно! Я, пожалуй, вздремну, хе-хе, по-солдатски: после щей и каши спрячься от командира и поспи. По-суворовски, так сказать. А ты пока иди уроками займись, наговоримся еще. Гостинец-то забери! — Мирон открыл тумбочку, уже освоенную им по-домашнему, достал пачку печенья «Привет» и торжественно вручил поскучневшему Николке.

...У себя в спальне он по-братски разделил с двумя лучшими друзьями печенье из пачки за двадцать одну копейку; в прошлом, дореформенном еще году, она стоила два-десять.

Вечером с Мироном поговорить не удалось: до ужина он обстоятельно беседовал с директрисой, пришедшей на дежурство Беллой, двумя другими воспитательницами, даже со старшеклассниками. Позвонили на ужин. Мирон уже на правах старшóго сидел за служебным столиком, а потом и вовсе застрял на кухне до девяти часов: пил чай с пирожками в обществе поварих и примкнувшей к ним Беллы. При этом поварихи успевали делать всю вечернюю работу, готовя полуфабрикаты на завтрашний день, а

Мирон консультировал по изготовлению тефтелей для супа и оригинальному рецепту плова по-армейски.

Когда поварихи разошлись по домам, а Белла, раскрасневшись, ушла в директорский кабинет описывать в дежурном журнале сегодняшнее житье-бытье богоугодного заведения, Мирон переместился в классную комнату, вечером — телевизионную, где, обняв за плечо скучающего Николку, с удовольствием комментировал фильм на производственную тематику. Прощаясь до утра на развилке второго этажа, Мирон напомнил о завтрашнем походе, поинтересовался: поделился ли гостинцем с друзьями?

На ужин, который Николка съел подчистую и с добавкой, была треска под маринадом и яичница (не омлет!) с колбасой. Уже засыпая, Николка вспомнил, нет, почти наяву представил себе лето в калужской деревне у младшей сестры отца, поездку в город к Мирону, в его поместительный дом на самом краю Подзавалья. Мужики сидят в садовой беседке, пьют водку из довоенных еще граненых стопок, каких теперь не увидишь, а Полина, жена Мирона, тут же на летней кухне жарит на керогазе большую сковороду яичницы. Николка с восторгом наблюдает, как Полина режет на доске крупными ломтями розовое сало с мясной прослойкой, ссыпает на раскалившуюся сковороду. Сало шипит и брызжет на отодвинувшуюся Полину. Когда сало подтопилось, она ставит на старую тумбочку миску с крупными гусиными яйцами и начинает вбивать их одно за другим в кипящее сало. Закончив колотье, Полина щедро посыпает яичницу заранее мелко порезанной зеленью. Недовольно гогочут гуси: жалко им свои произведения. «Скоро лето,— последняя мысль ухнувшего в счастливый сон Николки,— в отпуск поедем...»

♦ Утром, входя в столовую, Николка поздоровался с сидящим на *своем* месте Мироном, а после второго урока вернулся в интернат. Мирон в полном

облачении уже ждал его в холле, как с легкой руки Беллы Нурьевны с недавних пор стали называть интернатскую прихожую; провожать его вышла вся обслуга во главе с директрисой.

В полчаса Николка довел не умолкавшего говорить о северном гостеприимстве гостя до переймы. От противоположного берега отвалила шлюпка-двойка, взятая Андреяном у знакомого на берегу Екатерининского острова. Передав гостя отцу (обнялись, похлопали друг друга по спинам), Николка немного посмотрел на удаляющуюся шлюпку, махнул на прощанье рукой и пошел с грустью восвояси.

...Надо сказать, что с Мироном Николка в следующий раз увиделся только летом в Калуге, хотя гость пробыл на маяке почти полмесяца. Начались февральские шторма с бесконечными снежными зарядами, затрещали непривычные морозы, пролив между Екатерининским и Большим Оленьим забило льдинами: ни пройти, ни проехать. Больше всех был доволен младшеклассник Сережка: его двухнедельный карантин чудесным образом превратился в более чем месячное житье-бытье в домашнем тепле и сытости, без учебников и прописей. Когда шторма стихли, мать привела Сережку в интернат, сказала, что Мирон шел с ними, а в Старом Полярном сел в автобус, шедший в Кислую губу к пирсу с рейсовыми катерами. Просил передать привет Николке и всему персоналу интерната.

Мать все время, что сидела на стуле, а Николка на своей кровати, посмеивалась, рассказывая о гостевании Мирона. Как всегда, говоря о родне Андреяна, она садилась на любимого конька. Будучи уроженкой Архангельского края, где хотя росли только овес и ячмень, во все времена — в царские и советские — с едой вопросов не возникало, она не могла понять естественной, наследственной скуповатости жителей нечерноземной, сплошь песчаной ка-

лужской земли. Вот и теперь весь ее рассказ о госте свелся к двум моментам: как хорошо Мирон кушал, бесконечно нахваливая радушие северян, и как привез в своем объемистом чемодане множество узелков с различными крупами, сахаром, даже солью — и все увез назад в Калугу. Впрочем, назад он ехал уже с двумя чемоданами: второй, такой же вместительный, дала ему мать, заполнив банками с засахаренной морошкой и клюквой, вяленой треской и палтусом, солидным балыком соленой семги. «Угощайтесь у себя нашим северным гостинцем!».

Еще Мирон пару-тройку раз ходил с Андреяном на охоту — стрелять гаг, а по вечерам с удовольствием смотрел телевизор, только-только появившийся на маяке у начальника Седалина. «Приеду домой в Калугу — будем всем семейством думать о покупке». Убывая с острова, Мирон сердечно благодарил, прощался до недолгого уже лета, когда они вновь увидятся в Калуге.

Однако, время шло к темноте и без того несветлого зимнего полярного дня. Мать засобиралась в обратный путь. Сложив в личную тумбочку пироги и другие гостинцы, одевшись, Николка с братом проводили мать до переймы...

...И ВТОРОЙ ГОСТЬ НЕ ЗАЖДАЛСЯ, ИЛИ СНОВА НОВЫЙ ГОД НА МАЯКЕ

♦ Второй гость пожаловал год спустя и угодил к началу зимних каникул Николки, так что он много чего узнал о втором своем дяде, знаменитом в отцовом роду Лазаре Федоровиче, тож калужском уроженце, но теперь жителе Тулы. О Лазаре в семье Николки говорили как-то двусмысленно, со смешками, но детям или при детях — осторожно. На дворе хотя и стояли либеральные времена, что позже назо-

вут «хрущевской оттепелью», но старшее поколение еще не отошло от героической суровости предшествующей эпохи, лишнего не болтали, над чужим несчастьем не злословили, памятуя замечательную русскую пословицу о тюрьме и суме. Самое главное, кроме Андреяна, никто из семьи и в глаза Лазаря до того не видел, да и Андреян последний раз встречался с условным дядькой в середине пятидесятых годов. Но — все по порядку.

В жизни интернатовских зимние большие каникулы — самое счастливое время. Даже каникулы летние, сверхбольшие, не вызывают той радости. Должно быть потому, что очень длинные, переходящие в обыденность. Это как бутерброды с красной икрой, что в школьном буфете по двенадцать копеек (когда деньги есть): один съешь — вкусно, хотя и не колбаса, весь день на языке необычное ощущение; а вот в позапрошлом году отец выловил после шторма пятилитровую жестяную банку с этой самой икрой (тамошнее море и не то после штормов на берег выбрасывает), мать по три раза на день ребятам — для пользы здоровья — большие ломти хлеба намазывала, так только скука стала ее есть; лучше сала соленого на горбушке!

Но вот и каникулы с Новым годом, домой! А тут и легендарный Лазарь припожаловал, предварив приезд телеграммой, переданной из почты Полярного по телефону на остров, когда на безоблачном черном небе светились звезды и во всю красу играли всполохи северного сияния, а в сыром зимнем воздухе трещал нешуточный мороз, заиндевивший бороду веселого Андреяна и покрывший серой пудрой дородное лицо Лазаря.

— Ну и красотища у вас! — восхитился тот, входя в маячную квартиру,— видывал я сияние в Ленинграде и в Воркуте, в Игарке тоже, но такое впервые наблюдаю. Здорово, Андреевна! И вы,

племяши,— громко и раскатисто приветствовал гость семейство Андреяна.

Пока Андреян и гость разоблачались, переобувались в домашние укороченные валенки-обутки, оробевшая было в ожидании Лазаря мать бросилась накрывать стол: на плите все уже кипело и шкворчало.

— Зови Седалина,— распорядился Андреян, помогая Лазарю распаковывать увесистый его баул, выставляя на стол запретные в этих «сухих» краях водку и вино. Вручив ребятам от имени гостя по большой шоколадке и кулек с мандаринами, он же и отослал ребят, тесноты квартиры для, заняться своими делами: хочешь в квартиру соседей Седалиных телевизор с праздничной передачей смотреть, а лучше — в общую маячную пекарню, где все ребята у елки собрались. Можно и на веранду, где собираются по вечерам ребята — помечтать и потрепаться.

В этот долгий праздничный вечер Николка и его братья были центром детского внимания: и у телевизора Седалиных, и в кухне-клубе, где Настеха Канатчикова крутила радиолу у елки, а также на холодной веранде, где маячные ребята затеяли философский диспут о смысле бытия. Понятно, в доступной им терминологии и логике мышления. Затемненная веранда, врывающиеся через открытую коридорную дверь потоки тепла, света и музыки, а за окнами в частых переплетах разбушевавшееся северное сияние, бесконечное холмистое полотно снега, заканчивающееся непроглядной теменью моря — все это способствовало философичности неспешных разговоров. Дети тогда еще не пили, не курили, а матюкались лишь по делу. Счастливое было детство.

♦ Утром, уже в новом году, Николка проснулся к полудню, а младшие братья еще счастливо сопели в послепраздничном сне. Сквозь занавески на окне в спаленку еле-еле пробивался тот свет, который и светом-то не назовешь — а это самый рассвет се-

верного дня! Но в чуть приотворенную дверь из кухонной комнаты падал косой и светлый электрический луч, слышались негромкие голоса отца и Лазаря, изредка слово-другое вставляла мать. Вместе со светом и голосами в остывшую за ночь комнатку тугими волнами вливалось и жаркое тепло от кухонной печки; даже здесь было слышно как трещат хорошо просушенные с лета поленья. Николка потянулся, зевнул, но, несмотря на духовитое тепло, почти оттеснившее ночной холод к окну, вылезать из-под набитого гагачьим пухом одеяла было страшновато. Николка прикрыл глаза, решил еще полчасика понежиться.

Речь разговаривавших на кухне, да еще заглушаемая включенным приемником «Родиной», не разбиралась. Поэтому Николка попробовал систематизировать все, что он слышал от родителей и калужских родственников о знаменитом Лазаре Федоровиче. Получалось, что не так уж и много.

Знал Николка, что отец его с малолетства воспитывался в семье Лазаря, ибо родители его, крестьяне из деревни Дворцы, что в двадцати верстах от Калуги, умерли в самом начале двадцатых годов в эпидемию тифа. По версии матери, когда она находилась в ссоре с отцом, родители последнего померли от пьянства; однако, Николка уже кое-что понимал в жизни, в частности, что к мнению женщин надо относиться осторожно. В пионерские годы Андреяна Лазарь служил ефрейтором, а потом старшиной в конной артиллерии, полк которой обосновался в Калуге, был членом партии. Отец, посмеиваясь в духе хрущевской критики сталинизма с его культом, вспоминал, как Лазарь проходил чистку рядов ВКП(б) — в порядке своей очереди выступал по городской радиотрансляции. Сам малолетний Андреян с Пашей (его старшей сестрой) и всеми калужскими родственниками сидели вокруг домашнего рупора-громкоговорителя и

серьезно слушали, как Лазарь Федорович, который был родом из одной деревни с будущим народным героем Георгием Константиновичем Жуковым, даже жил по-соседству, хорошо поставленным голосом ротного старшины рассказывал про нищету своих родителей, про родственников — участников Гражданской войны (в Красной Армии, конечно), про свое трудное раннекрестьянское детство, воспоследующие трудовые и воинские достижения. Клеймил врагов народа — выкормышей Троцкого, Каменева и Зиновьева, агентов мирового империализма, диверсантов и шпионов. Призывал к бдительности и трудовому энтузиазму, крепить оборону и досрочно перевыполнить очередную сталинскую пятилетку.

...Дальнейшая жизнь Лазаря Федоровича в восприятии Николки представлялась отрывочной: перед войной уже служил в НКВД, кажется в Ленинграде, по хозяйственной части. К окончанию же войны был в высоких чинах, но внезапно сам угодил в сибирский лагерь, одиннадцать лет пробыл там, а по освобождении был направлен в Тулу, доменщиком на тамошний металлургический завод. Там и посейчас живет с женой Прасковьей, сыном-инвалидом и дочерью, только поступившей в экономический институт.

Что же еще? Да, как-то рассказал отец, что в середине пятидесятых годов, Николка еще в школу не пошел, Лазарь, только что приехавший в Тулу из заключения, списался с Андреяном, а тот во время летнего отпуска в калужской деревне навестил родственника. Уже будучи в возрасте сознательном, услышал Николка от отца о причинах и последствиях той летней поездки в Тулу. Дело в том, что еще зимой, до отпускной поездки, Лазарь предложил Андреяну паевое участие в строительстве дома: во-первых, Лазарю одному не осилить на новом месте; во-вторых, Андреяну с большим семейством не вечно жить на Севере. Наконец, будучи человеком кре-

стьянским, домовитым, Лазарь хотел хоть одного родственника, чтобы стопку с кем в праздник было выпить, иметь в тесном соседстве. Кстати, как понял Николка, Лазарь после лагзака мог и в Калугу вернуться, но та же крестьянская стыдливость (полковник НКВД и в зэки!) не позволила. Андреян, с самого окончания войны все размышлявший о переезде на родину, оценил доводы своего условного дядьки и воспитателя, выслал несколько тысяч — сумму, которой по расчетам Лазаря вполне хватило на строительство половины дома на индустриальной окраине — о двух комнатах, с кухней и подсобными помещениями, с отдельным входом с улицы.

Будучи человеком военно-морского воспитания, а во флоте все делается быстро и исполнительно, Андреян, отправляясь в летнюю инспекционную поездку в недальний город (несколько часов на поезде), полагал уже получить ключи от отстроенного полудома и обмыть житье с благодетелем Лазарем в его, уже обжитой половине. Однако вернулся уже на следующий день злой, раздосадованный донельзя, жаловался жене и сестре своей Настасье, в доме которой северное семейство проводило лето: «Приехал, на вокзале никто не знает, где это самое место. Таксист еле нашел. Смотрю: посреди окраинного пустыря несколько времянок стоят, одна из них Лазарева. А перед халупой его какая-то яма вырыта, поодаль — куча песка. Вот и весь дом!»

Вот с тех пор от Лазаря — до нынешнего приезда — ни письма, ни денег возвратных.

♦ Николка довспоминался до просыпания брательников, а тут и мать завтракать позвала. На кухне Андреян с гостем опохмелялись по малой. Гость добродушно приветствовал детей, утешил младшего, явно переевшего в новогоднюю ночь конфет и мандаринов, дал дельный совет: «Ты, Андреевна, дай ему теплого чая с солью. Соли-то не жалей, через

пару часов и не вспомнит о своем животе. Средство армейское, проверенное самим, ха-ха!» Лазаря слегка развезло от утренней опохмелительной стопки, а может и по причине того, что попал в новую обстановку, но он начал говорить о своей энкавэдешной жизни, чего, как уже потом пояснил Андреян, он обычно не касался. Вспомнив о средстве излечения живота, пока мы завтракали остатками вчерашних явств, он и рассказал, как он на себе проверил действенность народного лечения.

— Ха-ха, пройдет твой живот, Серега! У меня вот хуже было. Когда перед войной в Ленинграде раскрутка началась, город стали очищать от сомнительных людей, осужденных эшелон за эшелонами в Воркуту повезли. Конвойных команд не хватало, поэтому мобилизовали на время штабных, хозяйственников навроде меня — я тогда в питерском ХОЗУ НКВД* служил, куда меня из Калуги перебросили. Вот поутру, воскресенье было, спал себе с устатку, а в дверь нáрочный с приказом: явиться к десяти ноль-ноль на запасные пути станции такой-то для целей откомандирования. Задание — на месте. Делать нечего — приказ! А в голове муторно, стал портупею надевать — живот как клещами схватило, еле до сортира в своей коммуналке добежал. Я тогда холостяковал, Пашу в Калугу на время отправил, пока квартиру поприличнее дадут. А живот? — Все понятно. Как раз накануне мне старшего лейтенанта присвоили, вечером с ребятами отметили это дело — погуляли в известном месте, что-то навроде ресторации при ведомственной гостинице. Теперь сообразил: копчушки, которыми закусывали, еще тогда подозрительными показались, мягковатые какие-то, с душком. Пожадничал значит. Посыльный с машиной

* Хозяйственное управление войск наркомата внутренних дел.— Прим. авт.

был, доставил на пути, а там майор незнакомый пакет мне под расписку: так и так, поедешь с эшелоном в Воркуту старшим команды. А тут и эшелон этот самый подают, уже с «пассажирами», конвойные бойцы из своих теплушек посыпались, вдоль состава рассредоточились, задвижки на дверях проверяют, сцепки вагонные, под днища заглядывают, по лестницам поднимаются и крышами интересуются. Слаженно работают, дело свое хорошо знают. Потом построились в шеренгу, майор отрекомендовал меня, дает вводную, а я еле стою, коленками перетираюсь, сдерживаюсь из последних сил, аж язык прикусил. Майор откозырял, а я мимо бойцов в штабной вагон — и прямо на толчок. Только встал — опять колотье во всех кишках. Понял, что так дальше не пойдет, выскочил, хорошо майор что-то замешкался, с каким-то железнодорожным разговорился, кричу: «Товарищ майор! Разрешите обратиться...» И далее все ему рассказываю. Задумался майор, предварительно матюкнув меня: «Поторопились тебе звание присваивать... Разбаловались вы там в ХОЗУ!» Однако надо и майору что-то делать. Приказал ждать, а сам в железнодорожную комендатуру, что поблизости располагалась. Через пяток минут майор выскочил из комендатуры, ну, говорит, Лазарь Батькович — а сам уже усмехается, отошел — поедешь ровно генерал, с личным врачом! Заменять тебя некогда и некем, а эшелон через двадцать минут строго по расписанию убывает. Иди к команде, врач сейчас будет, прокатится с тобой до Воркуты, там у него какие-то дела, но быстрые, с тобой же и вернется. Будь здоров, а званья аккуратнее обмывай, главное — закусывай дома, там не отравишься. Майор убыл, а вскоре на эмке подкатил и доктор, пожилой военврач званьем намного выше меня. В штабном вагоне было жарко натоплено (на улице стоял крепкий мороз), эшелон тронулся, седой док-

тор расспросил, помял живот, посмотрел язык, дал выпить порошок. Вестовой принес в командирское купе крепко заваренный чай в стаканах с обычными железнодорожными подстаканниками. «Ну-с, батенька,— доктор с наслаждением отхлебнул чай,— ничего у вас страшного, хотя помучаться придется. Если бы сразу промыли желудок... но уже поздновато. Одними порошками и таблетками вашу хворь сутки-двое выводить надо. Вы — человек молодой и крепкий, поэтому сделаем по-армейски: чаек сейчас чуть поостынет, так вы в стакан ложечку соли того... и прихлебывайте неспеша, и так через каждые час-полтора, К вечеру я вам пилюлю особенную сооружу, а завтрашним утром жеребчиком будете прыгать. Я же, с вашего разрешения, закушу под чаек, утром с дежурства и позавтракать не успел». И действительно, просолил я организм «чайком» до вечера, ночью раза три еще бегал на толчок, а утром только слабость легкая осталась, да и та к обеду прошла. За окном тянулись бесконечные вологодские заснеженные леса, а мы с доктором на длинном перегоне, когда и конвой отдыхал, пообедав горячим, приняли по стопке медицинского разведенного из запасов военврача, под макароны с тушенкой и порезанную тонкими ломтиками «краковскую» — опять же из запасов основательного лейб-медика. «Жирненьким, батенька, всегда закусывайте, им не отравишься, а рыба — самый бесполезный продукт, окромя, конечно, свежекопченой семужки или только что выловленного судака в ушице»,— поучал меня от диетологии добрый доктор. Вот так я единственный раз в жизни и ездил с «личным» доктором,— закончил свой рассказ Лазарь Федорович.

Братишки, мало что поняли по причине возраста и недавнего сна, мать почтительно смотрела на гостя, а Николка, уже наслушавшийся в школе и по радио про сталинский культ личности, с ознобом восторга

смотрел на Лазаря: вот он, живой, весело улыбающийся, добродушный сталинский палач!

Он не успел еще осмыслить услышанное, как отец засобирался на дневную вахту на маяк. Засупонивался и Лазарь — пройтись с Андреяном, посмотреть на его службу. Мать налила в термос свежей заварки чая, собрала в узелок кой-что из закуски, а гость, подмигнув всем сразу, достал из баула водочную четвертинку: «Гулять так гулять!»

После ухода мужиков мать почему-то шепотом сообщила старшему, что-де ушли вдвоем поговорить. Лазарь-то деньги долговые привез, дом собирается расстраивать и все прежнюю мысль о переезде Андреяна с семьей в Тулу в голове крепко держит. «Лазарь-то неспроста, как и все в жизни, это делает. Хотя он как огурчик выглядит, но возраст-то набирается, а Паша хворая, дочь его Зинка хоть и засиделась в девках, но выйдет замуж — отрезанный ломоть, своей семьей будет заниматься. А Андрей — инвалид по детству, по голове, все дома сидит, надомником и работает. И у него, и у Паши все болезни от жизни такой; когда Лазарь в заключении находился, то они втроем очень бедствовали, по родственникам деревенским скитались. Баско ли так жить? Вот и сказалось все сейчас. А Лазарь мужик правильный, о семье заботливый, вот и мыслит, чтобы в случае чего было кому об Андрюше позаботиться».

Под неторопливые рассуждения-гадания матери Николка с братьями доели сладкие пироги, запивая их чаем со сгущенным молоком, а потом поспешили на улицу, откуда уже доносились веселые крики раскрепостившихся на каникулах маячных ребят. Новый год начался с ясной погоды, тихого моря и чистого, похрустывающего под ногами снега.

♦ Первый день нового года пролетел как миг. Николка и прочая детвора маяка все успели: на лыжах покататься с сопок, посмотреть как Седалин с

Егором Пряхиным здоровенного тюленя, вылезшего на отмель погреться от холодной воды, подстрелили и ошкурили, полюбоваться новеньким крейсером, что неторопливо шел из Североморска на выход из Кольского залива — на учение или в дальний поход; Николка по пригляду уже все корабли отличал. Много чего успели, не забыв забежать домой пообедать. Только к ужину, когда ни зги стало не видно (ночь была безлунная), а на всем окутанном непролазным мраком острове светились окнами только маяк и жилой дом маячников, к этому-то дому ребята собрались. Нешуточный мороз надвигался, но только матери, поминутно появлявшиеся на веранде, смогли зазвать детей в дом — ужинать.

Отец с Лазарем еще не приходили, вахта заканчивалась в двадцать ноль-ноль, полусуточная. Мать сказала, подавая замечательные пельмени и вареную вяленую треску с жареной (настоящей, не сушеной) картошкой, а к чаю печенье и банку сгущенки на троих, что Лазарь днем заходил пообедать и отцу поесть отнес. «Целый день разговаривают, до чего-то договорятся? Лазарь своего всегда добьется, глухому втолкует...»

Ребята уже доскребали печеньем остатки сгущенки в своих блюдцах, когда по коридору дома затопали две пары мужских ног, сопровождаемые веселым басистым голосом гостя. Дверь шумно отворилась, кухня вмиг оказалась заполненной Андреяном и Лазарем в шубах, валенках, с громким разговором, присказками совершенно довольного Лазаря:

— Ну, Андреевна, вроде как в жизни везде побывал, вахты и караулы по двое суток нес, а здесь такая ответственность? А говорят: длинные рубли, длинные рубли... Так за эти самые рубли по полсуток в темень вглядываться, да одновременно за дизелем присматривать, за маяками аж двумя, световым и звуковым, да еще куча дел: и журнал поми-

нутно заполняй, метеосводку в голове держи... Нет, врагу не пожелаю таких вот длинных рублей!

Мужики разоблачились, переоделись в домашнее в «большой» комнате, она же спальня, да и гость там помещался на ночь, присели ко второму столику на кухне, рядом с книжной этажеркой, на которой голосом Райкина язвительно веселился приемник. Мать суетилась у плиты, ставила на стол мужчинам пельмени и жаренного палтуса, наливала в тарелку жирный борщ, готовила на закуску омлет из яичного порошка, резала на закуску колбасу. Лазарь, опять-таки подмигнув всем сразу, сходил в спальню к своему баулу и торжественно поставил на стол бутылку столь любимой Андреяном «старки» (гость хорошо знал, что такое полный сухой закон, и в бауле его поместилось число бутылок, равное количеству дней гостевания). Андреян радостно заухмылялся, с любопытством посматривая на темнокоричневую этикетку с золотыми витиеватыми буквами. Райкина в приемнике сменила совсем молодая, только-только зазвучавшая с эстрады певица с необычным именем Эдита Пьеха. Мать порекомендовала ребятам, захватив по паре мандаринов и шоколадной конфете, заняться своими делами, благо по коридору маячного дома уже топотали ребята.

♦ Праздник праздником, но первое января в этот раз пришлось на субботу, то есть по военному маячному расписанию (первая и третья субботы месяца) день выпечки хлеба. Поэтому в общей маячной пекарне стояла банная жара, обе огромные печи раскалены, пышут жаром, поленья трещат. Играла радиола, пластинки меняла Настеха Канатчикова, она же и танцевала вокруг елки под одобрительные улыбки женщин, то и дело забегавших посмотреть на свои формы с хлебами и противни с пирогами. От духоты печей Николку потянуло в ранний сон, а ведь еще по телевизору Седалиных фильм интерес-

ный смотреть? Пошел на веранду охолонуть, присел на скамейку у стола. К ночи небо очистилось от снеговых туч, трещал мороз, снова разгулялось, как и в предшествующую ночь, северное сияние, которое будоражит человека, будит в душе неясные, неспокойные мечтания. Замечтался и Николка, потому вздрогнул на открывшуюся из коридора дверь. На веранду вышел Лазарь в накинутой на плечи шубейке, в своей папахе мерлушковой, с раскрасневшимся лицом.

— А, Николка, прохлаждаешься? А я до ветру, ха-ха,— и гость, похлопав племянника по плечу, спустился по лесенке и вышел из дома (уборная помещалась в отдельном помещении с торца дома).

Лазарь скоро вернулся, но задержался на веранде, подсел к Николке, залюбовался разошедшимися в небе сполохами всех цветов радуги, повторил давешнее, что такой красоты не видел ни в Ленинграде, ни в других северных местах, в Воркуте тож. Вспомнив рассказ гостя о поездке в Воркуту с «личным» врачом, Николка, несмотря на строгие предупреждения отца и матери не задавать гостю лишних вопросов, неожиданно для себя самого коснулся запретной темы:

— Лазарь Федорович, а вот нам в школе и по радио говорят, что при культе личности людей понапрасну сажали, эшелонами в Сибирь и на Север везли...

Улыбка сошла с лица гостя, он скучно и невидяще посмотрел в угол веранды, задумался, вздохнул, потом, словно очнувшись, потеплел лицом, положил тяжелую руку на плечо съежившегося от своей бестактности Николки:

— Это, брат, дело сложное. Хорошо, что вам в школе обо всем говорят, вообще хорошо, что народ посвободнее в разговорах стал. Однако, ты учителей-то, а особенно радио, слушай, а и сам себе вопросы задавай. И чем взрослее будешь становиться,

тем чаще эти вопросы задавай — и старайся на них себе же отвечать. Вообще говоря, только прожив на свете лет тридцать-сорок, человек начинает все понимать правильно. И ты до истины доберешься сам, только не торопись. Неизвестно еще, что в долгой жизни придется увидеть, мир-то он меняется, порой так, что и в страшном сне не приснится... Вот сейчас за Сталина взялись, такой он и сякой... тоже со временем разберешься. Кстати, Иосиф Виссарионович — читал я недавно в одной книге — предупреждал, дескать, много мусора нанесут на его могилу, да только ветер истории его рано или поздно разметет. Вот так-то, хватит мерзнуть, дрожишь уже, пойдем в тепло, в пекарню вашу заглянем.

В пекарне Лазарь скинул шапку и шубейку, присел на лавку, весело поглядывая на детвору, перекинулся словами с женщинами у печи, вспомнил, что у Седалина есть гармонь, на которой никто на маяке играть не умел, послал за ней Николку. Настеха выключила радиолу, а Лазарь разыгрался, да так хорошо, что скоро в пекарне собрались все от мала до велика. Действительно, в деревне, откуда родом были и Лазарь и маршал Жуков, все искусно играли на трехрядке. Николка же все думал над словами дяди, даже засыпая после полуночи. Что ему покажет жизнь?

♦ На следующий день Андреяну предстояло заступать в ночную вахту на маяке, поэтому светлое время суток он знакомил гостя с хозяйством острова и занятием его обитателей; зимой из таких занятий важнейшим полагалась охота. Николка, как человек вполне взрослый, пристроился к ним. Собственно это Лазарь предложил ему составить компанию, ибо по серьезным делам гость с отцом, видимо, все обговорили накануне. После завтрака, когда чуть посветлело, засупонившись по случаю неотступающего сильного мороза, отправились в личный отсек сарая

семьи Андреяна, где в одной половине помещалась домашняя мастерская с полным набором столярного и слесарного инструмента, с верстаком и кладовкой, в дополнении к домовой, где в ящиках хранилась вяленая треска, палтус, на полках громоздились банки и боченочек с засахаренной морошкой, клюквой и брусникой. Все было аккуратно, по-флотски расставлено, развешено, уложено. Лазарь всячески хвалил порядок в сарае и рачительность хозяина. Однако здесь его внимание привлекли стуки и неясные звуки явно животного происхождения из-за досчатой стенки, перегораживавшей сарай посредине.

— А-а,— засмеялся Андреян,— это наши козы, Машка и Дашка, к ним вход отдельный. Мы их в прошлом году завели.

«Козий отсек», как его называл Андреян, был утепленным, с двойными досчатыми стенками, промежуток между которыми был засыпан опилками и стружками, мелко порубленным вереском, поэтому вошедших обдало жилым если не теплом, но остропряным запахом обычного деревенского коровника или конюшни. Машка и Дашка, тоже приученные к флотской дисциплине, стояли каждая в своей загородке, правда условных, из редких досок, что позволяло им ходить друг к другу в гости, и каждая из своей посудины хлебали мучную болтушку, совсем недавно принесенную матерью. Видно они доканчивали это занятие, ибо увидев гостей, поприветствовали их коротким блеянием, с интересом посматривая на свет божий в растворенную дверь, затем улеглись, подломив колени ног и серьезно занялись жеванием сена, рассыпанного также отдельно в загородках. Надо отметить, что на стенах висело множество полуобглоданных березовых веников.

— Полная картина жизни на воле,— засмеялся Андреян на немой вопрос Лазаря,— чего-чего, а березы-то, хоть и карликовые, у нас имеются, козам

же гимнастику надо делать, вот и попрыгают вволю на стены за вениками-то.

Лазарь изумился было такому научному подходу, но вспомнил, что Андреян в свое время и с его же опекунской подачи учился в Калужском сельхозтехникуме.

— Коз-то для молока держишь?

— Вроде как для молока, здесь ведь только сухое, порошок молочный, оно не лишнее, правда, ребята всю зиму в городе, в интернате... А потом быстро привыкли к ним, хоть какая-то живность, деревню напоминает. Опять, не корова ведь, даже здесь без хлопот прокормить можно. Месяцев пять, пока снега нет, подножного корма им хватает, зимой — болтушки всякие, веники, а в этом году и вовсе повезло: летом в шторм на берег выбросило пару тюков прессованного сена, видно с палубы баржи смыло — здесь сено по точкам военным развозят, где подсобные хозяйства, коровы имеются. Теперь на эту и следующую зиму хватит. Когда в отпуск уезжаем — соседи присматривают.

Николка вспомнил и живо представил, как в начале прошедшего лета он же самолично, гуляя по берегу, обнаружил эти два тюка, каждый размером со шкаф, что стоял в спальне родителей, перетянутые сеткой стальной проволоки. Сами по себе, да еще промоченные водой, весили каждый, наверное, с полтонны, так что Андреяну с Николкой, да с пришедшим на помощь Седалиным пришлось тюки кантовать, подсовывая крепкие слеги, чтобы оттащить от полосы прилива. Потом Николка помогал отцу распускать тюки, разворачивать туго спрессованное сено, которое образовало после просушки настоящий стог. Андреян накрыл его от дождей брезентом и куском толя. До самого отъезда в отпуск все семейство, включая младших, переносили в мешках сено. Лазарь поднялся на сарайный чердак по лесенке, стоявшей в

углу «козьего отсека», восхитился качеством и количеством сена, вениками для бани, развешанными под застрехой крыши. Затем все перешли в мастерскую половину, присели на скамейку, Андреян закурил. Лазарь чему-то усмехнулся, как бы вспоминая:

— А знаешь, Андреян, я вот с такими же тюками почти три года в войну дело имел, по ночам они мне снятся.

— Это как же так?

— Я же перед войной, как сам помнишь, в ХОЗУ ленинградского управления НКВД служил, в самом начале войны помотался с полгода по разным местам и делам, а потом вызвали к начальнику главного хозуправления наркомата и назначили главноуполномоченным по заготовке фуража конницы НКВД. Я — старший лейтенант, а должность старшего офицера... тут же приказ о моем капитанстве утвердили. Помотался я по стране за этим самым фуражом, ведь двадцать конных полков в подчинении наркомата были! И все на передовой, а как немца поперли, так, начиная с Западной Украины, все эти бандеровцы, лесные братья и прочие самостийники на нас и повисли. А сейчас вот по радио и газетам слышишь: бериевцы мол, сатрапы...

Николка, вспомнив вчерашний разговор на веранде маячного дома, понял, что дядька адресуется больше к нему; отцу, судя по его равнодушному виду, все это было известно. Педагогическая беседа, как любит говорить Белка Нурьевна в интернате.

ГОСТЬ НА ОХОТЕ И ЕГО ЛЮБОПЫТНЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ

♦ Перекурив, Андреян занялся заготовкой дроби, то есть брал свинцовый блин толщиной милли-

метра три-четыре из стопки их, еще на прошлой неделе отлитых в обычную чугунную сковородку из расплавленного на домашней плите в ковшике свинца, и сначала резал его на узкие полоски с той же шириной, что и толщина, ножницами для металла, одной рукояткой зажатых в тиски, а затем уже пучки полосок резал на собственно заготовку дроби.

Лазарь с интересом присматривался к ловким ухваткам Андреяна, потом не выдержал («Дайкось погреюсь»), вошел в азарт и в какие-нибудь полчаса перевел в четырехгранную дробь пару блинов. Андреян тем временем занялся починкой капустной кадушки — менял проржавевший обруч. И Николка нашел занятие: на верстаке выстругивал рубанком дощечку, снимая слой за слоем. Лазарь, закончив резку дроби, присел на скамейку:

— А ты, Николка, что творишь?

Николка охотно пояснил, что недавно читал книжку о жизни северных народов Сибири и там обнаружил любопытное: поскольку у полудиких народов темных очков и в заводе не было, а зимнее низкое полярное солнце, отражаясь от снега тундры, слепит глаза («оттого они у них и узкие»,— сделал смелую догадку), то эти самые чукчи и ханты с мансями додумались делать из дощечек что-то внешне похожее на обычные наши очки, а для света оставлять напротив каждого глаза крохотную дырочку в миллиметр — два. Эффект получается как если бы надеть темные современные очки. Вот он и хочет проверить: правда это или сочинитель книги придумал «на дурачка»?

Лазарь одобрил естествоиспытательские наклонности племянника, заинтересовался сообщенным, дескать, и среди этих самых народцев приходилось бывать, а таких очков не видывал. В этот момент в полуоткрытую для света (и полузакрытую для мороза) вбежал, отчаянно колотя пушистым хвостом по

двери и косяку, Боцман III, чуть не сшиб с ног Николку, радостно подкатившись ему под коленки, почтительно ткнул носом в валенок Андреяна, несколько озадаченно посмотрел на Лазаря. Но, поскольку уже встречал его на острове, вежливо махнул хвостом и ему. Боцман III уселся на подстилку — квадратный кусок тюленьей шкуры, поднял уши и стал внимательно вслушиваться в беседу людей. Эта, уже личная их собака, заменила прежнего общественного Малахая, которого зенитчики, передислоцируясь, воровски увезли с собой на новую точку...

Всех собак, бывших в семье Андреяна, он по-флотски называл Боцманами, присваивая в порядке очередности императорские имена; первого Николка ясно не помнил, очень мал тогда был, второй жил у них на острове Седловатом (IV и V Боцмана жили у них уже позже, по переезду в Полярный, причем одновременно; а уже в Туле короткое время вертелся под ногами веселый пуделек с номером VI, который по весне убежал на собачью свадьбу и не вернулся. Его заменила овчарка, прожившая десять лет, но, поскольку была сукой, то получила имя Норка).

Собаки на Севере, особенно на островах, есть существа автономные, то есть в первозданной и естественной биологической сущности здесь выполняется закон стаи: хозяин собаки — вожак, но в остальном его четвероногий подчиненный свободен. Здесь собаку не приводят в дом, а она сама избирает хозяина-вожака. Так и Боцман III все теплое время года проводил на полной воле в компании ребятни. Если взрослый человек позовет — с удовольствием побежит за ним хоть на край света: не позовет — почешется и побежит по своим делам. Летом собаки спят где пожелают, впрочем, исправно по утрам и вечерам прибегая на кормежку — приятную добавку к корму естественному, коего на острове великое множество; зимой — кто где устроится.

Боцман III зимней квартирой имел козий отсек, куда его впускали на ночь или просто в непогоду. С козами он дружил, а в маячный дом собак не пускали. А то разбалуются.

Лазарь и обратил внимание, что у собаки какой-то белый пух на усах, а вид очень сытный.

— А-а,— рассмеялся Андреян,— этой зимой на острове для собаки пиршество! Вот Боцман, судя по всему, сегодня уже успел кролика поймать и употребить по назначению.

— Какие-такие кролики?

— Как в Австралии. Этим летом Седалин привез из Полярного — купил за бутылку в подсобном хозяйстве — две пары кролей. Он все с сельским хозяйством экспериментирует, как и его младший брат на Седловатом! К осени поздней уже весь сарай ими наполнился, а потом в сарае ветхая доска выпала и все кролики ушли, по острову разбрелись, норы себе вырыли, одичали. Седалин по всему острову бегал, кой-кого поймал и в сарай возвернул, остальных сейчас Боцман унюхивает через снег, норы разрывает и сжирает. И то польза, все одно на зимней бескормице подохнут. Все же не Австралия...

— Однако, если на охоту идти, то по времени пора,— Андреян ссыпал заготовки дроби в рогожный мешочек, посмотрел на сытого, уже клевавшего носом Боцмана и за холку перевел его, несопротивлявшегося, в козий отсек.— Здешняя зимняя охота собак не требует!

Обе сарайные двери, понятно, на замок не закрывались — только на задвижку, чтобы ветром не распахнуло или глупые козы не выбрались в пургу (умный Боцман такой глупости не сделает). Ссыпав дробь в барабан ветряка, что располагался по другую сторону маячного дома, около бани, пошли домой. Мать предложила мужикам наскоро пообедать, но те ограничились чаем:

— На охоту, как собаки, на сытый желудок не ходят, так что обед перенеси на ужин,— заметил Андреян, надевая патронташ и снимая со стены двухстволку,— по очереди постреляем, пошли, Лазарь Федорович.

Николка в компаньоны не набивался, поскольку в шлюпке-двойке, с которой стреляют летящих над проливом между Большим Оленьим и островом Екатерининским гаг, троим тесно. Потому и занялся тонкой работой: выстругиванием остро отточенным сапожным ножом ханты-мансийских солнцезащитных очков. Мать раскатывала на клеенке стола, посыпанной мукой, тесто. Прибежавший из пекарни Славка пристроился к столу — вырезать краями стакана кружки теста, в которые мать заправляла пельменный фарш. Тихо включенный приемник голосом известного актера читал чеховский рассказ о сельском эскулапе. Забежал распаренный Сережка, нагло схватил с полочки конфету и умчался вновь на елку.

♦ На принайтованных к кухонной стене круглых флотских часах с суточным циферблатом показывало без четверти пять (на циферблате — семнадцать), в окна сквозь полную уже темень заглядывала луна.

— Не потонули ли наши мужики? — мать ставила на плиту большую кастрюлю с водой под пельмени, озабоченно поглядывая на часы. Еще полчаса тому назад она отнесла кормежку Машке с Дашкой и Боцману III. Последний после кролика сыто дрыхнул и даже не поинтересовался: что ему принесли?

Николка, к тому времени вырезавший из дощечки очки и отполировавший их осколком стекла, занимался самой ответственной работой: приоткрыв дверцу полыхающей печки, зажав в плоскогубцах кусок стальной проволоки, раскаливал ее добела и прожигал отверстия в деревяшке. Попутно обдумывал: как быть с дужками? Привязывать бечевку, как то делали чукчи с самоедами, не хотелось. Сами

дужки выточить из дерева труда не составляло, но как их прикрепить, чтобы складывать было можно? За этими ученьми раздумьями он не расслышал шагов и голосов в коридоре, оглянулся только уже на распахиваемую дверь.

— Ну, Марья Андреевна, вычеркивай из «Красной книги», или как там она называется, еще шесть гагачьих душ,— басил с мороза Лазарь, одежда которого была покрыта въевшимся мелким снежком. За ним вошел с полностью заиндевевшей бородой Андреян, перепоясанный патронташем с пустыми теперь латунными гильзами, с ружьем через плечо. Оба держали в левых руках за лапы по три отменной упитанности гаги. Пропустив мужиков, мать ссыпала в закипевшую воду пельмени и сдвинула с края плиты на самый жар кастрюлю со щами. Серые гаги грудой лежали в углу рядом со сдвинутыми валенками охотников. Переодевшиеся в домашнее охотники с красными, отходящими в банном тепле кухни от мороза лицами, с пылающими ушами усаживались за стол с приемником. Помятуя, что Андреяну идти в ночную вахту, Лазарь захватил из своего неистощимого баула всего лишь четвертинку, которую и выпили в один присест под дымящиеся щи с бараниной. Мать ждала команды подавать пельмени. Медленно и с явным удовольствием выпив свою «сотку с довеском», с умыслом малопьющий Лазарь, точнее говоря, спиртное не брало его отменно здоровый организм, крякнул:

— Всегда наша водочка к месту: после бани и охоты, в горе и в радости! Вот довелось мне в самом конце войны почти полгода столоваться в компании не кого иного, как бывшего коменданта Кёнигсбкрга, генерал-полковника вермахта, потомственнго пруссака-вояки, фамилия с приставкой «фон» — осанистый мужчина, воспитанный, но и не сухарь. Отто фон Ляша этого за капитуляцию гарнизона Гитлер

лишил всех наград и званий, заочно приговорил к смертной казни через повешение... Когда наша армия в сорок пятом на Берлин текла, а кавалерия НКВД занялась очисткой западной Украины и Прибалтики от бандитов и пособников, к этому времени я фуражирное снабжение хорошо отладил — на свою голову, как у нас принято: раз все наладил, так начальника обязательно нужно дернуть и в другой какой прорыв бросить. Вот и меня вызвали в Москву, сам Лаврентий Павлович мимоходом руку пожал, а в управлении кадрами огорошили: дескать, даем вам, Лазарь Федорович, ответственейшее назначение: начальником спецлагеря для высших немецких военных чинов: от полковников или оберштурмбанфюреров СС и выше! Будешь их «опекать», пока по ним решения в верхах не примут. И еще успокоительное сказали: в Сибирь ехать не надо, это все здесь, в центре. Уже прощаясь, начуправ порекомендовал поаккуратнее с содержащимися в лагере генерал-полковником обращаться — он почетный пленный, к обеду его к себе зови. «Так сверху приказали»,— многозначительно обронил он. Ехать на новое место без своих, проверенных людей, не принято, потому, поторговавшись, получил разрешение взять трех-четырех своих подчиненных, в том числе двоих из нашей же деревни, что раньше к себе подобрал в фуражиры. С тем и убыл на новое назначение в... впрочем, это неважно.

Покончив со щами, похвалив их и придвинув миску с пельменями, Лазарь, разговорившись необычайно, продолжил:

— Так вот, завтракал и ужинал этот генерал-полковник вместе со своими, а на обед приходил ко мне в комендантскую столовую, у нас там отдельный столик за загородкой стоял, вестовой обслуживал и графинчик из погреба со льда приносил. Генерал пил по-немецки, доппелями, то есть выпьет полрюмки,

глаза прищурит, замрет, как будто к тому что творится в желудке прислушивается, потом выдохнет и не применет сказать (по-русски сносно говорил): «О-о-о, герр комендант, русская водка это превосходно!» Кстати,— Лазарь хохотнул,— генералу этому было оставлено личное оружие, что-то навроде кортика с затейливыми ножнами. Так наши ребята из охранников раза два пробовали спереть его. В конце концов генерал отдал мне на хранение. Я его в личный сейф положил.

— А что, дядя Лазарь, Паулюс тоже в этом лагере содержался? — встрял Николка.

— Эх, куда хватил! Этот Фридрих Вильгельм в высших сферах обретался, говорят, что обменивался своим военным опытом в Академии Генштаба, лекции по тактике читал. Он же у нас до самой смерти Сталина в плену считался, потом отпустили его в ГДР, в Дрезден. Не знаю — правда ли, но поговаривают, что служил там обычным инспектором полиции в чине капитана. Кстати, умер-то он не так давно, лет пять тому назад, в газетах читал. Ну, Андреян, после таких пельменей часок-другой вздремнуть не грех, а тебе так и вовсе перед вахтой обязательно.

Убрав и помыв посуду, мать принялась ощипывать гаг («Ужо завтра нажарю-напарю птицыто...»), а Николка полировал взятой из материнской шитьевой шкатулки большой «цыганской» иглой прожженные отверстия в очках. Время от времени забегали «попить водички» младшие. Все на елке веселятся! Мать приказала через полчаса быть здесь, второй раз разогревать ужин не будет.

В половине восьмого проснувшийся Андреян собрался на маяк (Лазарь проснулся только в девять). Николка, наконец-то решивший задачу с креплением дужек очков, ушел с отцом — поискать в маячной мастерской нужной кондиции проволоку. Кстати, Николка сразу отметил, что в разговорах с маячны-

ми мужиками на вопрос о воинском звании полковник Лазарь рекомендовался ефрейтором.

♦ Остаток вечера Николка вырезал дужки и с помощью проволочных шарниров прикреплял их к очкам. Испытания оставил до завтрашнего дня; судя по ночному безоблачному небу, завтра могло хоть не надолго, но появиться низкое полярное солнце, а снега для проведения опыта на островах хватало. Проснувшийся, отдохнувший после охоты Лазарь взялся помогать матери ощипывать гаг; эта работа ему была хорошо знакома: и в деревенском детстве доводилось ощипывать кур, и сейчас, как он сообщил, держат десяток хохлаток. Ночью Николке приснился плененный Лазарем генерал-полковник вермахта: длинный, поджарый, в николкиных ханты-мантийских очках, с личным оружием на поясном ремне: двуручным мечом-кладенцом.

На следующий день солнце и вправду выглянуло: ровно на пяток-десяток минут и вполовину своего размера под горизонтом. Николай убедился в природной мудрости ханты-мансийцев и чукчей; действительно, в очках можно было даже на зимнее солнце в упор смотреть. И обзор в них был вполне достаточным, а плоская форма очков не закрывала боковое зрение.

Следующий день по маячному расписанию был банным с дежурством Андреяна (после ночной вахты у него было два свободных дня), поэтому после раннего обеда с супом и жарким из гаг мужики ушли топить-обряжать общую маячную баню, что стояла в сотне метрах от дома — через небольшое озеро, зимою бывшее для ребят катком. В центре льда поддерживалась прорубь, из которой брали воду для дома и бани. Николка после сытного обеда прилег с книжкой на кровать, предвкушая — какой он произведет фурор в интернате и в школе своими очками. Поскольку младшие отправились на улицу, в отсут-

ствии лишних ушей и неразумных голов мать рассказала о конце карьеры Лазаря в НКВД в версии, бытовавшей у калужских родственников.

Выходило так, что Лазаря подвели именно те два его земляка, что он взял с собой в лагерь для военнопленных. Поскольку они всю войну не были в родной деревне, которая была под оккупацией, половину домов немцы при отступлении сожгли, остальные без мужских рук полностью обветшали... словом, разжалобили они своего командира и подтолкнули под должностное преступление*: выписал им Лазарь служебные командировки на пару недель, а по пути следования на родину, уже в Калуге, патруль заподозрил что-то неладное и отвел двух сорокалетних лейтенантов в комендатуру...

Невзирая на былые заслуги, отменно поставленную службу фуражирования конных полков НКВД, образцовый порядок в спецлагере, получил Лазарь 11 лет лагерей. Время тогда было строгое, дисциплину и порядок не полагалось нарушать и рядовым и офицерам; по трофейной жадности в поверженной Германии, например, много и генеральских карьер завершилось досрочно... Правда, оценивая данный Лазарю срок, мать выражала сомнение, что так строго наказывают за отпуск подчиненных, хотя бы и незаконный. Женщины по своей природе всегда думают о другом человеке хуже, чем тот есть, а в отношении своих близких — намного лучше.

Видно, что Лазарь был хороший по натуре человек, поэтому судьба не бросала его в самые тяжкие стеснения души и тела. Иначе почему так случилось, что комендантом дальнего сибирского лагеря, куда этапировали после суда трибунала лишенного звания и наград старшего офицера НКВД, оказался не кто иной, как его бывший в военные годы адъютанат,

*В интернете значится: за превышение власти.— Прим. авт.

ныне — капитан и начальник лагпункта с двумя тысячами заключенных, в основном, проштрафившихся военнослужащих. Не успел Лазарь после развода вновь прибывшего пополнения положить свой вещмешок на свободные нары в отведенном ему бараке, как вошедший вертухай велел следовать за ним «с вещёй». Зэки многозначительно переглянулись: видать новичок успел что-то на этапе натворить, раз сразу в БУР* потянули...

Бывший адъютант, впрочем, не проявляя амикошонства, посочувствовал Лазарю, но самое большее, что он мог сделать, это поставить экс-начальника почтарем, то есть на высшую придурочью зэковскую должность. Поселился он сам-двое с помощником в отдельной комнатке при почте, вдали от бараков, ближе к лагерной администрации, столовался с лагерной аристократией: поварами, фельдшерами больнички, бывшим доцентом, учившем грамоте и счету малолетних детей начальника лагеря.

Мать язвительно заметила, что другие посылки в лагерь отправляли, а Лазарь из лагеря слал в калужскую деревню своей бедствующей семье. Николай же подумал, что не так уж Лазарь, водя дружбу с поварами, и сильно объел две тысячи заключенных, зато семью от голодной смерти спас и сохранил. Не говоря уже о самом Лазаре, что, отбухав полный срок, не выдает себя, как другие, за жертву «сталинских репрессий» и посейчас работает горновым на металлургическом заводе, льгот себе всяческих не ищет...

Уже затемно, когда баня растопилась и согрелась, попарились в две смены: сначала мать с младшими, потом мужики и Николка. Затем другие маячники.

Поздний ужин Андреяна с гостем (ребят покормили пораньше) прошел весело, под «зубровку».

---

* БУР— бригада усиленного режима, то есть коллективный карцер с выводом на работы.— Прим. авт.

Гость не уставал хвалить баню, тушеную в картошке птицу из «Красной книги»; мысленно унесясь в спроектированное им будущее, представлял их скорую соседскую жизнь в Туле: «Вот выйду я поутру в свою половину сада, крикну: «Андреян! Выходи водку пить!» А ты — ко мне в беседку. Вокруг яблоки наливные ветки оттягивают, вишни у меня уже плодоносят, груша и слива есть, крыжовник и другие кусты разрослись... Хорошо, понятно, здесь у вас, но ведь всю жизнь за полярным кругом не проживешь?»

Николка блаженно — после бани — засыпал, а младшие уже пару часов как дрыхнули.

♦ Все сбылось, как и загадал Лазарь, но прошли еще годы жизни на Большом Оленьем и в Полярном. В год окончания Николкой школы семейство Андреяна перебралось в Тулу. Первым, сразу же после выпускного вечера, прибыл туда Николка — готовиться к поступлению в тамошний технический институт. А ранней осенью, когда он уже проходил курс молодого бойца-студента на уборке свеклы и картошки в глубинном колхозе рядом с мелеющей речкой Непрядвой, приехали со всем скарбом и остальные — прямо в новоотстроенную половину дома на индустриальной окраине города, завершать которую Николка помогал Лазарю в перерыве между повторениями школьных предметов и сдачей экзаменов. Впереди ждала его и младших братьев новая жизнь, новые люди, новые знания... А те давние каникулы остались в памяти как необычайно светлое пятно в сумраке полугодовой полярной ночи, видно, Лазарь был из тех истинно русских людей, которых даже в самой обыденной жизни принято называть богатырями духа. Но на фоне этого-то самого светлого пятна и что-то неуловимо тревожное, долгое ожидание неизбежного, непонятного, страшащего поселилось в совсем юной душе. Виной тому стал, как намного позже понял Николка, точнее уже Николай

Андреянович, случайно услышанный разговор-монолог Лазаря с Андреяном.

Потребовалось Николке обработать малую железку для очередной поделки и пошел он на маяк, где отец нес дневную вахту. Туда же часом раньше ушел прогулки для и Лазарь. Взяв у отца ключи от мастерской-подсобки, Николка занялся своим делом, которое спорилось и вскоре завершилось. В машинном зале никого не было, поэтому Николка с ключами поднялся на открытый мостик, что на самой верхушке башни маяка с ревуном галереей опоясывал все ее наружние стены. Выбрался на мостик и замер в невольном восторге. С высоты маяка и без того стоявшего на верхушке сопки чудесная, хоть и бесконечное число раз виданная картина развернулась перед ним: сквозь высоко летящие на свинцово-синем небе мрачные, темно-пепельные тучи временами показывалась верхушка солнца — со стороны материкового берега. А опустив глаза с неба, видел Николка застывшую картину... нет, не картину, на тех всегда выписана перспектива, а здесь была настоящая икона: прямо от берега их острова, что в двух десятках шагов от маяка, уходила вдаль и чуть поднималась вверх доска этой самой иконы. Нарисована была на ней замершая, иссине-черная вода залива, расширяющая заснеженные скалистые берега по мере выхода к полярному морю. Белыми шапками рассыпались по этой воде островки. На дальнем расстоянии смотрелись неподвижными и корабли, спешащие по своим делам: сухогрузы и рыбацкие сейнеры, распластавшаяся подводная лодка и словно парящий над гладью залива эсминец с гордо поднятым форштевнем... Дух захватило у Николки от этой, рукой Верховного мастера написанной величественной и суровой иконы...

Верхушка солнца задернулась тучей, икона помрачнела, насупилась, а Николка явственно расслы-

шал слова Лазаря: они с Андреяном стояли за углом маячной башни на том же мостике.

— ...Конечно, заводы уральские, Днепрогэс, Кремль и Исаакий — красиво и мощно смотрятся, но ведь только здесь, на краю света понимаешь всю державную силу создателей государства в стране, которую я, да и ты в малолетстве, застал еще лапотной и неграмотной. Ведь еще каких-то тридцать лет назад здесь ни души не было, ни единого оконного огонька ночью; даже рыбацкие шнявы только летом и можно было увидеть. Пустыня каменистая и дикая! А сейчас вот мы с тобой здесь стоим, в заливе круглосуточно корабли и суда теснятся, города стоят, в каждой губе — база военно-морская, жизнь кипит не хуже, чем на Большой земле. По радио сейчас модное слово все талдычут: цивилизация и цивилизация! А вот она, настоящая цивилизация советская, русская: мощная, военная, трудовая...

— Ты, Лазарь, не хуже политработника речи научился двигать,— усмехнулся Андреян.

— Жизнь заставила. А здесь, кроме как высоким штилем, и не скажешь. Я вот радуюсь, восхищаюсь — но и грущу. Неспокойно мне за будущее, слишком все хорошо в жизни наладилось, а так вечно не бывает.

— Это ты об Америке, о кубинских делах?

— Так... обо всем. Ты, Андреян, счастливой жизнью почти четверть века живешь, как судьба сюда занесла: несмотря на войну, неустроенность полуказарменной жизни, голые скалы и полугодовую ночь. Потому как здесь царство бога Марса, где начальство за тебя отвечает, а воинская дисциплина упрощает жизнь. Да и лишних людишек здесь нет — лишних по подлости, по воровству, по болезненности наконец.

Но ты-то ладно, за половину жизни уже перешел, а вот ребятам твоим будет трудно, когда попадут в иное течение на Большой земле. Переустраи-

ваться тяжело, ох, тяжело им будет! И что-то у них впереди? Дело все, Андреян, не в Америке. Америку и все эти европы с азиями мы сейчас наследством Иосифа Виссарионовича с его пятилетками, заводами, ракетами и бомбами атомными, а главное — народом образованным и трудолюбивым, за глотку твердо держим: не шелохнутся против нас. Как-никак полумиром владеем! Дело все в людях, увы... В каком-то смысле и весь наш народ, особенно два последние поколения, что после революции на свет появились, в таком же отчуждении от действительности живут, как ты вот здесь. Отвыкли опасаться чего-либо и кого-либо. Расслабились душой, посмеиваются над предупреждением Вождя, а ведь он страшные в своей правдивости слова сказал: «Классовая борьба будет нарастать по мере приближения к социализму». Только гениальный провидец мог до этого додуматься. Ну не зря же, как я в одной газете читал: подсчитали досужие архивисты, что в кремлевской библиотеке Сталина пятнадцать тысяч книг с его карандашными пометками! А враг-то не дремлет; я имею в виду не кого конкретно, а того самого врага человечества, что церковники Антихристом зовут (на девятом десятке лет жизни, уже проживая в Ленинграде, Лазарь стал церковным старостой). Вот и нынешние хрущевские штучки, разоблачения эти всякие: гулаги, лагеря.. Мне-то, как побывавшему в этих самых лагерях и по ту и по эту сторону, так сказать, лучше знать. Многих, может быть и напрасно туда засадили, а вот еще более многих напрасно туда не заслали! Они же и подставляли вместо себя маловиноватых. Такие затаились. Ждут своего часа — не сами если по старости, то через детей и внуков своих, которым через кровь передали ненависть к равенству и жадность к деньгам и власти. Вот и боюсь, что еще одна-две встряски типа нынешней — и прогниет власть, а ее-то

уже надежно подхватят эти самые сыновья и внуки. Эк, разговорился,— Лазарь хохотнул и говорил уже в шутливой своей манере,— я тут четвертиночку прихватил, на море спокойно, тумана нет, снег сегодня не пойдет, так что бдительность свою стопкой не ослабишь! Пойдем-ка в помещение спустимся.

Николка услышал хлопок двери, что вела с мостика в помещение смотровой рубки, выждал пару минут и пошел следом — отдать ключ.

♦ Верный друг Николки и утешитель, подсказчик и веселый фантазер — его он в эту ночь и вовсе огорчил. Снился сон, о котором он на утро забыл, но вспомнит много-много лет спустя в так называемые «лихие девяностые». Привиделась давешняя древняя картина-икона, которой он восторженно любовался с мостика маяка. Но застывшая икона вдруг пришла в движение: гулко бухавшая дизелем подводная лодка, чем-то подтолкнутая снизу, из глубины вод, гигантской играющей рыбиной выпрыгнула, переломилась надвое и ушла навечно в глубину; торговые суда вмиг покрылись ржавчиной неустроенности и на глазах рассыпались; сейнеры, шедшие в Мурманск с уловом трески, получив команду по радио, резко повернулись и потянулись к выходу из залива: повезли продавать за доллары рыбу норвежцам, а красавец эсминец, шедший в океан на боевое дежурство, застопорил ход и поднял флаги расцвечивания. Вышедший из-за угла маячной башни Андреян, бывший флотский сигнальщик, поднес к глазам бинокль и вслух прочитал: «Приказано сдать эсминец на утиль. Погибаем, но не сдаемся!»

Бинокль перенял Николка и со слезами смотрел, как медленно тонет корабль с открытыми кингстонами, команда в парадной форме одежды, офицеры с кортиками — стоит по стойке смирно, а безветренный воздух донес до острова слабые, еле уловимые голоса моряков, поющих «Варяга».

Налетел на тихую и спокойную картину-икону ураган, небо закрылось черным сплошным тучами, завыло, загрохотало, море опрокинулось на небо, а по нему носились какие-то рожи, отмеченные всеми пороками; рогатый дьявол, сыпя искры, хохотал во всю глотку, развязал свой заплечный мешок, из которого с восторгом посыпалось на мир войско Антихриста: с каиновыми отметинами на лбах, с одутловатыми пьяными харями, с щетинистыми бородками, с усами и без них, сонмы коротеньких пузатых генералов, орды вороватых молодых мужиков с оселедцами и бородками на кадыках. А над всеми ними, паря на вонючем, изрыгающем нечистоты, грязном и облезлом облаке, плясала и пела старая патлатая ведьма...

Однако наступившее утро, быстро перешедшее в полдень, было великолепным, с загоризонтным подсветом невидимого солнца, легким морозцем, предвещавшим обильный и пушистый снегопад. Этот светлый день в полярную ночь сбил воспоминания дурного сна, Николка забыл о нем на целых тридцать лет. Эти-то долгие годы он радовался жизни.

ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА ПОЛУШКА, ДА РУБЛЬ ПЕРЕВОЗУ

♦ Как в корень мать смотрела своей присказкой о телушке, предупреждая надоедливо Николку, возвращаемого с двумя младшими в интернат после каникул или просто выходных на Большом Оленьем, нарочито втолковывая: «Не вздумай с ребятами идти зимой на выходной домой, когда мы не знаем! На перейме-то всегда на Екатерининский и переправитесь, а вот с него на наш остров? Кто вас на берегу в темнищу-то разглядит? Так и замерзните. Телефон сейчас, после съезда с острова батареи и снисовцев, совсем плохо работает. Но если так уж приспичит

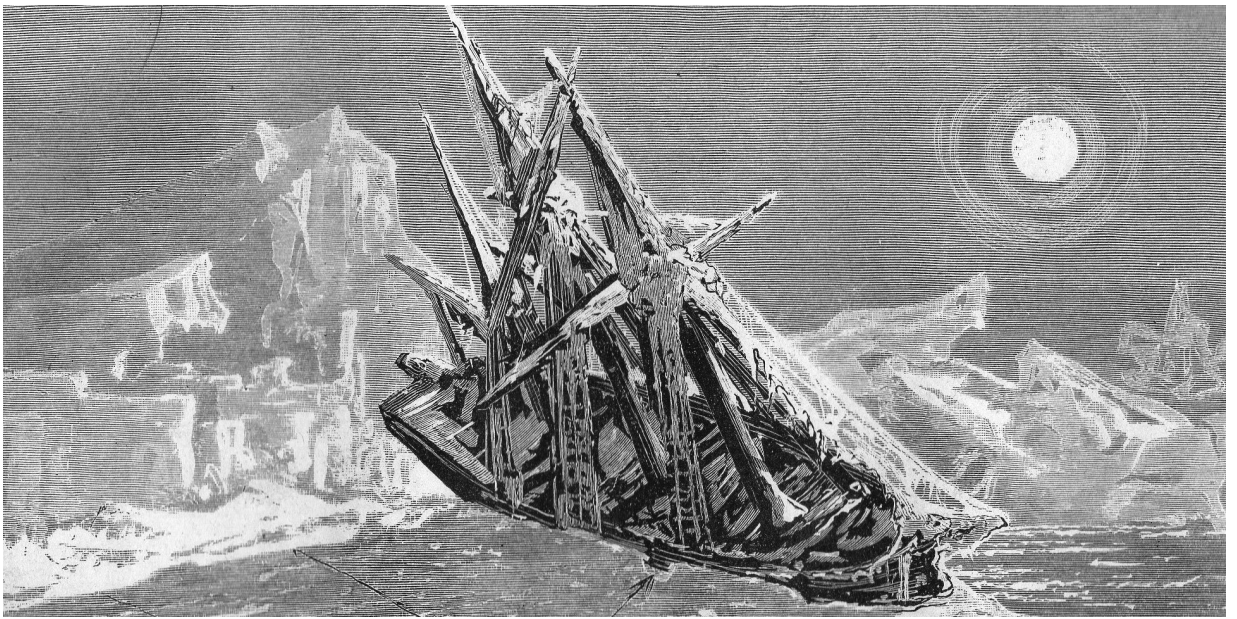
домой в субботу на воскресенье придти, то лишь если дозвонишься!»

И только что гостевавший у них на острове бывший энковэдешник Лазарь Федорович, человек в своей жизни повидавший, что называется, за троих и того парня, ненавязчиво, вроде как к случаю, поучавший племянника к осторожности своих поступков вообще, а в диких этих местах в особенности, наставлял: «Семь раз отмерь, прежде чем отрезать будешь! Житье ваше здешнее вроде как по накатанной идет; военно-морским уставом все шаги заранее расписаны, но в то же время полярная ночь и вьюги, туманы липкие и шторма, малолюдье, а то и вовсе безлюдье, где пешкодралом по пояс в снегу пробираться нужно... словом, трижды оглянись округ себя, прежде чем что-то замысленное исполнять. И помни, как в армии матерый ротный старшина солдат-первогодок поучает: инициатива наказуема!»

И надо же такому случиться, что не прошло и половины месяца после *убытия*, говоря по-уставному, с острова Лазаря Федоровича, как, словно проверяя Николку на осторожную сообразительность, его инициатива была наказана. Дескать, запомни на всю жизнь! Правда, урок этот ограничился пережитым страхом за себя и братьев, оставив на долгое время малоприятные воспоминания: дурака не палка, а жизнь учит...

♦ Историчка Наталья Капитоновна к концу урока совсем зачастила. Ее тоже манило на улицу едва не первый раз за полярную зиму выскочившее напоказ из-за низких береговых сопок солнце. Растерянно и неприкаянно висело оно в полуметре над синей, свинцовой водой, прямо в воротах пролива — между пирсами катерников и островом Екатерининским. А тридцать пар ребячьих глаз жмурились на отвычный свет... кроме Сашки Белозерова, накануне проводившего на дому естествоиспытательский опыт

Забытое становище



Китоловный корабль, затертый льдами и покинутый экипажем

по практической химии с самодельным порохом. Поэтому он скучал у окна на задней парте в черных с прозеленью очках, с истыканной синими точками левой щекой. Было ребятам совсем не до заговора древнего Луция Катилины.

Школьная сторожиха и та увлеклась невиданным два месяца кряду солнцем. Наверное поэтому, услышав звонок, Наталья Капитоновна вроде как мимолетно обрадовалась, но и подозрительно взглянула на свои часики. Класс роем вылетел в коридор. Только две отличницы внимательно записывали в дневники указания насчет домашнего задания.

Рядом с раздевалкой задумчиво прильнул носом и щеками к запотевшему оконному стеклу, сам взопревший в ватном, сверх размеру долгополом пальто «на вырост по наследству», Николкин первоклассник-брат Сережка. Розыскав в давке пальто, подняв с пола слегка притоптанную рыжую, с коричневым кожаным верхом шапку, схватил вздрогнувшего Сережку и потянул за собой на улицу. Приказал: склонного к ангинам рта не раскрывать, мороз!

Интернат находился в ста метрах от школы, потому взрослым ребятам считалось неприличным застегивать пальто; Сережка же тащился зигзагами, норовя подобрать валяющуюся вдоль дороги дрянь: спичечный коробок с лаковой наклейкой «Мастера Мстеры», половинку от бельевой прищепки или жухлую папиросную пачку. Подцепил и ценную вещь — никелированный колпачек от авторучки высокого класса. На всякий случай Николка его отобрал, Сережке же дал взамен леденец в обертке.

Славка в долгом ожидании слонялся по интернатской открытой веранде. Он пинал валенком балясины перил, горделиво посматривал на топающих во вторую смену третьеклассников. Его такая участь сегодня не ожидала. С дороги приметив среднего брата, в который раз со вчерашнего вечера Николка

ощутил на щеках стыдливый жар, вспоминая против воли отгоняемое в мыслях, неприятное. Накануне ходил домой к Славкиной уже учительнице Анфисе Петровне, отпрашивал его на субботу с уроков. Дескать, мать домой на выходной велела приходить — шитье на младших примерить. Хотел вчера ее в школе застать, пришел вроде рано, с запасом по времени, но в дверях наскочил на бегущий третий «В». Сам Славка довольно сообщил: отпустили на час раньше, а учительница уже ушла.

Анфисин дом был рядом, но пошел только вечером. Всех интернатских — от пятого класса и выше — послали откапывать от снега школьную теплицу. Зимой в ней жили бродячие коты. Отыскав квартиру хорошо ему знакомой учительницы — с первого по четвертый сам учился у Анфисы Петровны,— разобрался со многими коммунальными звонками, надавил кнопку: вторую снизу.

— Ты ко мне? Что случилось! — Дверь открыла сама Анфиса.

Минуту Николка путался в словах, пока учительница не уяснила, чего от нее хотят. В мыслях домашней Анфисы, верно, было иное, далекое от школьных слов и забот, поэтому она сразу разрешила Славке не приходить завтра в школу. Для вящей убедительности, показавшейся необходимой, брякнул, дескать, загодя сказал директорше интерната, что в субботу, еще до обеда, идем на выходной домой. То же передал в столовую. Теперь нас по «калькуляции» кормить два дня не будут...

— Ах, да... Ну, конечно, не будут. Хорошо, хорошо, идите. Только теплее оденьтесь. Директору не забудь напомнить еще раз, что уходите. Она, верно, забыла уже?! — заулыбалась Анфиса.

...Братья под Николкиным присмотром бодро, охотно принялись собираться. Натягивали под валенки по две пары носок, перепоясывали свои долгопо-

лые пальтушки матросскими ремнями с бляхами. Положив в маленький вещмешок белье для стирки, дневники всех троих и взятую позавчера в школьной библиотеке книгу Джека Лондона, навесил сидор на Славку. Собрался сам было влезть в валенки, но вспомнил, что девчонки их класса (кроме отличниц) подбивали друг друга после уроков идти артельно в кино на новую картину «Девчата» с Надеждой Румянцевой в главной роли. «Север» был на нашем пути, никак не обойдешь его стороной. Подумал, надел самые толстые, материной вязки длинные носки, на которые с трудом налезли ботинки, что были на размер больше. Оставил ребят на интернатском выходе. Пошел искать директора на хозяйственном первом этаже, но встретил только старшую воспитательницу Беллу Нурьевну, второе по значимости лицо. Белле сообщил: идем на выходной домой. Все трое. Мать велела.

— Вас встретят? Звонил домой? — Нурьевна, даром что молодая, все помнила. С маяком из города есть связь, правда, дозвониться через коммутатор военной части до начальника маяка Седалина было сложно. Телефона Николка боялся, звонить от непривычки как следует не умел, а теперь и вовсе было незачем. Приходившая во вторник в город мать — кончился чай, а у отца папиросы — наказывала на выходные пока не приходить. В пролив между островами нагнало льдин, шлюпке не пройти, сами с палками да в отлив еле-еле прошли по осевшим на перешейке льдинам. Обратно подгадали: на гидроотдельском катере подбросили. А еще Нурьевна не знала, что уже с месяц связи нет. На перешейке размыло кладку столба и тот повис на перепутанных проводах.

— Еще померзните, утоните где нито, не дай бог... лучше переждите. Скоро праздник, придем за вами,— говорила мать.

— ...Встретят. Звонил. До свидания, Белла Нурьевна!

— Счастливо, ребята. Уй, как холодно сегодня, солнце как в горах: светит, а не греет. Смотрите, не замерзните.

Нурьевна зябко поежилась в накинутом на плечи меховом кожаном пальто и ушла в директорский кабинет на затренькавший телефонный звонок. Была она осетинкой и, как все учителя и воспитательницы, женой флотского офицера. В школе же вела географию и историю в старших классах.

Вышли из-под теневой стороны интерната. Солнце светило искосо, играя на чистом, нетоптанном снегу переливами скачущих зайчиков, потухавших на взрыхленных сугробах вдоль тропинок. Светить и играться ему на сегодня оставалось недолго. Установил ребят на дистанцию — десять шагов после себя, чтобы не конфузили взрослого пятиклассника своими валенками, ремнями с бляхами и сопливыми носами. Миновали школу и «Север». Сеанс должно быть начался, девчонок не видно, поэтому дистанцию сократил вдвое. На тумбе кинотеатра наклеена совсем новая афиша, что-то о концерте ленинградских скрипачей. Из бокового служебного входа выскочил налегке, в одном пиджаке, директор «Севера» Оффенштейн, перебежал через дорогу в «Ягодку». Это еще с тридцатых годов, как рассказывал отец, знаменитый на весь Северный флот ресторан. Ныне, после введения в гарнизонах сухого закона, «Ягодка» осталась городской столовой с фирменным рулетом из кролика. Оффенштейн организовывал в школе кавээны. Старшеклассницы восхищались его лаковыми туфлями, по-актерски подбритыми усиками.

По свежерасчищенным деревянным мосткам, заменявшим в городе тротуары, прошли мимо замерзшего до дна неглубокого озера. По льду, готовя к вечеру каток, спиральными, суживающимися с каж-

дым оборотом кругами бегал грузовик со скошенным скребком. Двое рабочих разворачивали шланг для заливки. У края озера, где начинался Чертов мост, ребятня с Корабельной улицы гоняла клюшками рубчатый хоккейный мячик. Один ребятенок хныкал, прикладывая краснеющий на глазах снежок к подшибленному носу.

♦ Деревянный Чертов мост соединял Новый и Старый Полярный. Он почти на треть километра опоясал склоны двух сопок и ложбину, состоял из трех сотен ступенек и десятка площадок-настилов, на которых были даже устроены скамейки для запыхавшихся ходоков. В этот веселый час мост стонал и ухал: «партизаны»-стройбатовцы сшибали слежалый, утоптанный в лед снег. Разбившись по трое на один лом, служивые на счет «раз-два-три» с размаху били тупым концом по доскам моста. Доски пружинили, отстреливая отскакивающий лед.

— Губа по вам плачет! — увертываясь от сверкающих ломов, скользя на зыбких горках ледяных блямб, гаркнул сивоусый мичман, шедший нам навстречу. Узбеки-чернопогонники ухмылялись озорно, делая вид, что не понимают о чем «сундук» кричит. Все в поту, вползли на сопку Старого города, однако остановиться перевести дух было некогда. Потянуло блинным запахом от ближнего к мосту финского домика. Домой! Сердце колотилось. Не от лестничной круговерти Чертова моста, а от наплывшего с блинным запахом скорого видения дома, его тепла, ворчанья матери и разлатанной отцовой бороды. Потому-то, истосковавшись по дому, когда море заштормит на месяц, завоет сечка-пурга, Николка отправлялся в Старый Полярный вроде как в райбиблиотеку, на деле же — ближе к дому. Бродил под вой ветра по единственной улице, а ноги сами несли все туда, на конец города, к берегу, что заканчивался переймой — перевозом на Екатерининский ост-

ров. В мыслях же велись в лицах самые оживленные разговоры. Мать с отцом вспоминали житье-бытье по разным маякам от Ретинского до Седловатого и нынешнего Большого Оленьего. Раз в неделю маячников собирал в пекарне Седалин на политзанятия. Ребятня в этот зимний вечер сидела по лавкам на холодной застекленной веранде общего маячного дома. Играли «в разговоры» и уносились в словесных мечтах туда, где гудят паровозы, сигналят машины, текут большие и теплые реки, а по освещенным улицам идут люди, люди... Это вот главное — людей в их жизни не хватало: дома на острове. В городе же они были только в гостях. Много лет в гостях.

Тяжело заработанное тепло дома, а в мечтаньях о нем — еще теплее. Потому-то хмурилась мать раз в три года, отводя очередного своего первоклассника в город.

— Как они там с отцом вдвоем-то, без нас?

♦ От мысли пройти коротким путем по верхушке сопки с разбросанными как попало редкими финскими домиками, что именовались улицей геройского матроса Сивко, сразу отказались. В последнюю пургу снега навалило по пояс. Пошли по чищенным мосткам главной и единственной настоящей улицы Старого Полярного. Проходя мимо бревенчатого магазина, порылся было в карманах, проверил у запасливого Славки, но найденных медяков не хватало даже на карамельки. Миновали почту, гражданскую районную больницу, столовую и последний с этого края города дом — халупу деда Мостовникова. Предки бобыля-комяка когда-то забрели со своими оленями в этот лопарский край. Дед Мостовников скупал от Вторчермета металлолом, что громоздился сейчас снежными курганами за изгородью из горбылей. Сам Николка сбывал ему порой дорогой свинец, содранный с обрубков подобранных у телефонной станции кабелей.

Солнце расплывалось над горизонтом в седом предвечернем мареве. Щеки покалывало туманной изморосью. В самом воздухе чувствовалось некоторое недоумение; мороз не разрешил еще с поземкой: чья сегодня очередь дежурить? Сразу за хозяйством Мостовникова деревянные мостики чередовались с крутыми ступеньками и взбирались через небольшие сопки на береговую скалу, что высоко возвышалась над городом и проливом со всеми его бухтами и пирсами. По гребню горы Энгельгардта, как ее называла все знающая Наталья Капитоновна, прошли, отворачиваясь от сильного верхового ветра. Миновали намертво вделанные в гранит огромные якорные цепи, что ломаным полукругом охватывали груду цементно-каменных глыб. То были остатки взорванного несколько лет тому назад постамента с вырубленными, метровой высоты буквами — словами Сталина. Вождь побывал в 1933 году в нашем городе, тогда еще Александровске, вместе с Кировым и наркомом Ворошиловым. То было начало Северного флота. Затем по самой крутой, с боковыми извивами, лестнице спустились на бревенчатый, обросший по краям льдом, качающийся на небольших волнах, закрепленный на якорях пирс. Воздух густел, синел. По проливу катился клубами из узкого горла туман. Вокруг ни души. Только на противоположном островном берегу с несколькими домиками и метеопостом бегали с санками двое мальчишек.

— Эй, на перей-ей-ме-е! — для почина крикнул Славка,— переве-е-езите-е-е!

На том берегу взлаяла мелкая собачонка Терентьевых.

— Ишь, смотри, лавкает! — обрадовался Сережка, никак не хотевший отвыкать от детских словечек-перевертышей. Мальчишки посмотрели в нашу сторону, тут же забыли, занялись своим делом. Потом, надсаживаясь, кричал я. Тихохонько подкрики-

вал Сережка, склонный к ангинам. Пришлось перевязать ему шарф, закрыв наглухо рот. На время пришлось сделать перерыв. Со стороны Кольского залива с гудками вошел на внутренний рейд буксир. Пирс запрыгал на откатившихся от буксира волнах. Славка с Сережкой мигом взобрались на трап, там было интереснее всего. Деревянная лестница с пирса на берег ходила ходуном, скрипя на шарнирных болтах. Еще с десяток минут криков и от противоположного причала отвалила шлюпка-двойка с матросом на веслах и мичманом на кормовой банке. Шлюпка подвалила к пирсу, безусый первогодок подтабанил веслами, а Николка со Славкой подтянули на себя корму. Мичман спрыгнул на пирс, махнул рукой матросу, подмигнул ребятам и взбежал по трапу.

— Куда направились, пацаны? — матрос с нарочитой скукой наблюдал, как Сережка в своих неуклюжих валенках, цепляющихся за полы пальто, переваливался в шлюпку.

— На Большой Олений. Домой.

— Ну, поплы...— тут первогодок заметил Николкину радостную ухмылку, изобразил суровость лица,— пошли, ребята. Ты, парнишка, дуй на носовую, да за борт не вывались! Отвечать за вас...

♦ Через десять минут поднимались по крутому береговому склону острова Екатерининского. Тропинка до метеостанции начерно протоптана поверх ступеней лестницы. На середине подъема она перешла в неровную полузаметенную тропку. Пришло время заправить брюки в носки и покрепче перешнуровать ботинки, выскребав набравшийся за голенища снег. Поверху стлалась поземка. Впереди белел, сколько глазам хватало, снег пологого спуска с двумя парами недавно — не успело совсем замести — протоптанных следов. Еще дальше, за полоской темной воды, еле виделся Большой Олений и только спичечный коробок маячного дома с горошинами хо-

зяйственных построек. Сердце заколотилось, но стуком веселым, не щемящим. На душе так легко стало, что щеки и нос перестали чувствовать, как неприятное, сечку жесткого, оледеневшего, сорванного ветром с наста снега поземки. Гуськом, наклонив лица, упрятав их от жалящего, как оводы, снега, пошли по протоптанным следам; скорее их угадывали, нежели различали. Вскоре угадывать стало нечего: следы свернули вправо к бухте с илистым обрывом. Шли по чистому снегу с корочкой затвердевшего наста, что со стеклянным звоном ломался под ногами. Стеклянные корочки набивались за голенища ботинок. В который раз Николка пожалел, что пофорсил, не надев валенки. Можно было ведь и на перейме зайти к давним отцовым знакомым в их дом: переобуться у них — попросить какие-нибудь развалюхи...

Позади пыхтели, проваливались по колено в снег, ребята. Погоревал о валенках, сообразился с обстановкой и первым поставил Сережку. Далее — Славку, сняв с последнего сидор. Сережку наст выдерживал, Славка проваливался на третьем-четвертом шагу, Николке бог велел терпеть.

Поземка усиливалась. Со стороны моря, на входе в Кольский залив, набухала нехорошая, иссиня-черная туча. Обещала снежный заряд на суше и шторм на море. Туча летела разлаписто, на глазах все больше и больше захватывала серое пепельное небо, шевелилась по краям, как птица-чудище Кеенгланд, что поедает целиком оленей, хватает одной лапой и уносит к себе в горное логово ошкуев*. О птице Кеене рассказывал старшему брату Тольке последний лопарский сказитель Трофим Лоушкин из становища Еретики. Заезжая раз в год-два домой после очередного списания на берег за неправильное пове-

* Белый медведь (новгородск.-поморское, бытующие до сих пор в становищах на Мурмане).— Прим. авт.

дение, брат рассказывал что-нибудь из сказок Лоушкина. Сказки, впрочем, все вились вокруг некогда бывшего нашествия шведов на имандрскую лопь и великого побоища у Кандалакши лопарей с пришедшей из Корелы чудью... Других заметных событий в тысячелетней истории лопарей не было. Русские, владевшие краем издавна, никого здесь не били. Бог пурги Бодомай и добрый хозяин хорошей погоды Олкан, вкупе с божком Родиеном берегли утлый угорский народец от бурной истории. Толька заезжал в минувшее лето. Списали лихого молодого боцмана с линии Владивосток-Шанхай за отсутствие чувства интернационализма. С Китаем еще не закончилась великая дружба. Всем советским запрещалось ездить на дешевых рикшах, а предписывалось пользоваться при необходимости дорогими такси. Брательник же, изрядно подгуляв в кабаке, по широте души нанял сразу тридцать рикш: дать подзаработать братьям-китайцам... И с почетным экскортом прибыл на причал, прямо под трап сухогруза, с которого спускался советский консул...

Прожил он дома месяц, научил ребят бить самодельной острогой камбалу в отлив на песчаном перешейке. По вечерам в десятый раз перечитывал ветхую книжку «Кентерберийских рассказов» с весьма натурными иллюстрациями Доре, а затем уехал в Мурманск. Осенью получили письмо: боцманит на лесовозе. Забегая вперед в воспоминаниях Николки: приключения Тольки не закончились. В Пирее устроил образцовую драку «команда на команду» с дерьмастыми янки и был окончательно списан на внутренние линии. Плюнув на каботаж, брат пошел на судно бескабельного размагничивания подводных лодок. Впрочем — это тема бесконечная.

...Сейчас же Николка готов был молиться всем лопарским богам, чтобы они пронесли разлапистую тучу по краю неба. Здесь еще шедший впереди Се-

режка захныкал. Он додумался, что если нападет россомаха, то первым слопает его. Ни больше ни меньше. Чуть повеселели, когда пошли обрывистым краем шлюпочной бухты. На берегу ее бог знает с каких времен сохли просоленные, потому не гниющие десятилетиями ребра большой ёлы*. Илистый обрыв появился прошлой весной. Во время особо сильного майского шторма волны обрушили тысячетонный намыв древнего закаменевшего ила, вынесенного сбегавшим меж сопок ручьем, некогда и речкой, о чем говорили истлевшие сваи семужьего забора с остатками мостков-рюриков, с которых русские или норвеги вытаскивали застрявшую в плетне рыбу.

Было от чего повеселеть. В полукилометре, на отмели бухты топтались двое мужиков с ружьями: то ли гаг поджидали, а может выдру караулили. Но мужики беды чуть не натворили. Как только поднялись на гребень предпоследней на пути сопки — Николка уже по пояс в мягком с подветренной стороны снегу протаптывал тропу,— как что-то свистнуло мимо ушей, а со стороны бухты послышался слабый хлопок мелкашки. И снова — свист и хлопок.

— Ложись, ребята! — И Николка, как в перину на гагачьем пуху, ухнул в снег. Зарывшись в сугроб, хныкал Сережка. Еще пару раз просвистело. Видно — шнурком вспорхнул снег в полуметре поверх моего носа.

— Да замолчи ты, балбес! Сам же сообразил: городские охотники, разглядев сквозь редкую поземку на гребне сопки рыжее пятно его злосчастной шапки (ведь упрашивал, упрашивал мать купить кроличью, что все ребята сейчас носят!) и не подозревая, что в такую непогоду еще кого-то занесет нелегкая в безлюдную часть острова, впрямь решили,

---

* Местное название большой шлюпки, баркаса.— Прим. авт.

что в снегу резвится россомаха. Ноги в стесненных парой носок ботинках закололо, ждать далее было невтерпеж. Пришлось резко вскочить, сорвать ненавистную шапку, замахать ею. Что было голосу, пустил матерком в сторону бухты.

Еще напоследок свистнуло — чиркнуло у ног, но уже мужики пригляделись, успокаивающе сделали отмашку поднятыми вверх прикладами винтовок. Впрочем, пугаться и обсуждать было некогда. Погрозил кулаком, присовокупив словесно, пошел дальше протаптывать снег. Через четверть часа одолели последнюю межсопочную лощину. Оглядываясь, видел только Сережкину голову. Тот уцепился за ремень среднего, а Славка держался за сидор на Николкиной спине.

Солнце, давно скатившееся за горизонт в разрастающей туче Кеена, спешившей пожрать ребят, еще давало какой-никакой свет. Остров, совсем близкий, плавал в плотной, с моря и с воздуха, синеве. В окнах маячного дома — уже с папиросную пачку — загорелись неяркие огни. Со стороны моря, на выходе из залива, ударил снежный заряд, тоскующе заныл дальний маяк, затем наутофон Большого Оленьего, через десять миль от него, ближе к выходу в море, ответила густым басом сирена Седловатого. Загудели, заскрипели, завыли, каждый только на свой, определенный ему лоцией голос, все маяки побережья и островов.

♦ Пролив между Екатерининским и Оленьим впрямь был забит льдинами, но уже не сплошняком. В широком месте коридором в пару кабельтовых спокойно стояла чистая вода. Берег под ногами круто обрывался, нависший с него снег размахренным обледеневшим веником страшновато синел в темной воде. Ни единой живой души не виднелось на острове, да и не могло виднеться иначе как в жилой его части — на противоположном к проливу берегу.

Прилив рокотал в полную силу, перешеек залило, вода оттеснила с песчанной насыпи осевшие в отлив льдины. Напротив лежали вверх днищами на отмельном берегу полузанесенные снегом шлюпки. Воздух синел и темнел на глазах, сгущался туманной влагой в приутихшей было поземке. На бодрые поначалу крики и свист обратил внимание только выплывший из-за поворота берега тюлень, с любопытством уставивший на ребят свою гладкопесью морду. Неодобрительно крикнули пролетавшие с добротной кормежки чайки-клуши. Из-под навеса снежного берегового полога испуганно выплыла невесть зачем затаившаяся пара бакланов. Жизнь-то вокруг кипела, да не наша, не человечья. Вскоре тюленю надоело нас слушать. Он скрылся в теплой для него воде, чайки улетели, а бакланы заплыли за береговой поворот подальше от неспокойных соседей.

Ноги совсем закоченели, страшно захотелось есть. Братья притихли, усевшись в вытоптанной ямке на сидор, сами похожие на медвежат, облепленные от ног до шапок смерзшимся снегом. Голос Николки осип от надсадного крика, руки заныли от беспрерывного маханья, свист больше не получался: щеки и губы задеревянели на морозе. На счастье ребят туча, до полной темноты вычернившая три четверти неба, медлила со снегом, пожалела что ли островки в море, без того сами как крутобокие снежные комки, что сваляли досужие ребята и побросали на гладкий синий лед. Одно было ясно: обратно не дойти, сил у ребят нет, да и замерзнуть недолго. Темнота все ускорялась, маячный дом виделся головешкой в тусклом снегу, все резче выделялись огни в окнах. Еще немного, с полчаса, и на посеревшем снегу острова, где-то в самом его дальнем конце будет светиться, пробиваясь через густую ночную изморось, неровный, слабый и расплывчатый огонек. Потом ударит заряд, все скроется с глаз... Сережка ревел

сначала в голос, потом хныкал тягуче, в перерывах хлюпков что-то шептал Славке. Того потянуло в сон. Он попытался умоститься поудобнее в вытоптанной ямке. Пришлось поднять легким пинком. В последнем, отчаянном крике, почти вое, зашлись все вместе. Налетевший ветерок сдернул с чистой воды пролива редкий туман. Ударил малый заряд, засекло щеки и глаза косым, низко летящим снегом. Далее кричать бесполезно. Все скрылось, виднелась лишь просекаемая снегом вода и краешек противоположного берега с полузанесенной шлюпкой. Снег закручивался вокруг нашей берлоги. Николка приутих: что делать? Сквозь неровный посвист поземки, дробный стук прихлопывающих друг о друга подошв ботинок, мягкий шум падающего в яму на шапки и пальто снега неслась разноголосица надрывных маячных звуков, густых торопливых гудков рыбацких сейнеров, шедших из Мурманска в море и далее в Атлантику на промысел. Небо над головой — черное, мутное от крутящегося снега, очень близкое. Так вот мать в непогоду и говаривала старую поморскую присказку про расстояние от Колы до ада... Только сейчас почувствовал Николка этот ад.

Потоптался Николка, чуть разогрел ноги, присел обок задремавших с открытыми глазами ребят. Едва присел, как самого повело в приятный морозный сон, когда чувствуешь теплое-претеплое внутри, а поверху, как коркой замороженного пирога, покрыт нечувствительной ледяной пеленой. Представилось, отразившись, как на экране, на редкой завесе снега, падавшего уже не сбоку порывами, а сверху с неба густыми хлопьями: они уже дома, печка трещит поленьями из высушенных за лето, выброшенных в майские шторма на берег бревен, из «Родины» доносятся раскатные голоса, мать растапливает на печи лед для воды, отец на вахте на маяке. На подоконнике пять десятков заряженных ружейных гильз, ма-

шинка для набивки папирос, на этажерке большая стопа одинаковых на вид книг с романами Золя. Отец взял на чтение месяц тому назад у городского его приятеля, гражданского фельдшера Базарного. Выходишь на холодную веранду и видишь в темноте черным отработанным машинным маслом перекатывающуюся воду. На блеклом лунном небе многоцветными сполохами играет северное сияние. То змеей изовьется в одну сторону, то жахнет косой стрелой до земли, перепутает все цвета, завертится и медленно-медленно втягивается назад, ввысь, выравнивается, ненадолго зависает дугой над заснеженным островом. Мороз крепчает, зябко! Ребята разбегаются по квартирам, глухо топоча валенками по чисто вымытому досчатому коридору большого маячного дома.

♦ Однако что делать? Прогнал Николка сладкий полусон, растолкал ребят, поднял опущенные на глаза отвороты шапок. Теплые, распаренные, сонные физиономии смотрели на него с недоумением. Где мы? Шлепками и пинками, причем Славка со сна озлился и пытался отвечать тем же, растолкал их окончательно, заставил прыгать в ямке. Противоположный берег еще виднелся. Стало страшно по-настоящему, боязно: как быть? Что делать? Что я вообще натворил!? Очухавшиеся ото сна ребята тоже заскучали, помолчали чуток и в голос заревели. Вот здесь Николке стало страшно-престрашно, ноги задрожали, язык одеревенел, хотелось успокоить ребят, обнадежить, вытереть Сережке нос.

— Не ныть! Черти такие! Назад пойдем. Сходили вот... домой.

Ребята вновь заголосили, зажаловались; вот у Славки руки в худых рукавицах совсем замерзли.— Не надо было в них обезьяной по перилам интернатской веранды елозить! — Сережка сопел и тяжело дышал, ворочаясь в ватном, не по росту — со старшего на вырост, пальто.

— Пошли, пошли! — командовал Николка, а куда идти-то? С берега хоть вода отсвечивает от снега, за спиной же одна серая муть. Поземка начисто замела следы. Куда идти? В этот момент, какой взрослые называют безысходным, а дети не понимают всего трагизма, с последней надеждой всмотревшись в нежить противоположного берега, Николка заметил — или показалось?! — шевельнувшуюся черную точку. Ребята, проследившие его взгляд, тоже всмотрелись.

— Идут!! За нами пришли! Ур-ра! — закричали Славка с Сережкой, опять же в голос, но только уже в другой, не плаксивый.

Действительно, с пологой сопки спускался в сторону шлюпки человек. Уже через пару минут было видно — не глазами различимо, но необъяснимо каким образом было понятно — это отец. Подойдя к шлюпке, он стал всматриваться в сторону берега Екатерининского. Уловив этот момент, все закричали что было мочи. Отец слушал, замерев, но ветер относил крики. Выскочив из ямки на проваливающийся снег, Николка замахал расплющенным сидором, снова закричал, стараясь попасть в промежутки между порывами ветра и гудением маяков. В который раз пожалел, что забыл в прошлый приход дома свой китайский фонарик. Тут же нащупал в кармане спички — не курил, но на севере без них нельзя — слава богу, не отсырели, стал по две-три зажигать и бросать повыше. Наконец отец заметил, то ли услышал, а может для проверки махнул рукой и завозился у шлюпки. Перевернул ее, достал спрятанные уключины и весла, а затем поднапрягся и медленно-медленно потащил шлюпку к воде. Оцепенев, уже не чувствуя мороза и слепящей, по-серьезному разошедшейся пурги, ребята завороженно смотрели, как шлюпка неслышно приближается к ним, одновременно сорвались с места и скатились к пологому берегу,

где приливом слизывало снег с усыпавшей кромку берега гальки.

— Вы чего это пришли? — спросил как-то буднично, подтабанивая шлюпку кормой, отец,— мать же говорила: на следующий выходной придет за вами?

— Да вот... пришли,— отвечал Николка, держась руками за корму, стоя правой ногой на кормовой банке, а левой, замачивая ботинок, отталкивал шлюпку от берега.

Отец неопределенно хмыкнул, посмотрел на небо.

— Хорошо Седалин под вечер пошел на свой огород. Снег у него сдувает — горбыли воткнуть для загородки, да увидел, у него, черта лопарского, глаза зоркие, кто-то машет на берегу. Твои, говорит, верно ребята пришли... а то бы крышка вам! Глянь на небо: сейчас большой заряд ударит. Назад бы не дошли.— Однако слово «огород» в нем и в нас вытеснило все остальное. На всех маяках от Мишукова до Териберки подсмеивались над огородником Седалиным, еще до войны убежавшим, вместе со своим младшим братом, что сейчас на Седловатом, от каких-то своих колхозных грехов в этот неподвластный наркомзему флотский край. Который год он пытался, как и брат, что-то вырастить на здешних скалах, где только-только успевала за лето вырасти с луковичную головку репа. В самые же жаркие года получались считанные карандашные морковинки, а капуста, сколько не бился, вся «выходила в трубу».

Пока догребли до острова, вчетвером на вороте с лебедкой вытащили шлюпку и добрели до дома, совсем стемнело: не столько от наступающей на пятки ночи, сколько от густо повалившего снега. Отряхнули друг друга березовыми вениками от свежего снега. Прежний, примерзший, отодрать ничем было нельзя.— Все это под укоризненным взглядом и словами выскочившей жены Седалина Проси. Вва-

лились, не хуже тех самых ошкуев, в свою квартиру. Мать стояла у печки, размешивая в закипающей воде порошковое молоко. Она неодобрительно посмотрела на нас:

— Раздевайтесь, что встали, лешие окаянные! — И понесло, и поехало, даже зачем-то всплакнула, когда мы, переодевшись в старые сатиновые шаровары и пахнувшие недавней сухостью глажения байковые рубахи, молча уселись вокруг стола с потертой клеенкой. Мать с пристуком поставила три стакана горячего молока и тарелку с печеньем. А мы-то по простоте душевной за наш подвиг рассчитывали на сгущенку!?

— Ироды вы, не подумаете об отце, матери... Кто же вас надоумил в такую непогодь тащиться? Соскучились видите ли, не можете неделю- другую подождать! Господи, чего вам в тепле-то там не сидится: сыты и обуты, чуть не всю зарплату отцову за вас в интернат отдаем, так нет — леший вас домой гонит. Ужо, еще раз чего такого натворите — ремнем выпорю до полусмерти!

И чего она так разошлась? Эка невидаль, домой одни пришли, как будто в первый раз.

♦ Николка вышел в коридор и пробежал, скользя в шерстяных носках по гладкому чистому полу, до веранды. Вопреки словам отца, ушедшего в ночь на вахту, ветер затих, снег перестал падать, а по небу, вспыхивая и стреляя разноцветными стрелками, со вселенским трескучим шепотом играло северное сияние. Дыхание перехватывало от счастья...— Как было в первый день на Большом Оленьем.

«КАКОЕ ЛЕТО, ЧТО ЗА ЛЕТО!..»

♦ «Вам бы вперед затрещину, а сзади тычок! — все продолжала сердиться мать наутро после вче-

рашней их «самоволки» с приходом домой,— никак лета дождаться не можете, все невтерпеж нагулять-ся!» Да-а, действительно, уже не так долго и до лета. Хорошо бы таким оно удалось, как в прошлом году? Николка, доедая завтрак, даже замечтался, вспоминая то прекрасное лето. И учительница на уроке литературы недавно его вспомнила, наизусть прочитав стихи:

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
*Так ни с того и ни с сего?**

— А сама с затаенной улыбкой, вздохнув, долго посмотрела в окно, за которым (урок был первый) непроглядная темень полярной ночи...

В конце июля прошлого года установилась невыносимо жаркая для этих мест погода: ясная, чистая, без намека на дожди. Казалось, даже ночное незаходящее солнце полярного дня согревает холодный край, низко вися над далеким горизонтом.

Семейство Андреяна в этом сезоне ездило в калужскую деревню рано — с конца мая до середины июля. Так график отпусков отвел. А так как до школы оставался еще целый август и неделя оканчивающегося июля, то лето для Николки неимоверно растянулось, особенно-то после калужских впечатлений: жизни в отцовской деревни, где половина жителей — родственники, поездок в Калугу, где несколько крепких домиков в Подзавалье, откуда открывался великолепный вид на пойму реки Яченки и дальний лес, тоже заселяли родственники отца, а главное — купания в полноводной Угре и целодневного загорания на ее песчаных берегах...

Ах, какое выдалось лето!?

С вечера Николка собрался было идти на рыбал-

---

* Стихи Ф. И. Тютчева.— Прим. авт.

ку с полночи в обычное место на небольшом мыске за зданием маяка, но уже на улице, с удочкой через плечо, был остановлен матерью, шедшей от сарая — ходила кормить коз Машку и Дашку:

— Давай-ка возвращайся да спать ложись, Седалин моторку дает, завтра на тот берег залива пойдем за черникой и морошкой.

Вот это да! Николка присвистнул, развернулся, отнес удочку в кладовку в маячном доме. Понимая, что заснуть в одиннадцать вечера все равно не удастся, Николка забежал в свою квартирку, взял книжку «Детство в Уржуме» о Сергее Мироновиче Кирове — из числа рекомендованных в школе на летнее чтение (Николке в сентябре предстояло идти в пятый класс), отрезал от буханки горбушку и еще кусок, положил на них по ломтю вяленой трески и ушел на мостки, полуопоясывающие маячный дом, присел на ступеньки лестницы, ведшей от мостиков вниз, к продуктовому складу, раскрыл книгу и не заметил как пролетела пара часов. Теперь в сон все же потянуло, поднялся и пошел домой. Вроде только голову на подушку положил, а уже мать трясет за плечо:

— Вставай, Пряхин с Седалиным уже моторку к причалу подогнали, бабы их уже собрались!

Встать с постели, особенно если лег в час ночи, тяжело, когда сам просыпаешься, но если тебя решительно будят, то дело вовсе иное. Словом, через пару минут одетый Николка, жуя на ходу пирог с рыбой, выскочил вслед за матерью из дома. Понятно, что младших она с собой не взяла. А Пряхина захватила тоже своего Петьку.

♦ Большая маячная моторка, на которой обычно ходили в Полярный, а в хорошую летнюю погоду какая-либо из островных семей — в гости на соседний маяк: Седловатый, Ретинское, Палагубский (семья Андреяна уже успела пожить на всех трех),

управляемая Седалиным, застучала мотором и, огибая по правому борту северную оконечность острова с высоко стоящим маячным домом и пониже, у основания выдающегося в море мыса, зданием маяка, взяла курс на дальний отсюда правый берег Кольского залива наискосок, курсом норд-ост, в сторону губы Большая Волоковая. Снизу, от воды маленькой фигуркой смотрелся Канатчиков, поднимавшийся от причала по деревянным мостикам к маячному дому. С мостика же маяка пару раз махнул рукой Андреян — его вахта была сегодня дневная.

Седалин, как и положено старшине моторки, сидел на кормовой банке. Под правой рукой у него, прижатая локтем, находилась рукоять (леер по-флотски) руля, а левой он что-то подкручивал в моторе, принайтованном к низкой площадке днища в кормовой части шлюпки, так что Седалину приходилось растопыривать ноги в матросских яловых сапогах справа и слева от размеренно стучащего мотора...

На двух средних банках разместились мать Николки, Наталья Пряхина, Анна — жена Канатчикова, Петька, а сам Николка занял почетную носовую банку, свесив к днищу ноги, а сам изогнувшись лицом по ходу моторки, опершись правым локтем о борт. Шлюпка шла на набравших оборотах мотора полном ходе, так что нос частенько и вовсе нависал над гладью воды. Николка же с приятностью качался. Хотя и отмечено, что килевая качка намного неприятнее бортовой, но в здешних местах про морскую болезнь не слыхали.

Остров быстро уменьшался, а его очертания сливались со следующим за ним Екатерининским островом, а тот и вовсе со стороны залива неотличим от материкового берега. Николка вновь развернулся по курсу, тем более, что курс этот явно пересекал ходко шедший на выход из залива эсминец, а со стороны моря неспешно двигался рыболовецкий сейнер. С

военным кораблем не шутят, поэтому, прикинув расстояние и скорости, Седалин сбросил обороты до минимума, нос моторки упал в воду. Через четверть часа всего в паре-тройке кабельтовых прошел неимоверно высокий эсминец, подобранный, с изящно изогнутым форштевенем, с трубами торпедных аппаратов по бокам палубы, со стволами пушек и кассетами установок реактивных снарядов.

— Да-а-а,— протянул Седалин, перекладывая руль и устанавливая шлюпку строго перпендикулярно крутым волнам, шедшим от следа прошедшего эсминца,— хороший флот у нас стал, океанский, а в войну только и были, что миноносцы, от царя еще оставшиеся, тральщики минные да фанерные лендлизовские торпедные катера. Но и с ними воевали на славу! На подлодках и держались в основном.

Моторка закачалась на волнах, нос зарывался так сильно, что лицо Николки близко приближалось к волнам и он чувствовал холод и йодистый запах воды. Однако качание на волнах закончилось, Седалин раскочегарил мотор, шлюпка понеслась, не дожидаясь уже тихоходную рыболовецкую посудину, к приближающемуся высокому скалистому берегу. Но в полукилометре от него моторка опять попала по курсу наперерез — на этот раз стае касаток. Если бы Николка не знал, что эти киты-хищники, которые своими полутораметровыми костяными хребтами-пилами перерезают настоящих гигантов-китов, крайне осторожно относятся ко всем другим плавающим на море предметам, то было бы от чего смертельно перепугаться. А звери эти, каждая размером с их шлюпку, сверкнув над гладью воды своими светло-синими брюхами по правому борту, с плеском ушли в глубину и только через несколько минут, уже метрах в ста слева, мелькнули вновь их хвосты. Более их курс до самого берега никто не пересекал.

♦ По мере приближения моторки к берегу Николка недоумевал: куда будем причаливать? — И прямо, и слева, и справа, как виднелось, берег бурыми отвесными скалами поднимался вверх на сотню с лишним метров, вырастая перпендикулярно из воды. И Седалин что-то засомневался, мотор прикрутил до самых малых оборотов, рулем брал вправо-влево, внимательно всматриваясь в отвесные скалы.

— Ага, вспомнил,— обрадовался он и резко взял влево, а через четверть мили, обогнув выступавшую в залив скалистую косу, ввел моторку в достаточно широкую губу все с такими же высокими и обрывистыми гранитными берегами. Вдобавок губа еще и расширялась вглубь. Седалин на самом малом ходу перекладывал руль, а Николка ахнул от удивления и восторга, когда вскоре от моторки вдруг резко убежали вправо и влево неприветливые, дикие скалы, открыв внутренний залив размером с хорошее озеро. Скалы не только ушли по сторонам, но превратились в обычные береговые сопки, очень пологие, поросшие березками, густым кустарником, перемеживаемые полянками, синевшими северным цветком колокольчиком. Местами берег и вовсе был песчаным. Вот в такой песчаный берег и ткнулась носом моторка. Николка выпрыгнул первым, не забыв захватить моток тонкого причального фала.

Когда все выбрались из моторки на гостеприимный берег, Седалин, Николка и женщины, ухватив цепко фал, вытащили шлюпку на песок на полкорпуса. Седалин поискал глазами, нашел подходящий камень и, обмотав его, зацепил причальный трос: со здешним приливом, особенно в губе, шутить нельзя. Николка пока осматривался и с удивлением обнаружил в метрах двадцати от их стоянки что-то похожее на проторенную дорожку, хотя и не очень ухоженную, скорее широкую тропу, извивавшуюся между каменистыми выступами и неподъемными валунами.

У воды тропка эта заканчивалась невысоким, естественным каменным приступом-причалом.

— Смотрите, дорога! А куда она идет?

— Вот пойдешь по ней и узнаешь,— заухмылялся Седалин,— ну что ж, заблудиться здесь не заблудишься — хоть на километр, хоть на два поднимайся в гору, все одно залив как на ладони будет. Так что равномерно разбредитесь кто куда, не путайтесь под ногами, а ягод всем хватит. Пошли!

♦ Черника, любимая северная ягода, росла, конечно, и на их острове, и на соседнем Екатерининском, но у себя ее объедали маячные ребята, Николка тож, солдаты с зенитной батареи и матросы с поста, тогда еще располагавшихся на Большом Оленьем. А на Екатерининском хозяйничали городские — из Полярного. Здесь заросли ягоды начинались в нескольких метрах от берега. К тому же здесь росла и кустилась костяника, которой на их острове не водилось.

Женщины с малолетним Петькой Пряхиным принялись собирать чернику и костянику прямо от берега, а Николка, взяв свое ведро и грабилку*, пошел исследовать: куда ведет дорога? Дорога же резко взяла в гору, затем через небольшой перевал пошла вниз, но уже в густом кустарнике, выше Николки, так что видел он только тропу перед собой, а перевал позади уже закрывал и залив. Но закончился и кустарник, а дорога далее спускалась в котловину, посередине которой изумленный Николка увидел... гигантскую бочку высотой с трехэтажный дом и с соответствующим диаметром. Тем не менее, это была стократ увеличенная копия обычной бочки,

* Это то, чем в тех местах собирают чернику, бруснику, клюкву, то есть низкорастущие ягоды; представляет собой кузовок с ручкой сверху, одна боковая стенка которого удалена, а в этом месте в торец днища вставлены металлические, слегка изогнутые вверх, прутки с заостренными свободными концами.

только изогнутые доски ее вытесаны из бревен, а обручи, как рассмотрел подошедший к бочке Николка, сделаны из стальных полос шириной с четверть метра и толщиной в два пальца.

Еще на подходе он начал вертеть носом от странно знакомого липкого запаха, а подняв глаза, увидел над бочкой черную тучу мух, их была тьма, а слитное жужжание напоминало прибой при неспокойном море. Временами подлетали несколько чаек, что-то выхватывали сверху из бочки и уносили в клювах. Запах вблизи оказался невыносимым, тошнотворным. Николка, пока рассматривал чудо-бочку, зажимал нос. Потом и вовсе отошел, все недоумевая: что за черт! Так ничего и не придумав, вернулся на перевал, свернул вправо от дороги, вскоре нашел поросшую черникой поляну и принялся за дело. Дело спорилось. Через полтора часа, перейдя на третью по счету поляну, Николка заполнил ведро. Судя по солнцу, до общего сбора на берегу оставалось времени достаточно. Оставив ведро на приметном камне посередине поляны, Николка налегке быстро поднялся на сопку, нашел плоский, размером с хороший стол, нагретый солнцем камень, снял телогрейку, вытащив из кармана сверток с едой, расстелил ее и полуприлег. Развернув газету, с аппетитом приступил к обеду, неспешно откусывая от большого ломтя хлеба с копченым салом и вяленой треской.

♦ Чудесную картину видел поуставший от собирания черники Николка со своего теплого камня: прямо под ногами, глубоко внизу, косые солнечные лучи высвечивали круглый заливчик с темневшей на песчаной полосе берега моторкой; подняв глаза повыше, за грядой прибрежных сопок он видел Кольский залив во всей его ширине — близко уже к выходу в море, и на противоположном его берегу различил и свой остров, отсюда — сливавшийся с берегом. Даже белое маячное здание крохотно, но четко

виднелось. С пару минут, напрягши глаза, Николка всматривался в него — и вот ярко блеснуло — это значит, что несущий дневную вахту его отец задает профилактику небольшому маячному фонарю. Тепло стало на душе — как и всякому человеку, наблюдающему за родным домом издалека. Казалось, что залив в этот летний полуденный час вымер, но вот слева, тихо и крадучись под самым берегом, где наибольшая глубина, появилась подлодка; все громче и громче стучал ее дизель; лодка приближалась к траверсу этой маленькой губы. А навстречу ей, но по середине залива, со стороны моря, потянулся здоровенный сухогруз под греческим флагом: явно в Мурманск за аппатитовым концентратом — удобрять свои греческие оливки или что там у них растет?

Вот из-за Большого Оленьего, отсюда прикрывавшего выход из Екатерининской гавани Полярного справа и слева, выскочил сторожевик и деловито взял курс вроде как на выход в море, но придерживаясь своего, левого берега. Значит после прохода Седловатого свернет влево, в бухту Ягельную — на Четвертую точку, где атомные подлодки, только-только появившиеся у нас и американцев, базируются. Много чего знал Николка в свои одиннадцать лет! И в страшном сне ему тогда присниться не могло: пройдет сорок лет, будут у пирсов в Ягельной ржаветь в «лихие девяностые» еще оставшиеся на плаву стратегические атомные подлодки, а вся «демократическая общественность» с остервенением станет защищать от трибуналов Северного и Тихоокеанского флотов предателей с погонами капитанов разного ранга...

И синее безоблачное небо (доев, Николка с наслаждением растянулся на телогрейке) не скучало без людей: со стороны Мурманска набирал высоту аэрофлотовский лайнер — в сторону моря, значит, рейс «Москва — Гавана», опять же только что от-

крытый. А вот сразу два дальних бомбардировщика полетели на свое неблизкое дежурство — явно с аэродрома Сафоново. Навстречу же им с Рыбачьего неспешно и на малой высоте шел старинный торпедоносец с характерными, одному ему присущими крыльями: в форме двуручной пилы с выгнутой стороной назад. Устав смотреть на оживленное небо, Николка повернулся на бок, подперев ладонью голову. Здесь его внимание привлекло нечто, а именно белесое пятно метрах в пятидесяти: тонкий слой торфа был содран неведомой силой, а гранитный монолит как теркой алмазной продраян. Поломав голову, Николка таки сообразил что к чему.

...Прошедшей зимой, прибыв под самый Новый год на каникулы, Николка с удивлением обнаружил: все окна в маячном доме, в солдатской казарме были крест-накрест заклеены полосами бумаги — как в фильмах о войне. Кое-где в маячном доме хозяйки уже успели эти полосы смыть. Здесь Николка вспомнил, что по дороге мать говорила о учебных стрельбах зенитной батареи. Про заклеенные окна она сказать забыла, впрочем, Николка знал для чего это делается.

— Оглохли мы тут совсем, ведь всю неделю палили: день и ночь !

Тогда Николка сообразил — откуда неслась канонада в последние дни, хорошо слышная и в Полярном.

Вечером отец, пришедший с вахты, рассказал: стреляли не в небо, а плашмя — через залив по безлюдным сопкам на другом берегу. Как пояснил отец, ухмыляясь, стреляли не на меткость, а чтобы солдаты не отвыкали от обращения с зенитками, главное — сроки хранения снарядов, чуть ли не с войны, вышли; вот и учение придумали: лучший способ избавиться от них. Николке стало зябко, он поежился на двадцатиградусной жаре. Здесь это жара.

♦ Задремал незаметно, а проснулся от дальнего хлопка. Открыл глаза и увидел делающую в воздухе дугу зеленую ракету — условный сигнал к общему сбору из ракетницы, захваченной с собой Седалиным. Николка накинул телогрейку, спустился на полянку, взял свое ведро и тем же путем, мимо гигантской бочки, над которой бесновалась уже целая стая чаек и чириков, вернулся на берег. Пока подтягивались остальные, Седалин объяснил ему: в бочку эту с весны загружают с сотню тонн тресковой печени, что привозят баржой с мурманского рыбокомбината. Все лето печень дает рыбий жир, который вытесняет к верху бочки вытопленные печеночные шкварки, которые под солнцем образуют корку, по которой дождевая вода стекает на внешние стены бочки. Осенью приходит другая баржа, с цистерной. Протягивают до бочки шланг, выбивают затычку, вставляют концевик шланга и весь жир скачивают в цистерну. Потом, уже на фабрике, жир очищают и используют на всякие аптечные и иные дела. Такие бочки по многим тихим местам расставлены — подальше от чувствительных носов.

— А почему печенки эти прямо на рыбозаводах не вытапливают, как вот мать воюксу* на сковородке жарит: быстро и без хлопот.

— Э-э-э, это дело тонкое. Здесь процесс идет естественный, поэтому во́рванный жир сохраняет свои полезные свойства, а только такой для медицины годится. А в печах тоже топят, но — для всяких технических дел. Ну, вот и бабы идут, пора уже, дело к вечеру, а мне в ночную отца твоего сменять.

На обратном пути им встретились только неугомонные касатки. На этот раз они шли своим кильватерным строем параллельно с моторкой, потом им

* Воюкса — рыбья печень и ворвань из нее, то есть жидкий рыбий жир (арханг.) — Прим. авт.

это наскучило и они свернули в сторону моря. Остаток дня Николка провел деятельно, а засыпая в первом часу светлой ночи, подумал: вот почему все дети, он в их числе, в дошкольном возрасте с таким отвращением глотают утреннюю ложку рыбьего жира.

НЕ ТУПИ УЧЕНЬЕ — ПОТЕРЯЕШЬ СООБРАЖЕНИЕ

♦ Когда мать, чем-то раздосадованная порой придирчивым по мелочам Андреяном, начинала, конечно, в его отсутствии, заглаза, ворчать по части его «старообрядческих причуд», то на первое место ставила его личную посуду — от суповой тарелки до знаменитой американской чайной ложки с надписью *US Navy*, на второе же неразговорчивость мужа. «Как затворники какие монастырские (ее родная архангельская деревня притулилась на берегу Онеги к старинному монастырю),— в несчетный раз обращалась она к Николке за неимением других слушателей, учитывая маловразумленность еще Славки и Сережки,— все молча да молча! А когда не на вахте маячной и других по хозяйству дел нет, то все чай пьет стакан за стаканом, трубкой своей или «беломором» дымит без конца и книги читает. Нет бы поговорить? Куда там — хорошо за день пять слов скажет! Зато как выпьет — соловьем заливается да песни свои про ямщика и низенькую светелку, ни в какой ряд и лад не попадая, все пробует петь...» И так далее — все Николкой из материных жалоб хорошо знаемое.

С девятилетнего возраста, то есть с переездом на Большой Олений, у Николки с началом отрочества появилось естественное качество сначала осторожного, затем все более скептического сомнения. И ранее безоговорочно принимаемые за истину утверждения

матери он начал привыкать обдумывать...* сопоставительно. А сопоставление с обстоятельствами и предметами и есть сомнение, каковое, как он потом, в старших классах, прочитал в «Божественной комедии» Данте, есть прямая дорога в ад. Правда, у католиков есть еще чистилище (бесплатное, в отличии от средневековых индульгенций), но он-то Николка, происходит не просто от православных, но по отцу и вовсе из староверов. А еще раньше про сомнение читал в польском романе...

Опять же про «веришь — не веришь» мудрствовал он. В этих краях, что в трех верстах от этого самого ада (без чистилища), вспоминая старую поморскую присказку, люди, тем более советские, верят преимущественно в тихую погоду, удачно прожитый день, в «три фута под килем», не отказываются, конечно, от «длинного» заполярного рубля — по заслугам, так сказать. На веру в бога времени и обстоятельств не остается. Опять же, рассуждал Николка, по малолетству своему, верить в бога — значит ходить в церковь. А где она? В Полярном, где старожилов не бывает, никто не может показать даже место на Советской улице в Старом городе, где стояла построенная при основании Полярного, то есть в 1899-м году, церковь, называвшаяся храмом Николая Чудотворца. Знал же об этом Николка со слов исторички Натальи Капитоновны. Вроде как

---

* ... И снова пометка на тему: как современность вторгается во вроде бы далекое от нашего времени повествование. Вчера, не хуже немца-аккуратиста (см. у Лескова и Достоевского), не дописав это предложение, оставил дело до утра, которое, как известно, мудрее... но получилось совсем мудрёнее, а именно: прихожу сегодня (16.03.2020) на службу (профессора и артисты гостеатров не работают, а служат!), а в университетском корпусе — одни «преподы», без «студиозусов». Карантин по всей стране, батенька! И сразу возникала мысль завершить эту книгу рассуждениями о глобализации, что-то навроде эпилога.— Прим. авт.

была она деревянной и сгорела «самопалом» в двадцатые годы.

В Мурманске, основанном во время Империалистической войны, само собой, в советское время никто не торопился церкви строить. Та же Наталья Капитоновна, учившаяся в пединституте Мурманска, рассказывала и о старейшем Троицком Печенгском монастыре близ нынешней норвежской границы, но его в конце шестнадцатого века разрушил шведский военный отряд, а оставшиеся в живых монахи ушли в Колу, где был создан Кольско-Печенгский монастырь, но и его упразднили при Катьке-царице.* Еще в Коле с семнадцатого века имелся замечательный девятнадцатиглавый деревянный Воскресенский собор, сожженный при артиллерийском обстреле Колы английским фрегатом во время Крымской войны. Последнюю кольскую церковь ликвидировали уже при советской власти в тридцатые годы. И все, больше сходить в церковь в Мурманской области негде.

Особенно Наталья Капитоновна восхищалась Воскресенским собором, только что выставленный макет которого видела в краеведческом музее Мурманска.

Никакой особой веры в бога не замечал Николка у калужских родственников отца — все из старообрядцев. И какая-такая вера у прошедшего две войны, почти четверть века живущего в Заполярье отца? А у Лазаря, по его же словам прошедшего огни, воды и медные трубы? Единственным из этих родственников верующим, ходившим в свою староверче-

* Как сообщает в своей книге о Коле В. В. Сорокажердьев («Кольский острог — город Кола: страницы истории», Мурманск: Опимах, 2016), этот монастырь был упразднен по Закону о секуляризации церквей и их имуществ, принятому при Екатерине II. А все говорят: большевики, мол, большевики!..— Прим. авт.

скую калужскую церковь, являлся Мирон. Но, как уже приметил Николка, то есть уже Николай Андреянович, в дальнейшей взрослой жизни, железнодорожные машинисты, независимо от текущей «линии партии», почти все люди воцерковленно верующие. Отчего такой профессиональный уклон? И сам додумался: именно профессия склоняет их к боговерчеству. Пришло же это в голову ему при чтении «Братьев Карамазовых». То есть, постоянно будучи ответственным за жизнь многих сотен пассажиров в составе, машинист, нарочито заставляя себя быть внутренне спокойным и сверхвнимательным, как бы отделяет *себя-работающего* от *себя-человека* с его душой, переживаниями, естественными страхом и осторожностью в поведении. Так, говоря словами Достоевского, от такого «раздвоения» души и тела в самом сугубом реалисте (а кто еще реальнее в своих делах рабочих нежели машинисты, обслуживающие сложную, громоздкую технику?) и рождается вера. Проще говоря, свою огромную ответственность за жизнь сотен людей машинист вынужденно переадресует всевышнему... иначе надолго ему своих нервов не хватило бы.

А то, что энкавэдешник Лазарь на девятом десятке лет и дочь Мирона Нина, инженер-экономист, по выходу на пенсию оба стали церковными старостами — один в Ленинграде, другая в Калуге,— то это умудренный уже жизнью Николай Андреянович относил к генофенотипике, мудрено выражаясь термином психологии. У людей эта самая генофенотипия различно и проявляется: если Лазаря Федоровича и Нину Мироновну на склоне лет потянуло к активному воцерковлению, то Андреяну достаточно стало личной посуды и брезгливости ко всякому домашнему непорядку.

Но еще школьник второй ступени Николка сообразил: хотя, по-материному, чрезмерное чистоплюй-

ство и молчаливость Андреяна есть следствие его староверческого происхождения и произрастания в детстве, что, вообще-то говоря, свойственно старообрядцам, но все же таковые черты отцова характера по преимуществу обязаны своим если не появлением, то закреплением уж точно, долгой военной службе в малолюдных местах. Любовь к окружающей чистоте (поэтому даже кошек в доме не заводили) и «параллельно-перпендикулярному» (сам Николка додумался до такого определения) порядку во всем — это от двенадцатилетней военно-морской службы, где все по артикулу, уставу и внутреннему распорядку. Молчаливость — от малолюдства мест службы, затем маячного жительства, где и природный говорун из хохлов — опять же наблюдение Николки — поневоле замолчит, ведь не будешь же часами сам с собой разговаривать? Приобыкает сравнивать произносимые слова с серебряным полтинником из начальной коллекции Николки-нумизмата, а молчание и вовсе с золотой английской гинеей, что подарил отцу на память о совместной службе в СНИС'С на острове Торосе в войну сдружившийся с ним английский лейтенант Джеймс Лэнг.

...Вспомнив о золотой гинее, Николка нахмурился: не додержалась у отца редкая и ценная монета чеканки самого начала века, вроде как в последний год правления знаменитой королевы Виктории*, до начала его коллекционного увлечения. А во всем виноват Виссарион Попов**, бывший начальник маяка Седловатого. Николка его не знал, поскольку при переезде на Седловатый начальником уже был Фе-

---

* Королева Великобритании и императрица Индии; правила с 1837 по 1901 гг.— Прим. авт.

** Реальное лицо, строитель и первый начальник маяка на острове Седловатом. Широко известен в кругах филателистов: издал в свое время книгу о почтовых марках, посвященных освоению Арктики и Антарктики.— Прим. авт.

доров — Колун, а Попов «отправился на повышение». Но с отцом Виссарион был знаком чуть ли не с военных лет... как в этих краях почти все знают друг друга. Поскольку же по материной присказке «трезвым не пригож, зато во хмелю всем угож», что она также и непременно ставила в упрек староверчеству Андреяна, то и Виссарион, как-то «пересекшись курсами» с ним в Мишуково, куда Николкиного отца по гидроотдельской разнарядке на пару месяцев поверстали от Седловатого маяка на строительство служебного здания, хитро подошел на предмет давно вожделенной им викторианской гинеи. И зачем отец захватил с собой в командировку столь ценную монету? Потом он, вроде как оправдываясь, сослался на то, что гинея у него всегда хранилась в маленьком кармашке солидного «купеческого» бумажника-лопатника. Понятно дело, на маяках бумажник лежит без употребления дома. А в Мишукове, где имелся магазин, он его взял, забыв выложить монету.

...Словом, после очередного трудодня Виссарион предложил провести вечерок за воспоминаниями о войне и вообще о былых делах-годах, щедро выставив от себя пару бутылок албанского коньяка «Скандербег» (дело было до осложнения отношений с Энвером Ходжей, с Албанией, поэтому этот превосходный коньяк в СССР заставлял полки от сельмагов до столичных гастрономов) под отцовы домашние пироги с палтусом и купленные в мишуковском магазине консервированные крабы. Распивая коньяк имени великого полководца, выигравшего десяток с лишним войн с турецким султаном Сулейманом, Виссарион неназойливо свернул беседу к английской гинее. Андреянов характер — в прямом соответствии с материной пословицей — уже после первой бутылки «скандербеговского» сработал неукоснительно: вторую емкость полководческого коньяка, высоко ценимого в кругу зло- и просто упот-

ребляющих, Виссарион разливал по стопкам уже на правах владельца гинеи. Он же восторженно солировал в дуэтном пении в унисон русских народных, военно-морских и старых разбойничьих песен.

♦ По малолетству Николка сомневался в таком щедром отцовом даре — хотя бы и под албанский коньяк. Тем более, что Виссарион месяца через три-четыре сделал алаверды: с попутным гидроотдельским катером прислал на Седловатый отцу солидную стопку недавно изданных книг — десятитомное собрание сочинений Мартина Андерсена Нексе в еще не захватанных сине-зеленых переплетах. Но книги эти стоили несомненно и явно намного ниже золотой монеты, к тому же достаточно старой по году чеканки. Опять же в течении целого года после той командировки в Мишуково отец по поводу и без него нет-нет, но нехорошо поминал ловкого на обмишуриванье Виссариона и собственную потерю бдительности в нетрезвом виде.

Но окончательно поверил Николка в бескорыстное дарение отцом золотой викторианской гинеи ловкачу Виссариону лишь учеником старших классов, когда уже несколько лет проживали в Полярном. Поскольку в абсолютно «сухом» городе водка полагалась универсальной валютой*, то в каждом доме или квартире Полярного постоянно держался НЗ** — несколько бутылок «злодейки с зеленой наклейкой», при случае привезенной из вольного по этой части Мурманска. Какая же сверхвыдержка требовалась мужикам, а все они здесь из флотских, многие — из воевавших? В итоге и как правило редко этот «энзэ» на дело использовался; а повод всегда найдется. И в

---

* Это как уже по всей стране в горбачевщину, в эпоху «борьбы с трезвостью», как метко определили это очередное мероприятие «партии и правительства» в народных массах.— Прим. авт.

** Неприкосновенный запас.— Прим. авт.

тот знаменательный день, вернувшись из школы, Николка лоб-в-лоб столкнулся в дверях с выходившим из их дома кавторангом-подводником. На кухне благодушествовал Андреян в тельняшке. На столе — одна пустая, другая ополовиненная бутылки. В веселом хмелю отец пояснил, что встретился с давним, военных еще лет знакомцем: «Оба, Коль, по две старшинские лычки на погонах имели, но Егор после войны училище в Ленинграде подплавовское закончил, теперь вот на Балтфлоте лодкой дизельной командует, на ней и прибыл в Полярный, а через неделю в сторону Земли Франца-Иосифа двигает. Хм-м, круиз, значит, у него такой».

Усадив сына обедать, не торопясь допивая оставшееся, Андреян принялся экзаменовать Николку по части практических электротехнических задач. К моменту опустения бутылки пришел он в полный восторг от правильных ответов сына, расчувствовался, снял с руки свои золотые часы: «Носи! Заслужил — по уму и честь!»

Отца потянуло в сон, а утром он раньше Николки ушел на работу в дэкаф. Все школьные часы, уроки и перемены, Николка без конца хронометрировал течение дня, то и дело демонстративно поднося левую руку с часами на уровень глаз. И стоило: даже у двух адмиральских сыновей, у его врага — сына начальника судоремонтного завода, дочери коменданта Полярного, детей каперангов и ниже по должностной лестнице, словом, ни у кого из ребят золотых часов не имелось, только позолоченные или анодированные. На него с какой-то странной сомнительностью и кое-кто из учителей поглядывал...

Прибыв домой, Николка первым делом вколотил в стену над столом, где он делал уроки, аккуратный гвоздик, на котором и утвердил *свои* часы, надев пряжкой от ремешка. И за домашним заданием, ближе к вечеру и ужину, то и дело скашивал глаза

вправо, любуясь на щедрый, несколько его озадачивший, подарок. Еще за обедом, обуреваемый несколько растерянной радостью, хотя никогда не страдал отсутствием аппетита, ел невнимательно, что отметила и мать: «Ишь ты! Не столько съел, сколько разбрылял по тарелке! Не радуйся особо прежде времени-то...» И время это очень скоро подошло. Вернувшийся из дэкафа отец, хмурый как никогда, резко оборвавший рассуждения матери о потраченных двух бутылках, приготовленных на дело, два-три раза, вроде как мимоходом, прошелся мимо стола с усердно решавшим тригонометрическую задачу Николкой, выразительно посматривая на принайтованные к стенному гвоздику часы. На четвертый же раз остановился: «Кто же так с часами обращается? А если с гвоздя сорвутся ненароком? Нет, рано тебе еще забавляться золотыми часами». С этими словами, перегнувшись через стол, снял часы с гвоздика и положил их на прежнее *свое* место на прикроватной тумбочке. Из ребячьей спальной комнатки послышалось злорадное похихикиванье Славки с Сережкой.

...И еще намного дальше по времени, а именно в «воровские девяностые», еще раз — уже Николай Андреянович — убедился в таковой специфики характеров людей «от старой веры». Трудился тогда Николай Андреянович в прославленном ракетно-пушечном НПО «Меткость», возглавляемом еще более знаменитым в оружейном мире академиком Гусаковым. В одном с ним отделе работал Володька Ахромеев с редкостным отчеством Лупанович и его жена Ирина. Были они немного помоложе Николая Андреяновича, но окончили тот же факультет что и он сам. Как только начались торгово-воровские времена с девизом «купи-продай», Лупаныч уволился с трижды орденоносного предприятия и очень скоро стал «главным мукомолом» в области, то есть монополистом-посредником во всей цепи от колхозов-сов-

хозов до оптовой и розничной продажи муки. Успех его «бузинеса», как он сам над собой язвил, обеспечивала солидная «крыша» в лице генерал-лейтенанта от «компетентных органов».

При всем том Володька отличался неимоверной скупостью, особенно в мелочной части. Ирина посмеивалась. Время «начального накопления» малоденежное, а выпить простому советскому инженеру, видя вокруг торжество вора и спекулянта, ох как хочется! В такой вот ситуации борьбы духа и тела раз под вечер Николай Андреянович неожиданно столкнулся на улице с Ахромеевым. Как и положено новорусскому купцу первостепенной гильдии, тот был одет в модное длиннополое пальто, обмотан по шее длинющим шарфом, свисавшем до земли — не хуже чем у верующего ортодоксального еврея,— а в руках держал аж сразу два средства связи: только что появившийся, стоимостью как «волга», мобильный телефон и его советский еще предшественник — радиотелефонную станцию «Алтай». Вышел же Лупаныч из конторы с вывеской «Облзаготхлеб» и направлялся к ожидающей его машине с личным шофером.

Услышав, что бывший коллега по работе направляется на троллейбусную остановку, Ахромеев великодушно предложил подвезти в конечный пункт устремления Николая Андреяновича, но на полпути — дел, мол, на сегодня важных не осталось — остановил машину у простонародной рюмочной и предложил слегка выпить за встречу. «Здесь дешевле будет»,— пояснил банкетирующий. С мукой душевной и телесной наблюдал Николай Андреянович, как почти долла́ровый миллионер выискивал в настенном меню у прилавка буфетчицы самую дешевую водку. Вздохнув, заказал «два по сто» и пару пирожков с рисом на закуску. С тоской выпил Николай Андреянович, готовясь распрощаться с «благодетелем», но тот, порозовев от введенного внутрь, мгновенно пе-

ременился: тут же вернулся к буфету, от которого принес уже бутылку ноль-пять неподдельного грузинского коньяка и тарелку с горкой порезанной семги и горбуши. Не допив почти половины бутылки, первогильдейский купец потащил озадаченного Николая Андреяновича из рюмочной в свою машину, усадил, сам сел и скомандовал шоферу: «В «Папу Бендера»!» То есть в самый на то время престижный ресторан «с номерами», куда даже не всякий успешный бандит или «бизнесментер» решится зайти по причине кусающихся цен.

...Словом — позвонил домой, объяснил,— во втором часу ночи Андреяныч с Лупанычем на квартире последнего пили коллекционное шампанское «Абрау-Дюрсо», ящик которого хозяин принес в отведенную им Ириной комнату из домашней кладовки, и смотрели по видику «Калигулу» и прочую порнографию. За утренней опохмелкой на кухне, готовящая завтрак Ирина, добродушно посмеиваясь, не обращая внимания на супруга, пояснила ночному гостю: «Вот ведь *их старообрядческая природа*! Вроде и делами серьезными ворочает, копейку лишнюю, что называется, за полверсты не пропустит, а как махнет стопку, так и пошла-поехала гульба! Один раз даже цыган-плясунов с гитарами сюда привез — хорошо дома все были, не впустили...»

Вот тогда-то все стало Николаю Андреяновичу яснее ясного: и странное отчество Ахромеева и резкая перемена во всем его естестве после первых, «разгонных» ста грамм — главное, полная потеря счета ссоримых денег. Прямо-таки его отец Андреян. А для полноты сходства в параллель: как Лазарь два десятка лет служил в НКВД, так и отец Володьки со старообрядческим, то есть строго по святцам, именем Лупан столько же в колымских лагерях в пятидесятые-шестидесятые годы являлся «кумом», то есть начальником оперчасти.

...Вот она — генофенотипика! — с восторгом подумал Николай Андреянович.

♦ «Не тупи ученье — потеряешь соображение»,— по-своему, по-архангелогородски, порой наставляла мать, просматривая иногда дневники Николки и младших, когда тех приводили на каникулы на Большой Олений, если находила в них малорадующие отметки. И Николка уже на примере золотой гинеи и мгновенного превращения отца из сугубого молчуна в добродушного говоруна после одной-двух стопок — все же здесь мать права, из староверчества все это! — понимал: надо пользоваться такими редкими случаями, ибо отец много чего по кочевой своей жизни знал, что от тех же школьных учителей не услышишь. И сам Андреян в «разговорные» часы наставлял старшего со ссылкой на авторитетов философии, каковую науку почитал наиважнейшей для человека и его воспитания:

— Ученье и соображение, Коль, не одно и то же. Хотя бы потому, что сообразительный и без особого учения может жить припеваючи, а иной ученый в очках, шляпе и при пóртфеле туго соображает. Другого же излишнее для него учение и вовсе не к добру приводит, словом, охота смертная, да участь горькая... Это как у хлебопашца: кому добрый чернозем попадется, тот и сам-двадцать и поболее урожай соберет, а если горькозем, то сколько не трудись — хорошо если на мешок семян полтора-два уродится! — И продолжил, выпив в растягивающую удовольствие экономную полустопку:

— В человеке нормальном, то есть не начальнике и не дураком если уродился, ученость и сообразительность в нужной пропорции должны соблюдаться. Хорошо ты к чтению приобщился... только страницы не загибай, не порть книги, а бумажкой закладывай. Так вот, про ученье и соображение — все найдешь у Лескова, самого русского из писателей! Есть у не-

го в «Соборянах» такой дьякон Ахилла, вроде малоученый за медные копейки, сообразительностью тоже как не отличается. Вот запомнилось, как он к рождеству мальчонку обучал колядкам:

Днесь Христос родился,
А Ирод-царь взбесился:
Я вас поздравляю
И вам того ж желаю.

Глупость, скажешь? Ан нет, и не издевательство, конечно, над церковью. Просто Ахилла, что называется, туговато соображал, и учености его псалтырной только на две первые строки хватило, а дальше пошло-поехало... Но ведь вышло-то у Лескова задорно! — настоящее колядочное шкодничество. Я-то их, колядок, уже не застал; когда подрастал до школьного возраста, то уже комсомольцы с пионерами шишку держали в городе и в деревне, в Тихоне нашем, монастырском селе, даже объявились воинствующие безбожники — из недорослей-придурков в основном. Но при всем том, Ахилла далеко не без ума и определенной, натуральной учености, настоящий русский характер: сначала сотворит, а потом уже поразмышляет. А получается-то все правдиво и по местам такой человек расставит! Главное, нарочито не язвит. Ты вот сам намедни из школы-интерната своего не хуже Ахилловой частушку про целинников-новоселов привез... ну-ка, напомни.

Николка усмехнулся, скороговоркой прочитал:

— Едут новоселы,
Морды невеселы:
Кто-то у кого-то
Стибрил чемодан.

— Во-во, морды невеселы! И здесь русский характер: соображение перед учением. Ведь вас вот в школе учат, мол, освоение целинных и залежных земель дело полезное всем. Конечно, кто же против? А соображение метко подсказывает: все у нас, с во-

царением Никиты, в штурмовщину превратилось; догнать, так непременно перегнать... дескать, мы Америку догоним по надою молока! Так что, Коль, на ученье налегай, но в азарт не входи, а подкрепляй для усвоения собственным соображением. Не козырист парень, да мастист, то есть находчив, как у нас во Дверцах старики говорят. Стройный порядок во всем должен быть — от одежды, не ходить россомахой*, а по-флотски на все пуговицы застегнутым, до мыслей в голове, где знание с соображением не по своим клетушкам рассажены, как кролики, ха-ха-ха, у Седалина, пока не разбежались по острову, но вровень двигают человека по жизни. И в любой момент то ученье подгоняет соображенье, а не то соображение, как чутье у зверя, перегоняет знание; это уже интуицей именуется. Так нам в сельхозтехникуме говорили. Техникум-то этот, он и сейчас в Калуге действует, по животноводству, я вот по специальности молочного производства учился... потому с тех пор магазинные сметану и творог не ем; так был у нас не просто преподаватель из школьных учителей, а настоящий, даже заслуженный профессор по биологии. Его из Москвы еще за несколько лет до «ежевых рукавиц» выслали в Калугу за сто первый километр. Как мне Лазарь говорил, он тогда уже из артиллерии в «голубые фуражки» перевелся, что-то у профессора этого в части биологии не сходилось с марксизмом-ленинизмом...

— И со сталинизмом?

— Может быть. Но, видно, только в сугубой теории не сходилось, поэтому легко Вениамин Григорьич отделался, под боком у Москвы остался. А так — очень заслуженный, царский еще орден имел и советскую медаль. Рассказывал нам, как вместе с

---

* То есть в одежде нараспашку, расхристано (сев.) — Прим. авт.

академиками Павловым, Бехтеревым, друзьями его, опыты разные ставил. А Тимирязев, которого он иначе как Климентом Аркадьевичем не называл, и вовсе ему, с малых лет сироте, отца родного заменил и по научной линии до профессора довел... Так я к тому, что Вениамин этот Григорьич, с бородкой под своего учителя, на половине восьмого десятка лет, все призывал нас мудрость в себе накапливать с ученических лет. Особо, говорил, следует интуицию уважать, которая есть соображение, перегоняющее знание. Запомнил я эти слова крепко. И пример его на этот счет тоже: про холестерин рассказывал....

— А что это?

— В старших классах объяснят все подробно, а я подзабыл. Что-то из крови на стенках вен оседает, а когда много тех осадков случается, значит болен человек или иное животное. В этом роде. Так вот, профессор этот заслуженный и умудренный, рассказывал про зловредный холестерин, советовал не все прямиком на веру принимать, что врачи говорят, особенно которые малоопытные еще, сами все пока по книжкам учебным судят. Дескать, считается основным источником излишнего холестерина у людей чрезмерное употребление жирной еды, особенно свиного сала. А получается, что у северных народов, хохлов и полинезейцев, китайцев тож, что дня без закуски или просто еды сала свиного не проводят, холестериновых болезней меньше всего. Почему так? — и Вениамин Григорьевич разъяснял, что интуиция этим народам подсказывает: с пищей в организм избыточный холестерин попадает через мясо с жилами, на стенках которых при жизни тех же коров и овец, свиней тоже, холестерин уже отложился. То есть к собственному добавляется с пищей еще более излишний. А вот в свином сале жил-то и нет! Значит и вреда холестеринового извне человеку не добавляется. Конечно, когда ученые еще не открыли этот хо-

лестерин, то люди по интуиции, по наблюдениям, понимали: мясо вреднее свиного сала! Отсюда и мать печет свои архангельские пироги, которые тебе нравятся: ломоть трески распластанный, а поверх слой тонко нарезанного соленого сала. Иногда это «финским пирогом» называют — тоже ведь северный народ. Вениамин-то Григорьич из евреев, поэтому продолжил холестериновый пример: раввины, ихние попы, и прихожане в большие праздники так вообще едят специально приготовленные при синагоге мясо с вытащенными жилами. Кошерное называется. И должность у них есть — резник, что жилы вытягивает. Правда, тут же заметил, евреи и мусульмане свиное сало и вообще свинину не употребляют, тора и коран запрещают категорически, но здесь жаркий климат, опять же по интуиции, препятствует. Как-то так вывернулся.

— А профессора того умного в Москву вернули?

— Не знаю. Меня тогда из комсомола и техникума исключили, отказался быть завхозом и барабанщиком в училищном оркестре. Уехал в Ленинград к Лазарю, куда его перевели по службе, а он меня на Волховстрой молотобойцем в кузню устроил. Оттуда и на флот в срочную взяли.

— Циолковского в Калуге знал?

— Знать не знал, а пару раз видел. Домик у него на спуске к Оке, где Яченка в нее впадает, стоял. Мы с ребятами там яблоками промышляли. Циолковский уже совсем слепой, в темных очках, сидит себе в беседке при доме. Это сейчас все его знают, а тогда — Циолковский да Циолковский, учитель на пенсии... У меня и брошюра его, в калужской типографии изданная, с названием «Монизм Вселенной» была, да в общежитии на Волховстрое затерялась...

С тех пор у Николки, впоследствии у Николая Андреяновича, слово «интуиция» накрепко связалось со вкусом сала. Желательно с чесноком.

Семья белых медведей на плавучей льдине

Хабей-Хунгар

ОБДУМАЙ В УЕДИНЕНИИ ТО, ЧТО УЗНАЛ ОТ ЛЮДЕЙ*

♦ На первом году жительства на Большом Оленьем летние каникулы начались с месячного пребывания на острове; отпуск отцу приходился по графику на июль-август. В самом начале июня получили письмо от старшего брата Георгия, к тому времени отслужившего срочную в Севастополе, хотя и на Черноморском флоте, но в береговых войсках связи. Самое обидное — не в тельняшке, но в «пехотном сукне». Причем дома были уверены в обратном; пара присланных за время службы фотографий в морской форме, на заднем плане памятник погибшим кораблям, даже с последовательным повышением в звании — «страшный матрос» и старшина второй статьи — все убеждало в поддержании семейной флотской традиции.

Но когда демобилизовался на год раньше флотского срока, то уже и скрывать стало смешно: объяснился в письме, мол, так в Севастополе заведено, а форму для фотографии несложно найти. Главное, патрулю под горячую руку не попасться на пути от казармы до набережной бухты с памятником.

...А в письме на Большой Олений сообщал: вернулся обратно в Оленегорск, где до призыва успел немного поработать в службе КИПА** горно-обогатительного комбината, и через неделю женится. Знакомство еще до службы. Комнату дают в семейном общежитии и на скорую квартирную очередь ставят: комбинат расширяется, жилые дома-пятиэтажки на глазах растут. И, конечно, ждет мать с отцом на

---

* Трансформированные слова Л. Н. Толстого («На каждый день»).— Прим. авт.

** Контрольно-измерительные приборы и аппаратура.— Прим. авт.

свадьбу. Знамо дело, поехала одна мать. Вернувшись, привезла отцу «гостинец» от свадебного стола.

По этому поводу Николка сразу вспомнил отцовы беседы с мужиками в летних отпусках, понятно, в деревенской чайной, куда он охотно напрашивался в сопровожатые: ситро, мятные пряники-жамки, а порой и конфеты-подушечки от пуза. На обычные слова Андреяна о полном сухом законе, введенном во владениях Северного флота «хохлом Никитой», щедро угощаемые отдыхающим заполярником мужики изумлялись: аль руки у вас там не из нужного места растут? Или сахара и дикорастущей ягоды нет, чтобы самогоновку выгнать? На что отец резонно отвечал: и сахара завались, а ягодой черникой всякий клочок земли в межсопочных лощинах усеян. Опять же дрожжи для хлебопечения на маяках и вовсе в паек годовой входят. Но — дисциплинированно посерьезнел Андреян — на маяках устав насчет такой самодеятельности очень суров. Причем настолько, что уже въелся в само поведение и характеры маячников. Потом ведь маяк — не город, даже не деревня, все живут в одном доме и схожей жизнью. Как тут выгонишь, тем более, выпьешь сам-один? Не то что донесут, но мигом все приметится! А начальник маяка, как царь и бог и воинский командир, за все в ответе. Словом, мужики, нет *у нас* такого понятия. И даже до Никитиного сухого закона таковой на маяках, особенно на островных, действовал неукоснительно, чтобы самим себе хуже не делать. Опять же и таиться, хитрованить уже нет надобности, ведь от зла отлучись — никого не боись, как наши деревенские старики бают. А спокойствие на маяках, даже в полной, противоестественной трезвости, как не верти-крути, и есть стержень всего: дисциплины уставной, семейственной и самоличной.

«Кстати,— добавлял Андреян, разлив очередную бутылку по стаканам словами и обреченными жеста-

ми рук сочувствующих «чайничающих» деревенских мужиков,— из тамошних ягод только черника и подходит для этого самого дела. Клюква с брусникой сразу со счетов сбрасываются, кислые; морошка малосахарная тоже, опять же ее руками собирать надо, не грабилкой, замаешься, овчинка выделки не стоит. И голубика водянистая. Но бражка и самогон из черники — раза два в войну пробовал — в полный вред себе, потом дня два голова раскалывается. Когда в сорок третьем в госпитале в Полярном лежал, врач один, матерый полковник, объяснил, мол, в косточках черники много цианистого калия, яду то есть, поэтому при брожении и при перегоне особенно он высвобождается, и чем крепче самогоновка, тем сильнее эта зараза в голову тюкает!»

Гостинец от женившегося Георгия отец, следуя правилам уставной дисциплины, растянул, что, вообще-то говоря, противоречило его жизненному правилу «врагу ни капли не оставлять», на четыре безвахтенных дня. Сам над собой смеялся: это две-то всего бутылки на текущую неделю! Но хорошо смеется лишь последний. Так и Николка эту неделю день-через-день набирался ума-разума у разохотившегося на разговоры отца.

♦

Внимание, внимание!
Говорит Германия:
Сегодня под мостом
Поймали Гитлера с хвостом! —

скакал по кухне дошкольник Сережка, перепутав по малолетству войну конницы со сражениями танковых армий, распевая ранее, еще на Седловатом, услышанную от Тольки песенку. Отец, свободный от ремонтных работ на маяке — полярным летом вахты условные,— потому «принявший» за обедом установленную им «порцайку» от свадебного гостинца, добродушно усмехнулся:

— Таких агиток много в войну было. Особенно ближе к ее концу. А в начале слухов еще больше ходило. Говорили разное — от паники и массовой сдачи в плен до злопыхательства, навроде как Утесов со своим джазом хотел перебежать к румынам в Одессу. До Сталина дошло, но тот, как рачительный хозяин, вместо «вышки» велел с песнями по фронтам всю войну ездить, вдохновлять бойцов. Вряд ли... Румыны хотя, в отличии от немцев, особо евреев и цыган не трогали, но вряд ли... сомнения здесь большие. Особенно если в начале войны. Завистников же у Утесова предостаточно было — кому слушок пустить. Но так *у нас* на флоте травили*. А вообще... война дело скучное. От однообразия ее ко всему интерес теряешь, механизмом становишься, и соображение какое-то машинное. А после окончания все хочется из головы выбросить — потерянное из жизни время... хотя четыре года — это не фунт изюму! Зима ли, лето, но, если не самая темень с туманом, стоишь всю вахту на мостике поста, уши топориком на запад, где немецкие аэродромы в Норвегии, а к глазам биноколь приставлен, водишь им по заливу, опять же если не туман сплошной, курсом с норда на зюйд и обратно. Хорошо по пакту тридцать девятого года батька усатый флот и армию немецкими цейсовскими биноклями снабдил! Как с норвежской стороны заунывное, переходящее в частое тарахтенье, песнопение донесется — все, пошли в веерном строю, рассредоточенно Мурманск бомбить, а по пути Полярный. Прямо над постом бомбовозы летят. А со всех сторон зенитки наши по ним лупят... вернее, наши по боевой принадлежности, а так виккерсовские, по ленд-лизу поставляемые. Так получилось, не успели к войне своих

* В смысле байки рассказывали, в частности, «анекдоты травили» (флотск.) — Прим. авт.

столько понаделать, чтобы фронт закрывать от Баренцева до Черного морей, а в глубь — до Горького и заволжских военных заводов. С нашего Тороса хорошо просматривался, чуть левее мыса Чаврyй, и Большой Олений с его зенитной батареей. Сейчас-то, конечно, на ней давно уже нашей фабрикации зенитки...

— А наши истребители навстречу этим бомбардировщикам ведь шли? Сафонов-то сколько их посшибал...

— Да мало было. В самом начале еще видел их, потом и вовсе пропали. Только к сорок четвертому году много «яков» появилось, когда промышленность на Урале развернулась вполне. И ленд-лизовские поставки набрали силу. Тот же Сафонов на английском истребителе летал. Вообще все советские асы, Покрышкин, Кожедуб, Гуляев и другие прославленные, только на американских «аэрокобрах», лучших, наряду с немецкими «мессерами», истребителях второй мировой воевали.

— Не подготовились к войне... по радио говорят.

— Ты радио-то слушай, а все на веру не принимай. Соображение, значит, развивай. Мне вот на Волховстрое в трестовской библиотеке книжка Толстого попалась, «На каждый день» называется, еще дореволюционного издания, с ятями и твердыми знаками на конце слов. У нас ее сейчас не печатают. Хорошую мысль оттуда запомнил, в том смысле, что обдумывай в уединении то, что узнал от других людей, а общаясь с людьми, держи в голове свое соображение. По радио говорят... Ты же не в Сережкином возрасте с его «говорит Германия»! Как не подготовились? Не готовы бы были — не победили. Другое дело, что не все успели. И с Германией, как по *твоему* радио талдычат, здесь нечего сравнивать. После Империалистической ни один антантовский солдат на немецкую землю не ступил ногой; вся

промышленность, кадры ее, инженеры и ученые — все стопроцентно сохранилось. Гитлеру и оставалось-то лишь команду дать: «Фас!» У нас же все с нуля за тройку сталинских пятилеток сделано. От царя-то мало что досталось: и в части промышленности и по кадрам... Главное, людей правильно Сталин воспитал. Не только наших. Про французских летчиков, конечно, слышал. Но ведь даже вьетнамцы к нам пробирались воевать — это нам политотделец рассказывал. А сын Мао Цзедуна, что вырос в детском доме в Иваново (отцу в горный Синьцзян, где его армия базировалась, не с руки было взять), и вовсе в звании капитана, членом партии до Берлина дошел. Опять же Ким Ир Сен тоже капитаном в Чите служил переводчиком. А вот поляки такими и остались. В Полярном показали мне на польскую подлодку, что англичане сюда направили. Так всю войну у пирса и простояла, в море не выходила. Пшеки они и есть пшеки, не столько Гитлера, сколько нас врагами полагали.

— А английские подлодки в Полярный заходили?

— Конечно. В начале войны, по осени, попал я в первый раз в главный госпиталь флота — в Полярном. Сам знаешь, он и сейчас госпиталь, рядом с дэкафом. Лежал на верхнем этаже, окна на Екатерининскую гавань. Смотрим — две лодки швартуются, на наши «щуки» и «малютки» вовсе не походят. Скоро узнали: английские. К тому времени в Полярном уже располагалась их военно-морская миссия. А лодки — для совместных с нашими операций по охране ленд-лизовских караванов в Мурманск и Архангельск. Англичане-то и были самыми деятельными союзниками. И Черчилль, как не хитрил, но Сталина не сумел объегорить. Наоборот все вышло. Спустя неделю после прихода этих подлодок, военврач не то что разрешил, а приказал по часу-полтора в день на улице проводить: для окончательного выздоровления. Город

и сейчас невелик*, а тогда и вовсе имел несколько коротких улиц в Старом и Новом Полярном, все тем же Чертовым мостом, что и сейчас, соединенных.

♦ — И компания подобралась сам-двое: тож, как и я, старшина второй статьи Санька Коваленко. Ему велено было после контузии ногу разрабатывать пешкодралом. Он в хирургическом отделении пребывал. А попал в госпиталь с эсминца «Стремительный», что на рейде Екатерининской гавани месяц назад, сам не видел, еще не в Полярном находился, прямым попаданием чуть ли не полутонный фугаски был разломлен пополам и тотчас затонул. Погибших немного, остальные в воде оказались: кого катера подобрали, а некоторые и сами доплыли до пирсов или до Екатерининского берега — расстояние одинаковое, эсминец посредине гавани стоял на якорях. Коваленку подобрал мелкий буксир, что в момент взрыва обочь шел. Вообще-то с первых же дней войны немецким самолетам не особо позволяли своевольничать в части Полярного — главной базы Северного флота: корабли рассредоточены, вокруг зенитные батареи, в том числе *наша*, оленьеостровная. А тогда, в случае со «Стремительным», как-то фрицам удалось не с обычного курса и на бреющей высоте прорваться, а для такой высоты полета эсминец очень крупная цель. Вот и удалось одной бомбой... Саньке же ногу при взрыве не то что сломало, даже наружно ран не было, но контузило основательно, «по нервной части», как для простоты объяснил ему военврач. А мы с ним давние знакомцы, вместе начинали годковать в учебном отряде на Соловках...

— Это где лагеря?

---

* Напомним: речь идет о конце 50-х — начале 60-х годов. Современный Полярный — совсем другой, полностью заново построенный в последнюю четверть прошлого века город.— Прим. авт.

— Да нет, СЛОН этот, Соловецкий лагерь особого назначения, еще десять лет до того упразднили. А нас, в основном из Ленинграда, туда привезли первыми — обустраивать казармы для учебного отряда недавно созданного Северного флота. Вот вместе с Санькой и для себя казарму готовили в церкви, забеливали и закрашивали росписи на стенах. Оно, конечно, дело малоприятное, но время такое было. А на время суда не бывает, если оно не самодурное, но *осознанно необходимое*. Это Гегель так сказал... я много чего перечитал за двенадцать лет службы на постах. Первым делом Санька повел меня, прихрамывая на левую ногу, к пирсам и показал на отмеченное двумя буями на якорях место затопления «Стремительного» — для осторожности плавания: гавань-то не слишком глубокая. «...А меня как на буксир подняли еще с несколькими годками и лейтенантом и до пирса доставляли,— рассказывал Санька,— все смотрел, сидя на бунте троса с нечувствительной ногой, на носовую и кормовую части нашего «Стремительного», что почти вертикально в воду уходили. Говорят, покойники во сне не являются, а как засыпаю — так мерещатся эти нос и корма на полкабельтова друг от друга...»

Андреян допил экономную полустопку, продолжил:

— Постояли мы с Санькой у пирса, мысленно помянули погибших и корабль, тоже погибший, затем поднялись к Циркульному дому, затем прошли мимо штаба и через пару-тройку сотен метров свернули на главную улицу Нового Полярного, что поднималась... ну-у, что я тебе рассказываю: сам все своими ногоми знаешь! Только тогда названия улиц другими были, еще не обозначились герои-подводники. И, конечно, только в форме, в бушлатах и в шинелях, если кто встречается: в первые два месяца все семьи в женской и детской их части эвакуировали через

Мурманск в глубинку страны, минуя Ленинград, что уже на осаду обречен. Смотрим, на углу, на повороте вверх к *вашей* школе, в ней обосновалось тыловое флотское управление, какие-то чудики, человек пять, топчутся и к проходящим краснофлотцам и молодым офицерам, что тогда всем скопом командирами именовались, пристают. Подошли поближе — словно фильм из времен Иванан Грозного снимают, актеров подтянули: хотя и осень, снег вперемежку с дождем идет, но еще не ниже нуля, а эта ватага в меховых шапищах, в долгополых шубищах да с опоясками, на ногах чоботы на толстенных подошвах, что-то вроде краг коричневой кожи до колен высотой. Главное — все с длинными бородами где-то посредине красного и рыжего цветов. И только подойдя на несколько шагов и разобрав английскую речь, сообразили: британские морячки с пришедших в Полярный двух лодок. У нас на Торосе уже совместный с англичанами, потом уже американцы добавились, пост СНИС организовался, так что на русско-английском волапюке, как заезжающие политотдельцы эту речь называли, мы с ними научились понимать друг дружку. И сейчас, подойдя к англичанам, явно ожидавшим — по одежде — встретить здесь холод Северного полюса, сразу сообразили: союзники в открытую занимаются мелочной торговлей. И нам они тотчас «сэр сэржент» — и сигареты из карманов своих боярских шуб достают: «мальборо», «честерфильд», американский «кэмел». Двух видов пачки: покороче и подлиннее, значит и подороже. А у нас тогда сигарет не делали, только папиросы. Переглянулись мы с Санькой, не обидившись на «сержантов» — у них так старшины флотские называются, потыкали в пачки покороче, а они на пальцах цену показывают, репетируют языками «уан-ту-фри...» Другой зажигалки предлагает. Мы из карманов деньги достаем, а они сразу пальцами отгибают руб-

ли, трешки, «синенькие» и тычут в червонцы, «вери гуд» говорят. Словом, потратили мы для почину с Санькой по красненькой, по зажигалке приобрели и сигарет, сколько дали англичане для «округления». Еще на звездочки наши краснофлотские на шапках указали, но мы рассмеялись, ноу, мол, ноу.

Отец умолк, набил табаком трубку, раскочегарил ее.

— Повернули, распрощавшись за руку с мореманами, свернули вправо к мосту перед дэкафом, дошли до него, а там еще «бояре». Здесь снег сырой густо повалил, вовремя в госпиталь вернулись, недоумевая, отчего это союзники брезгуют мелкими советскими дензнаками? За оставшиеся до выписки немногие дни, гуляючи и встречаясь с «боярами», а особенно в госпитальной курилке, уже насквозь пропитавшейся отменным запахом английского табака, узнали много чего про повадки английских подводников: и про полярное их одеяние, и про бороды, которые они — у кого длиннее — на излюбленное английское пари отращивали, и про все остальное. Про «полярные холода» на побережье незамерзающего по причине Гольфстрима Баренцева моря, ну-у, это как про медведей с балалайками на кремлевской площади. Понятно. Как и про пари с бородами, любимой забаве англичан. А насчет недоверия к мелким деньгам, так это торговая практичность британской нации. Оказывается, десятки и выше, то есть казначейские дензнаки, в отличии от банковской мелочи, в Англии обмениваются по хорошему курсу на ихние фунты. Также и звездочки с шапок и бескозырок — «сувениры» для продажи на родине, где они в большой цене... Торговая нация, словом! Очень обижались они, что в Полярном негде выпить, за выпивкой вечерок провести. «Ягодку» позже сделали рестораном, да и то для офицерского состава. Еще недовольны были отсутствием в городе

женщин, опять же по коммерческой части: некому продавать чулки, помады всякие, дешевку разную украшательную. Вообще-то хамовато себя вели, на наших командиров ноль внимания, хохочут, в полный ор на улицах разговаривают, а в дэкафе, где им ихние английские фильмы крутили, с приглашением наших моряков, курят, плюют на пол, бродят по кинозалу, матерятся по-своему. Впрочем, через месяц стояния их лодок в Полярном — что-то у них с выходом в море на боевое дежурство затягивалось — перешли на понравившуюся русскую «богоматерь».

...Поскольку сегодняшнего дня «порцайка» исчерпалось, отец начал поминутно утрачивать добродушную словоохотливость. Почему-то мысли его перескочили на революционные времена и царскую Россию, хотя бы, появившись на свет в деревне Дворцы, он всего-то три дня жил при царе. На четвертый Николая Второго свергнули... его ближайшие подчиненные и родственники... А именно: зачем, начиная с восстания на «Потемкине» и заканчивая установлением советской власти в стране, балтийские матросы с большой охотой выбрасывали за борт своих офицеров? Здесь отец рекомендовал на скорое будущее обязательно прочитать незаконченной автором роман «Капитальный ремонт» Леонида Соболева. И намекнул: офицеры царского Балтфлота по традиции комплектовались из остзейских, то есть прибалтийских, немцев, которые, обиженные императором Александром Вторым, отнявшим у них латышских и иных крстьян, вымещали свою злобу на русских матросов, которых по баронскому своему воспитанию полагали наравне с рабочим скотом...

...ОПЯТЬ «ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ», НО В ПАРАЛЛЕЛЬ РАССКАЗОВ ОТЦА О ВОЕННЫХ ГОДАХ

♦ Услышанное Николкой о разломанном пополам немецкой бомбой эсминце «Стремительном» и уходящих вертикально в воды Екатерининской гавани носовой и кормовой половинках корабля крепко засели в его память. Увы, пришел случай почти то же увидеть наяву. Но для этого ему еще следовало чуть подрасти, а семье перебраться в Полярный.

Одиннадцатого января, как то заведено со времен первых регулярных школ царского времени, закончились зимние каникулы. Школа, что стояла на взгорье рядом с улицей, названной в честь героя Отечественной войны командира-подводника Израиля Ильича Фисановича, наполнилась с раннего утра гомоном. Впрочем, явление утра здесь и в это время года чисто условное: за Полярным кругом и к полудню едва-едва забрезжит, ибо понятие полярной ночи как раз не абстрактное, а самое что ни на есть реальное. Поэтому и гомон был сквозь неразогнанную до конца дремоту.

Что касается Николки, то дремоты и вовсе не было, хотя спать лег только в три часа ночи: шли большие зимние международные соревнования коротковолновиков, продолжались они трое суток без перерыва, и столько же суток не гас свет в окнах третьего этажа — в выступе во двор — школы, где размещалось хозяйство любительской радиостанции с гордым позывным *UA1KUZ*. Почему гордым? — Дело не только в том, что это были самые северные радиолюбители в стране, исключая, разумеется очередной дрейфующий «Северный полюс» и атомоход «Ленин», когда он выходил из порта приписки Мурманска, где также имелись любительские позыв-

ные. Дело было сложнее, тонкости могут понять только посвященные в сложную науку радиосвязи на коротких волнах и с малой мощностью... Проще говоря, сложность распространения коротких волн в северных широтах и местоположение сыграли такую шутку, что в зимнее время радиостанция, включенная на разрешенные сорок ватт, заглушала связь между американцами и Западной Европой с их пятисотваттными и киловаттными передатчиками. С каким наслаждением и злорадством* ребята постоянно натыкались в эфире в дни больших соревнований на отчаянную морзянку, перевод которой с любительского кода на нормальный язык значил: «Вас не разбираю, *UA1KUZ* сел на нашу частоту и глушит!» (Далее идут «воспоминания о будущем» собственно Николки, уже жителя Полярного, поэтому «слово предоставляется ему самому — «от Я»).

Да еще Алексей Васильевич, матерый мичман и наш наставник-руководитель, в соревновательные глухие зимние ночи, когда явно дежурный инспекции электросвязи (наш главный опекун и контролер в эфире) в Мурманске прикорнул и видит третьи сны, подмигнув и велев всем выйти в другую комнату, делал неведомые и скрываемые от нас тщательно переключения в довольно-таки внушительном, весом с полтонны! — передатчике типа «Победа-*Р*...», списанном с крейсера, после чего янки прямо-таки шарахались с частоты, где появлялась морзянка: «*CQ, CQ de UA1KUZ*».** Какую именно «мощу» врубал Алексей Васильевич — то было неведомо, но в выходном каскаде передатчика, изготовленного в год Победы, стояли две лампы, каждая размером с

---

* Пушкин как-то заметил, что русским людям поколенно и воспитанно «злорадство свойственно».— Прим. авт.

** «Всем, всем, вызывает для установления связи радиостанция *UA1KUZ*» (радиолюбит. код).— Прим. авт.

китайский термос, а это мы уже хорошо знали: такая лампища «ГУ-80» под киловатт кочегарит...

Чтобы до конца было все понятно, поясню: наш школьный выпуск, до конца которого оставалось еще полтора года, являлся последним в достопамятном эксперименте с одиннадцатилетним обучением*, то есть, начиная с девятого класса, вменялось производственное обучение. Дабы не ломать голову себе и другим, руководство школы поступило просто: кто по своим склонностям не прельщался дальнейшей учебой в вузах, того определили ходить осваивать рабочие профессии на военный судоремонтный завод — основное и внушительное по размерам предприятие города; остальных решили обучать профессии телеграфиста-связиста, а для практики, ровно как и теории, нашелся подходящий человек — педагог в душе, а по профессии мичман с военного же узла связи, Алексей Васильевич, еще заставший на срочной морской службе последние годы войны: вроде как радистом на знаменитой «щуке» командира Лукина, торпедировавшего «Тирпиц», самый большой линкор по ведомству гросс-адмирала Дёница. Такой слух среди ребят ходил.

Будучи же еще с довоенных мальчишеских лет страстным радиолюбителем, он не ограничился с нами уроками радиодела и морзянки, а мигом сварганил, то есть оборудовал по высшему разряду радиостанцию, завезя в школу два грузовика списанной, но абсолютно надежной и работоспособной аппаратуры и причандалов к ней. Как он и директор школы сумели вырвать у особого отдела гарнизона закрытого военного города разрешение на открытие любительской радиостанции — о том история умал-

* Как сейчас одиннадцатилетку собезъяничали с американцев, так и в 60-е годы Никита, побывав в Америке, привез ее оттуда вместе с кукурузой...— Прим. авт.

чивает. Впрочем, тогда к педагогам прислушивались, а среди будущих фанатов-коротковолновиков были два адмиральских сына (одного по званию, другого по должности) и многочисленно — детей капитанов первого ранга, командиров кораблей: надводных и подводных, включая и главного особиста гарнизона.

♦ В ночь на первый день занятий после зимних каникул и последнюю ночь трехсуточных соревнований, престижных «*WWDX*»*, моя смена в паре с Ленькой Карпенко была предпоследней: с нуля и до трех ночи. Ленька маялся зубами (боялся бормашины), а потому к ключу телеграфному не прикасался, все больше смотрел в потолок, видимо, размышляя: идти завтра к зубодеру или потерпеть? Надо было решаться, здесь был бессилен даже его могучий папаша, кстати, тот самый главный особист.

Мне Леньку было не жалко ни капельки, ибо хорошо помнил его сентябрьскую «шутку»; хотя он в ней и не признался, но это была тайна полишинеля, и по морде он схлопотал. А дело было в следующем. На второй год обучения телеграфному делу, когда Алексей Васильевич сварганил радиостанцию, он принес в радиокласс и выдал всем для заполнения анкеты, которые по правилам и требовалось заполнить всем, кто выходит в эфир. В «штатских» городах их складируют в архивах местных управлений КГБ, а в военных — в Особых отделах. Поскольку их заполняют чисто для проформы — что возьмешь с беспаспортного еще пацана? — то и формы анкет бережливый прапорщик-особист дает списанные. Также и нам попались явно образца 20—30-х годов, на двух листах, со множеством пунктов, где следовало подробно раскаяться: служил ли в белых армиях и у Махно?

---

* Соревнования на диплом Всемирного союза радиолюбителей-коротковолновиков, работающих на телеграфном ключе.— Прим. авт.

Почему служил, какой чин имел до революции, имели ли родители во владении фабрики-заводы, какими царскими наградами удостоен и пр. и пр.

Алексей Васильевич, педагогично скрывая улыбку строгостью лица, посоветовал на все эти интересные вопросы отвечать пунктуально и кратко, но обязательно отвечать: «Нет», «Не служил», «Не владели», «Не привлекался», «Не имел». Главное, втолковывал он, не делайте ошибок и ни в коем случае не исправляйте их, если сделали. Лучше заново перепишите, у меня запасные есть.

В графе о рождении я написал Мурманск, ибо в тамошнем роддоме я появился, однако потом задумался: официальным местом рождения является не роддом, а место проживания (ведь паспорта еще не было, в памяти не отложилось), то есть следовало указать: «пос. Белокаменка... района Мурманской области». Получив с легкой нотацией чистый бланк, заполнил его уже правильно. Подпорченный же, содержащий указание на имя, домашний адрес и неправильное место рождения, сунул в портфель, ибо военно-морской порядок в хозяйстве Алексея Васильевича категорически пресекал оставление всяких сорных бумаг, равно объедков и прочего мусора в ящиках наших рабочих столов с вмонтированными телеграфными ключами.

Однако, на уроке литературы сам черт поторопил — была контрольная; высказав свое одобрительное мнение о Жане Вальжане, в оставшиеся четверть часа, руководимый тем же рогатым, я расписал пунктуальнейшим образом всю свою интересную жизнь в подпорченной анкете. Писал с вдохновением, где не хватало места в графах — приписывал на полях. Получалось так, что хотя я и родился в семье богатейших воронежских помещиков, до 1861 года владевших в окрестности городка Рамони семью тысячами душ, но был почему-то незаконнорожденным

сыном обер-прокурора Святейшего Синода Константина Павловича Победоносцева... Это и определило судьбу дитяти: кадетский корпус в Воронеже, Михайловское артиллерийское училище в столице на Неве, там же и академия без обязательного перерыва на службу в армии. Окончив обучение в заведении, где и Достоевский чертил военные чертежи и знаменитое свое слово «стушеваться» придумал, был я отправлен помощником военного атташе в Париж, а по совместительству — от Управления внешней разведки — интересоваться артиллерийскими успехами дружественной по Антанте Франции. Орден «Почетного легиона» от премьер-министра Пуанкаре и «Белого Орла» — от своего государя я получил одновременно и перед самой империалистической войной.

Будучи патриотом и уже штабс-капитаном, я отказался от теплого местечка и виллы в Буживале (успел жениться на очаровательной и весьма состоятельной русской княгине из дома Белозерских-Белосельских, что постоянно проживала в столице Европы) и отправился в армию Брусилова, с коим, состоя его адъютантом от артиллерии, и совершил прорыв на равнины Венгрии. Скромный по виду и размерам, но высоко чтимый офицерский «Георгий» украсил мой китель. Подоспел к раздаче орденов, коих целый мешок привезли от румынского короля, нашего союзника...

Словом, к самой Октябрьской и Великой, несомненно социалистической, я в неполные 30 лет носил уже полковничий мундир, украшенный всеми российскими орденами высоких степеней, исключая Андрея Первозванного, который дается только членам царской фамилии... причем при их рождении.*

---

* Заполняй я анкету в наше время, когда «Первозванный», вновь восстановленный, раздается совершенно разным людям, был бы и его кавалером...— Прим. авт.

В гражданскую я метался не хуже Григория Мелехова: был и начальником штаба у Деникина и комполка у батьки Махно, с Буденным Первую конную пестовал... В военной доблести на службе обновленному Отечеству сравнялся-таки с Блюхером: четыре «Красных Знамени» легли на мою возмужавшую в походах «по долинам и по взгорьям» грудь!

Но — плохо кончил, неизбытая дворянская спесь подвела: по веселому и пьяному делу прилюдно отхлестал нагайкой наркомвоенмора Иудушку Троцкого, чудом избежал расстрела, а потом и вовсе — старые друзья на большевистской службе помогли — бежал в Париж, в Буживаль к верной и дожидающейся, как печальная Сольвейг, супруге-княгинюшке.

♦ Дальнейшие подвиги описывать воздержусь, ибо кое-кто из сопутствующих моему жизненному пути знаменитостей сейчас в пантеоне великих.

Следующим уроком была как раз история, новейшая история России с ее революциями и войнами, происками Троцкого и победами советских маршалов. Наталья Капитоновна, наша уважаемая историчка, порой и не раз удивленно поднимала то правую, то левую бровь: тема урока была совсем невеселой — о перегибах первой пятилетки на селе, о раскулачивании и расказачивании, голоде на Украине и пр., а тут волнами — от парты к парте — с интервалом в две-три минуты прорывался с трудом сдерживаемый хохот. То читали пущенное мною мое же жизнеописание.

Прозвенел звонок, озадаченная Наталья Капитоновна собрала свои книжки, журнал и вышла, явно в полном недоумении. Весьма довольный собой, я тоже поднялся, дождался пока мне вернули удивительную анкету, подержал ее в руке, подумал, а затем скомкал и, выходя одним из последних, бросил в мусорную корзину, что стояла в углу между дверью и партами.

Надо заметить, что с того происшествия я всякую ненужную бумажку выбрасываю не иначе, как только разорвав ее — по правилам, рекомендуемым различными «первыми отделами» и прочими секретчиками, на 64 кусочка: надвое, далее, сложив половинки, начетверо и так далее. Даже если это листовка-агитка, опущенная в наше демократическое время в почтовый ящик, в которой здоровенный — рожа еле в фотографию влезает — бандит или иной какой «предприниматель» обещает в случае его избрания в местное или центральное представительство и манну небесную и копеечку в базарный день нищему подать... Такой вот памятный урок получил за свою шутку.

Выходя из класса, мало что думал: кто же и что думает, выходя с последнего урока в ласковый раннесентябрьский день. На волю! Но боковое зрение помимо мысли отметило: после меня в классе оставались только — и направлялись тоже к выходу — две подружки с удивительными фамилиями Кочерга и Колбаса, причем, Кочерга была сухой, тощей, чернявой полтавской хохлушкой, а Света Колбаса — приятно-пышной, дородной уже в свои пятнадцать лет вальяжной блондинкой с красивыми голубыми глазами и высокой грудью, а также Ленька Карпенко по кличке «Карп», замешкавшийся за своей камчатской партой. Опять же только спустя время я припомнил его серьезный и внимательный взгляд вослед мне, уходящему.

На следующее утро шел в школу, еще ощущая себя героем дня, хотя и минувшего, поэтому даже и не удивился, что со мной предупредительно, хотя как-то странно, здороваются некоторые из встречаемых-обгоняемых по дороге одноклассников. Причем с гордостью отметил, что и отдаленно лишь знакомые девочки из других классов перешептываются, завидев меня. Городок-то маленький, все новости за полдня растекаются! Только неразлучные подружки

Кочерга и Колбаса кивнули мне как обычно, на ходу живо обсуждая виды на ближайший завоз в военторг польской косметики...

У самых школьных ворот на меня надвинулся тучей непонятно почему появившийся в этот день (занятий по радиоделу не было) здесь Алексей Васильевич. По всему было видно, что шел он быстро, почти бежал, фуражка- мичманка на бок сбились, а тугой ворот кителя со стоячим воротничком был неуставно расстегнут — виднелся край тельняшки.

— Ты... ты что натворил, мать...— чуть было не сорвался он непедагогично. Я даже повернулся, оглядываясь, на кого это он так.

— Тебе, тебе говорю!

Меня бросило в жар и холод одновременно, живот завибрировал, а ладонь правой руки перестала чувствовать ручку портфеля. Вокруг стали собираться любознательные. Алексей Васильевич пришел в себя и, дав мне знак, вошел в дверь и поднялся на третий этаж, открыл радийную комнату, впустил меня, захлопнув дверь.

Как вскоре разъяснилось, вчера, возвращаясь с домашнего обеда, комендант города полковник Авзурагов заинтересовался большим скоплением разного, в том числе и штатского, народа у доски объявлений по гарнизону. Объявления там были всегда только одного свойства: какая форма одежды (зимняя, летняя, промежуточная и т. п.) надлежит на сегодняшний день к употреблению в ношении. Невероятно, чтобы с полсотни людей, матросов, гарнизонных солдат-краснопогонников, младших офицеров и даже стройбатовских азиатов, не говоря уже о цивильных подростках-школьниках, могло одновременно привлечь краткое сообщение, что-де по гарнизону на первую половину сентября месяца объявлена форма одежды № 2.

Комендант, дабы не компрометировать себя об-

щением с толпой, уняв любопытство, сначала проследовал в свой кабинет и оттуда уже послал дежурного офицера за разъяснениями. Тот вернулся, доставив начальству не что иное, как мою давешнюю анкету, которую какой-то сукин сын (я сразу понял кто он) аккуратно прикрепил на бечевке — как в магазинах книгу жалоб крепят, чтобы читать и писать с обеих сторон листов можно было — к им же вбитому в доску гвоздику. Заодно дежурный принес пользу комендатуре: разогнал толпу, прихватив троих «партизан»-киргизов, которые не могли толком объяснить: что они в разгар рабочего дня делают в центре города? Чернопогонников мигом пристроили к делу: отослали к соседней кочегарке, обогревавшей и комендатуру, разгрузить только что прибывшую бортовую машину с углем.

...К концу рассказа Алексей Васильевич сам начал посмеиваться, но внушение мне сделал строгое и велел написать на его имя объяснительную записку. «На всякий случай»,— кивнул он мне, выходя вслед за мной из комнаты.

♦ Карпу я тогда врезал, но он это дело запомнил и все-таки ответил: влепил мне по щеке публично по приговору суда чести класса (а в этом случае отвечать тем же не полагалось) месяц спустя. Дело было в том, что, как-то замешкавшись на перемене, я влетел в физический класс, когда Татьяна Сергеевна вела опрос по какому-то делу. Спросила и меня: дескать, такой-то раздел на дом задавала? Я ответил утвердительно, ибо и знать не знал, что был сговор провести семидесятилетнюю физичку с начатками амнезии. Самое же существенное, что мне по цепочке заранее должна была это сказать очаровательная Света Колбаса, но она сбежала сам-одна, даже без верной Кочерги, со второго еще урока в военторг, куда, по достоверным слухам, завезли редкостные тогда еще гэдээровские колготки.

...Надеюсь, теперь понятно, почему зубные мучения моего напарника не вызывали моего же сочувствия. Хотя злобы к Карпу уже не чувствовал: вроде как квиты, а в последних классах нашей школы принято взаимные грехи прощать, ибо еще год с половиной — и разлетимся кто куда, это не Большая земля, тут редко кто остается. Оттого и прощают друг друга, как то принято при расставании.

Ленька клялся и божился, что с вечера зуб не тревожил, а заныл уже в школе. Этому охотно верил,— что зуб всегда схватывает ночью. Отпустить же его домой было невозможно: строжайшее правило находиться при включенном оборудовании не менее чем двум. Позвонить и вызвать замену — так единственный телефон в опечатанном кабинете директора. В конце концов Ленька выпил два стакана горячего чая (имелся дежурный электрочайник), съел очередную таблетку цитрамона из имевшейся на радиостанции аптечки, после чего боль притупилась, а он сам прикорнул в комнате-предбаннике на имевшемся там на случай дежурной дремоты топчане, некогда принесенном с первого этажа из медпункта; им новый привезли. Наконец-то остался единым хозяином и, отключившись от мирских дел, надел наушники с резиновыми заглушками и полностью ушел в эфир.

♦ И еще несколько слов о радиоспорте, ныне почти что и канувшем в Лету, а в описываемые времена уступавшем по популярности разве что футболу. Ценилось не количество установленных радиосвязей, а работа с удаленной радиостанцией, желательно — на антиподе земли. Почетными трофеями были сеансы с Антарктидой и радиолюбителями на полярных станциях Арктики; правда, именно для нас последние раритетами не являлись: сами на краю Арктики.

Большой удачей считалась связь со знаменитыми экспедициями: на Гималаях, с Туром Хейердалом в

очередном его плавании, со станцией «Северный Полюс», каждый год начинавшей свой дрейф на льдине. Ценились экзотические позывные центральноафриканских стран, Новой Зеландии, тихоокеанских архипелагов, а также сеансы с крайне малочисленными радиолюбителями, почти что единицами, в Китае, КНДР, Вьетнаме (Северном), Монголии. Некоторые смельчаки рисковали — рисковали потерей позывного — в глухое ночное время, конечно, не называя своего позывного, обменяться мнениями о погоде и слышимости со станциями из Южной Африки и Израиля, контакты с которыми были строго-настрого запрещены бывшим геройским полярником-папанинцем Эрнестом Теодоровичем Кренкелем — начальником Центрального радиоклуба СССР.

Но были и позывные, за которыми гонялись, сутками ловили их по всему эфиру, а свидетельство состоявшегося радиообмена, так называемую карточку-«кюэсэльку» (от кодового слова *QSL* — подтверждение радиосвязи), любовно обрамляли в рамочку под стеклом и вешали на самом видном месте. Таких позывных по негласному списку во всем мире было десяток-другой. Из наших ребят только Сашка Рогожин имел красочную карточку именитого радиолюбителя — короля Иордании Хуссейна, прямого потомка Магомета. И не потому такую редкостную связь отхватил, что был сыном адмирала, командира эскадры подводных лодок, а имел прекрасный музыкальный слух, что в радиотелеграфе первое дело, выполнил норму кандидата в мастера спорта, а Хуссейна целенаправленно выискивал в эфире почти полгода.

Лично моим достижением была карточка американца с яхты, приписанной к Окленду. Но это была знаменитость скандального толка: радиолюбителям всего мира было известно, что этот Джон что-то много уворовал в банковском своем бизнесе и уже

третий год путешествует на своей яхте в международных водах; если же он войдет в территориальные воды США или европейских стран, то его арестуют и препроводят куда следует. А для общения с миром — скучно ведь на яхте! — страстным радиолюбителем заделался.

♦ Итак, избавившись от напарника, задремавшего на топчане, вошел в эфир, заполоненный по случаю последних часов соревнования и хорошего прохождения радиоволн в северном полушарии. Давили своей массовостью американцы и японцы, связи с ними не котировались, поэтому ушел в нижний конец диапазона. Здесь было потише, но на несчастье подловил всем нам известный Боря из Хайфы. Это был для нашей радиостанции бич божий. Он прекрасно знал, что советским не разрешается работать с Израилем, но прямо-таки умолял ответить. Отступая от правил телеграфного обмена, переходил от кодовых слов к открытому тексту, который мы все прекрасно уже знали. Знали, что родом из Петрозаводска, а в Мурманске учили в пединституте, земляк наш... Боре мы могли только посочувствовать. Избавился радикально — перекрутил ручку настройки в другой край диапазона. Там тоже было тихо, поэтому, уловив писк «CQ» какого-то американца, без особого интереса ответил ему, обменялся протокольными данными, узнал, что зовут его Барри, название штата не разобрал — пошел гулять фединг, то есть периодическое замирание связи, что случается в разгар северного сияния. Записал в дежурный журнал и снова вернулся в эфир. К концу смены установил с десяток связей, не очень интересных. Потянуло в сон.

Ровно в три дверь отворилась, вошел Алексей Васильевич, который, памятуя, что завтра первый учебный день, последнюю вахту решил провести сам. Одеваясь и будя Карпа, я был остановлен удивленным возгласом наставника:

— Что же не похвастался?

— А-а что такое?

— Как что?! Ты же с самим бешенным Барри связался!

Я в восторге сглотнул слюну и перестал расталкивать Леньку. Как же, кто тогда в нашей стране по десять раз за день не встречал имени бешенного Барри: по радио, по телевизору, в журнале «Крокодил» по две-три карикатуры на него в каждом номере печатали. Это был раритет первого класса, даже в чем-то превосходящий в сложной радиолюбительской иерархии короля Иордании... Словом, это был знаменитый антисоветчик, антикоммунист, крайний правый сенатор Барри Голдуотер!

Пробираясь в темноте ночи — а тут еще и пурга завязалась — домой по скрипучему и бесконечно длинному Чертовому мосту, я с легким злорадством представлял завтрашнее кислое лицо Сашки Рогожина, а более всего обдумывал: какой формы и из какого дерева сделать рамочку покрасивее для *QSL*-карточки с лихой подписью *Barry Goldwater* под хорошо знакомой фотографией знаменитого сенатора. Вот повезло-то!

♦ Вот ведь, рассуждал я философически, пробираясь утром все по той же пурге, уже стихающей, в обратном направлении, то есть от дома к школе: наверняка король Хуссейн в своей Иордании запрещает компартию, а про отношение к коммунистам бешенного Барри и говорить нечего, а вот в эфире встретились — и друзья-коллеги. Все-таки, обобщал я, радиолюбители-коротковолновики есть своего рода масонское сообщество: на людях головы друг другу рубят, а в своем коллективе все братья.

Неизвестно, до чего бы я доразмышлялся, но на траверсе школы догнал длинного Сашку Рогожина и похвастался. Тот промолчал, но в раздевалке обронил: ты, смотри, поосторожней будь. На тебя и так

уже, наверное, дело особисты завели из-за той анкеты, а теперь еще и Барри Голдуотер*. Вот стервец, весь душевный настрой испортил!

Кстати говоря, *QSL*-ка от Барри до меня так и не дошла. Я интересовался у Алексея Васильевича потом: неужели и правда карточку особисты в дело подшили? Тот, подумав, ответил в том смысле, что это маловероятно. Может и помнят где надо, даже вовсе и не в связи с моей фамилией, тем более, что в радиообмене только имена сообщаются, а карточку не задержат.

— Скорее всего в Центральном радиоклубе — почта через них идет — кто-нибудь спер для личной коллекции, там жуки еще те!

— Кренкель что ли?

— Да там и без него хватает.

♦ На часах половина девятого, звонок прозвенел, а Наталья Капитоновна запаздывала. В классе сама собой установилась тишина: самый сонный в Заполярье час, да и десятиклассники все-таки... Пурга на улице совсем утихла, со стороны пирсов доносились обычные звуки никогда не прекращавшейся жизни большой военно-морской базы: пронзительный шум круглосуточно несся над городом от кислородной станции, где сжатый воздух закачивали в огромные цистерны-баллоны, загружаемые на подводные лодки. Этим сжатым до огромных атмосфер воздухом лодка при всплытии вытесняла балласт — тонны загнанной в межкорпусные полости воды при погружении.

Собачьим лаем переговаривались между собой и с береговыми службами звуковые наутофоны малых

---

* А ведь любопытно было бы полистать то самое «Дело №...», которое тянется всю жизнь почитай за каждым человеком; неужели и правда, что в описи его за номером первым значится та самая анкета? — Прим. авт.

катеров и буксиров, сновавших по освещенному прожекторами заливу вроде бы и беспорядочно на первый взгляд, но на самом деле строго выверено по штабным графикам и приказам.

Взрывно начинали, а потом ритмично и звонко барабанили опробуемые дизеля подлодок. Вообще говоря, лодка вещь очень шумная. При надводном ходе она грохочет громче идущего крейсера — и это не только мое наблюдение. Только вот гибнет, тонет лодка без шума...

По сложной ассоциации вспомнилась вчерашняя, то есть сегодняшняя радиосвязь с итальянцем Гвидо из Палермо (с ним уже полгода назад работал). Надо сказать — бывалые моряки рассказывали — из всех европейцев именно итальянцы самые консервативные, вовсе не англичане, как принято считать. У себя в Италии они иного языка, кроме как итальянского, вовсе не признают. Даже в таком глубоко интернациональном и не привязанном ни к какому языку (радиолюбительский жаргон и Q-код имеют к английскому весьма отдаленное отношение) деле, как радиоспорт, итальяшки выпендриваются: все радиолюбители мира между вызываемым и своим позывными ставят частицу *de*, то есть «от», а сыны Неаполя, Палермо и других городов и весей упрямо отбивают на ключе *di*, то есть разница в одной точке: *e* — одна точка, *i* — две точки.

А эта лишняя точка тем же итальянцам очень дорого во время войны обошлась. Алексей Васильевич, приучая нас на уроках к военно-морской дисциплине и аккуратности в телеграфном деле, рассказывал наиболее поучительные случаи, когда по вине раззявы-радиста случались разные неприятные истории. Наиболее громкая из них и была связана с гонористостью итальянцев.

Всем известна жестокая война в Атлантике, когда немецкие подлодки бессчетно пускали на дно

целые караваны американских транспортов, но и сами несли большие потери, порой до двух десятков подлодок в месяц. И хотя за годы войны на верфях Германии было построено свыше 1000 лучших тогда субмарин, знаменитых *U*-ботов (?!), а к сорок пятому году спускали на воду лодку ежедневно, потери в Атлантике были болезненными, в итоге они достигли цифры фантастической — где-то порядка шестисот! Главными врагами были британская противолодочная авиация и корабли Флота Метрополии, базировавшиеся на шотландском побережье. Важно было обнаружить выход кораблей в море и предупредить штаб германского подводного флота.

Наиболее удачливым разведчиком-дозорным была одна из итальянских подлодок, которая неделями дежурила на перископной глубине напротив Скапа-Флоу — главной базы английского флота в Шотландии. На связь она выходила, маскируясь в позывных под английский корабль береговой охраны. И все шло прекрасно до тех пор, пока итальянский радист сел за ключ в день, когда пришла его очередь на бутылку кьянти.* Алкоголь нивелировал тщательную подготовку радиста; ему даже «руку» подбирали под английский стиль работы, а тут всплыло механически затверженное «*di*» и... лишней точки было достаточно: англичане мигом лодку запеленговали, поднялись самолеты с глубинными бомбами, и одной подлодкой во флоте короля Виктора-Эммануила V и дуче Муссолини стало меньше.

♦ Наталья Капитоновна вошла в класс навстречу дружно поднявшимся тридцати десятиклассникам. Выдержав паузу, она собиралась поприветствовать

---

* Традиция, соблюдаемая всеми подводниками мира: положенные в день 100 грамм сухого вина суммируются «временными коллективами» из 7 человек, каждый из которых раз в неделю снимает стресс, выпивая бутылку вина стандартной емкости — 0,7 литра.— Прим. авт.

нас. И в этот момент звонко хлестнуло по окнам, тугая волна от заколебавшихся стекол ощутимо пробежала через кубатуру класса, и еще туже хлестнул по ушам запоздавшей за первой волной грохот мощного взрыва. Все инстинктивно пригнули головы, обхватив ладонями уши. Наталья Капитоновна схватилась за сердце, но устояла. Затем все, как заученно, посмотрели на целые, невыбитые стекла и на светившие, непогасшие лампы в потолочных плафонах. Только трое ребят, приехавших в город и начавших учиться в нашей школе год-два тому назад, не действовали в описанной последовательности. Они не поняли всего ужаса *совпадения*: до ситуации, до дня, даже до минуты. Остальные же все остолбенели, побледнев. Опомнившись, Наталья Капитоновна, хватая ртом воздух, опрометью бросилась к двери; слышно было нам, даже полуоглушенным, как гремят ее каблуки по паркету коридора.

Оцепенение прошло, кто-то прилип к окну, пытаясь разглядеть нечто, ребята угрюмо молчали, а девчонки жались одна к другой, расширенными зрачками то и дело бросая взгляды в сторону незакрытой двери в коридор. Топот и цоканье бегущих каблуков в коридоре усилился, а затем перешел в спокойные шаги. Вернулась Наталья Капитоновна с гневно сжатыми губами; бледность ее отошла, сменяясь нервической красной, охватившей уже открытую шею и продвигавшейся по вискам, захватывая щеки и подбородок.

— Черт знает что,— не сдерживала она своего раздражения,— да садитесь вы! Все в порядке, это на стройке за поликлиникой...

Общий вздох облегчения пронесся по классу, стройку за соседней детской поликлиникой все хорошо знали.

И все враз обернулись на дробящийся стук и громкое «ой» Светы Колбасы: несчастная, она уро-

нила и вдребезги разбила накануне купленную в гарнизонном военторге сверхдефицитную польскую пудреницу.

— Ты еще тут греметь будешь! — прикрикнула Наталья Капитоновна, краска лица которой уже перешла в багровые тона,— да сядьте вы, урок все-таки!

♦ Опять-таки надо пояснить, что такое стройка в наших местах, где почвы вовсе никакой нет, а под ногами сплошной монолит-гранит, из которого нагромождены здешние сопки: ни единой ровной площадки, а дома города лепятся уступами на склонах береговых сопок. Короче говоря, чтобы построить даже небольшую двухподъездную пятиэтажку, необходимо площадку под основание ее вырубить из уступа гранитной сопки. «Вырубают» же способом одинаковым: неделю-другую десяток или поболее стройбатов-чернопогонников сверлят-долбят лунки диаметром со школьную чернильницу-непроливайку и метровой глубины. Работа из числа «пыльных»: питаемый сжатым воздухом от компрессора отбойный молоток стахановского типа рвется из рук, грохот от десятка одновременно работающих молотков — с утра до темноты — непривычного человека с ума сведет. Не день и не два бурится в граните метровая лунка.

Наконец, несколько десятков лунок, размеченных лейтенантом-прорабом, готовы. В каждую из них укладывают на всю глубину цилиндры динамитных шашек. К верхним шашкам прикреплены электродетонаторы (если лунок немного, то вместо них используют детонаторы с бикфордовыми шнурами), провода от которых протягивают в ближайшее укрытое место, где ставят коробку взрывмашинки.

Поскольку вокруг стройки жилые дома, та же школа, детсад и пр., а жильцов и постояльцев никто эвакуировать не собирается, равно как и ремонтиро-

вать эти самые соседние здания после взрывов, то поступают гениально просто: привозят и сваливают рядом со стройплощадкой несколько грузовиков толстых бревен, как правило, комлевых. Бревна — одно к другому — накатывают на зону взрывов и сбивают большими скобами этакий сухопутный плот. Накатывают второй ряд бревен — перпендикулярно к первым — и сколачивают второй слой плота. Иногда и третий ряд добавляют. После чего стройбатовцы с красными флажками в руках разбегаются округ площадки, прячась за углами и выступами соседних зданий, гоня перед собой случайных любопытствующих пацанов. Переносная звукоустановка издает истошный вой (который в плотном и сыром зимнем воздухе мало отличим от сигналов на рейде — почему в то утро никто из нас и не обратил внимания), а через полминуты грохочет мощный взрыв нескольких сотен динамитных шашек. Многотонный плот подпрыгивает на метр-полтора и гасит брызнувший слой каменюк. Впрочем, небольшие камешки все же умудряются проскочить между бревен и с дробным стуком падают на соседние крыши и просто под ноги прохожих. На это внимания не обращают. Кстати, стекла в соседних домах этими камешками бьются редко, ибо вылетают через настил вертикально.

Далее стройбатовцы, матерясь по-русски, а разговаривая по-узбекски, плоты разбивают и стаскивают бревна поодаль — для устройства следующего настила. Камни с использованием малой техники грузят в самосвалы и увозят. Прораб с геодезистом обмеряют площадку; намечаются новые лунки и все повторяется. Труд, согласитесь, адовый и кропотливый, но иначе нельзя.

Как уже к полудню выяснилось — директор звонила с жалобой в гарнизонные инстанции,— все для взрыва подготовили еще днем накануне, но при сборке настила затерялся один из проводов; это дело

хлопотное, если при взрыве хоть один заряд уцелеет, поэтому стройбатов отпустили в казарму ужин ужинать и отдыхать, а прораб с взрывниками нашли-таки утерянный провод. Однако по позднему времени взрывать не стали, вызвали на ночь из комендатуры караул, а дело оставили до следующего дня.

Надо отметить, что хотя стройбатовцы автомат держат в руках только в день присяги, зато вкалывают они, как и гражданские строители, за обычную зарплату, которая, как известно, существенно зависит от выполнения- перевыполнения планов. А в воинской части понятие плана и дисциплины неразрывны. Поэтому-то, торопясь наверстать упущенное время, которое и при социализме есть деньги, прораб и громыхнул взрывом рано утром, что не поощрялось в целях спокойствия населения. Директор школы подняла в местных и военных властях большой шум, упрекая в травмировании школьников. Более того, она настаивала на том, что это преднамеренный и злостный хулиганский акт со стороны лейтенанта-прораба, выбравшего для взрыва день и час (с точностью до минуты?!), которые случайными назвать нельзя.

Дело улаживал сам комендант, дочь которого училась в нашем классе. Хотя умысла в действиях прораба не нашли — он всего полгода как прибыл сюда на службу из Ленинградской области,— тем не менее формально он нарушил порядок, потому лейтенанту притормозили на год присвоение следующего воинского звания, а его подопечным снизили показатели по соцсоревнованию.

♦ А зловещее совпадение и действительно трудно было отнести к категории случайностей. Именно одиннадцатого января, в первый день после каникул, наш 7 «Б»-класс также сонно позевывал, рассевшись по партам и ожидая начала первого в четверти урока. Только тогда ждали не историчку Наталью

Капитоновну, а учительницу русского Марию Алексеевну, которая через год и стала новым школьным директором, заменив прежнюю — Веру Ивановну. Пунктуальная, она вошла в класс ровно по звонку в четверть девятого, и тотчас пол под ногами подпрыгнул, зазвенели вылетающие из оконных рам стекла, погас свет, а по ушам пребольно хлестнуло. В наступившей тишине и полной темноте раздался очень даже спокойный голос учительницы:

— Сидите смирно, первый ряд у окна — никого не задело? А теперь встаньте из-за парт и выйдете в проход. Есть у кого фонарики?

Фонарики, конечно, нашлись; в полярную ночь без них никуда. Лучи забегали по окнам, потолку, по сидящим и стоящим. Слава богу, никого даже не поцарапало, хотя несколько стекол было разбито, а главное — упал один из плафонов, но упал и разбился в проходе между вторым и третьим рядом, ближе к «камчатке».

— Петров, дай мне фонарик, а вы ждите, не бегайте, в коридор не выходите, я сейчас все выясню.

С этим Мария Алексеевна вышла в коридор. Слышны были и другие шаги, осторожные вопросы-ответы.

В классе стоял тихий гомон, кто-то пытался разглядеть происходящее в окно, но там стояла темень: во всех домах свет в окнах погашен, ровно как и уличные фонари. Догадки о начале войны сразу отвергли, ибо Карибский кризис благополучно завершился еще ранней осенью, а других осложнений в мире вроде бы не было. Сашка Рогожин, тогда еще сын капитана первого ранга, авторитетно утверждал о начале крупных военно-морских учений с имитацией на Екатерининском острове ядерного взрыва, намекая на информацию, уловленную им из подслушанного телефонного разговора отца.

Ему склонны были верить, ибо позапрошлым ле-

том такую имитацию все воочию видели: на Екатерининском нежилом острове громыхнули, подорвали бочки с дымсоставом, черное облако грибом поползло на небо, на город, перша горло, а все военные надели противогазы и полдня бегали в них.

Электричество же, как продолжал пояснять Сашка, аварийно выключили для правдоподобия. Неувязка была с вылетевшими стеклами.

— Наверное, не рассчитали, большой заряд заложили,— размышлял он,— кой-кому за это влетит по первое число!

Вскоре вернулась Мария Алексеевна:

— Авария на пирсах. Собирайте свои портфели. В раздевалку классы будут выходить поочередно; мы пойдем через пять минут, постройтесь у двери попарно, кто с фонариками — впереди и сзади.

Слышно было, как по коридору с топаньем прошел девятый класс, занимавшийся в соседней комнате. Лучики их фонариков залетали в нашу дверь.

— Пошли,— скомандовала Марья Алексеевна,— только под ноги внимательно смотрите, в коридоре много выбитых стекол.

Действительно, коридор был усыпан осколками, видно, взрывная волна шла по этой стороне здания, а из черных выбоин ощутимо тянуло сырым холодом. Дошли до раздевалки, где было относительно светло: горели две «летучие мыши» из запасов завхоза и еще пара-тройка свечей. Оделись и вышли на улицу. На выходе Мария Алексеевна напоминала выходящим:

— Идите прямо домой, кому по пути, лучше подвое, по-трое, чтобы фонарик был. В школе стекла надо будет вставлять, так что о начале занятий объявим. До свидания.

♦ Я, единственный из всего класса, жил в Старом Полярном, попутчиков не нашлось, фонарик уже не требовалось включать: к девяти часам чуть

забрезжило, но по свежевыпавшему снегу было почти что светло. Дошел до дома с темными, но целыми окнами. Мать на кухне растапливала печку, отец собирался на работу в дэкаф, братья спали — им во вторую смену в школу; вернее — полагалось во вторую.

— Из школы отпустили, там окна побило, света нет.

— Ну а у нас нет,— мать поправила фитиль у горевшей керосиновой лампы «трехлинейки», что привезли в город с Большого Оленьего.

— Что там взорвалось, что говорят? — спросил, надевая шубу и шапку, отец.

— Говорят, авария в гавани.

— Н-д-а-а. Но я пошел.

И я пошел досыпать, стряхнув с одеяла известковую пыль с потолка.

Проснувшись часам к одиннадцати, не обнаружил дома никого; мать, по всей видимости, ушла в магазин, а братья, узнав, что каникулы продолжились, умчались на улицу. Прошел на кухню, поел, оделся и отправился в сторону школы.

Школа стояла с темными, кое-где выбитыми стеклами. Та же картина и в соседних домах, причем, чем ближе к пирсам, тем больше выбитых стекол. Около школы никто из проходивших ребят не задерживался, все шли в сторону ближней сопки, за которой следовал пологий спуск к пирсам. Прислушиваясь к разговорам, уже знал: лодка взорвалась (в гавани стояли только обычные, дизельные подлодки). Кто-то сообщил, что недалеко от Циркульного магазина видел на снегу оторванное ухо... Говорили о металлической, с тонну весом, болванке, которая упала на крышу дома, пробила четыре этажа, а на первом раздробила ноги у десятилетней девочки.

Взрослых на улицах днем не было; как и в обычные дни все они, а это преимущественно люди

военные, были заняты своими рабочими делами, которые располагались вовсе не в городской черте. Перевалив через гребень сопки, правда, небольшой и пологой, прежде всего увидел толпу: чуть ли не вся школа, то есть все ребята города, собрались здесь и молча смотрели вниз.

У самого пирса, как странные монументы, вертикально вверх возвышались над водой, тихой, свинцово-серой, части лодки: одна носом, другая кормой. Сразу вспомнил «Стремительный».

Сам же пирс, собранный из толстенных бревен, сколоченных скобами и обвязанный цепями и стальными — со взрослую руку толщиной — тросами, на сотню-другую метров вправо и влево был разворочен. Отдельные бревна закинуло на середину спуска с сопки. Сотни бревен, как разбитый плот, тянуло отливом от берега к середине залива.

Суеты на остатках пирса и на рейде не было. Малоразличимые на расстоянии и в густой синеве воздуха ходили матросы, раздавались неясные мегафонные команды. Два мощных буксира пыхтели у половинок лодок, поодаль, под странным углом к линии берега стояла еще одна лодка. Как сообщил многознающий Сашка Рогожин, эта лодка чудом уцелела, так как ее капитан буквально за несколько минут до взрыва по некоему наитию отошел от пирса, хотя этот маневр был вовсе не обязательным.

Догадок о причине взрыва уже не выискивали; доподлинно было известно, что на подлодке Балтфлота* Б-37 в возникшем пожаре взорвался весь

---

* Понятно дело, что, как и другие флота страны, Балтийский флот имел и подлодки. Но Финский залив и Балтийское море слишком «прозрачны» для них. Поэтому лодки Балтфлота фактически базировались на Северном и Черноморском (Средиземноморская «флотилия») флотах. Так и лодка Б-37 постоянно находилась в составе второй эскадры, то есть базировалась в Полярном.— Прим. авт.

боезапас торпед в носовой части — она и высилась сейчас вертикально кормовой частью над водой. Стоявшая с ней рядом, то есть вторым номером, лодка С-350 с началом пожара успела срочно отчалить, но и ее взрыв достал: корпус повредило, погибшие и раненые были...

Смотреть нам оставалось недолго. От пирсов по пологому склону сопки медленно поднимались, увязая в снегу, солдаты из комендантской роты: в полушубках, с автоматами за спинами, с рожками на поясах.

— Расходитесь, ребята, расходитесь,— повторял шедший впереди старлей,— нечего тут смотреть.

Солдаты поднялись на гребень сопки и остановились, сохраняя цепь, а мы пошли восвояси.

Каникулы продлили на десять дней, а когда пришли в школу, то все пошло своим чередом. Говорить о подобных вещах в нашем городе полагалось нетактичным. Еще через год, случайно проходя с ребятами через городское кладбище, что располагалось на окраине Старого Полярного, в губе Кислой, остановились у свежепокрашенного обелиска: братской могилы с более чем семью десятками имен. Чудом уцелел командир Б-37; его дочь с нами училась.

А в тот памятный день, уже вечером, катаясь на санках с горки в Старом Полярном, около почты, я раскатился, выехал на край дороги прямо под ноги торопливо шагавшего матроса с чемоданчиком в руке. Он сразу обратился ко мне:

— Скажи, парень, правда народ говорит, что сегодня лодка взорвалась?

— Взорвалась.

— Номер знаешь лодки?

— Конечно,— назвал номер «буки — тридцать семь», а у матроса чемоданчик выпал из руки.

— Ты что?

— Так я же с этой лодки! — И далее матрос, утирая шапкой выступивший на лице в пятнадцати-

градусный мороз пот, торопясь высказаться, рассказал нам, пацанам, что должен был еще вчера вечером прибыть в часть, на лодку, да от их села в Пензенской области до станции пятьдесят верст. Выехал на председательской машине, все рассчитано было, да машина застопорилась на середине пути, попуток, как назло, ни одной. Когда починили, то уже поезд по времени ушел, а он раз в сутки только и ходит. Пришлось на другой день на станцию ехать, вот сутки и потерял. Проходивший мимо народ прислушивался, а одна сердобольная пожилая женщина сказала матросу:

— Тебе, милок, свечку бы поставить, да где у нас церкву-то возьмешь? Повезло тебе, считай — заново родился...

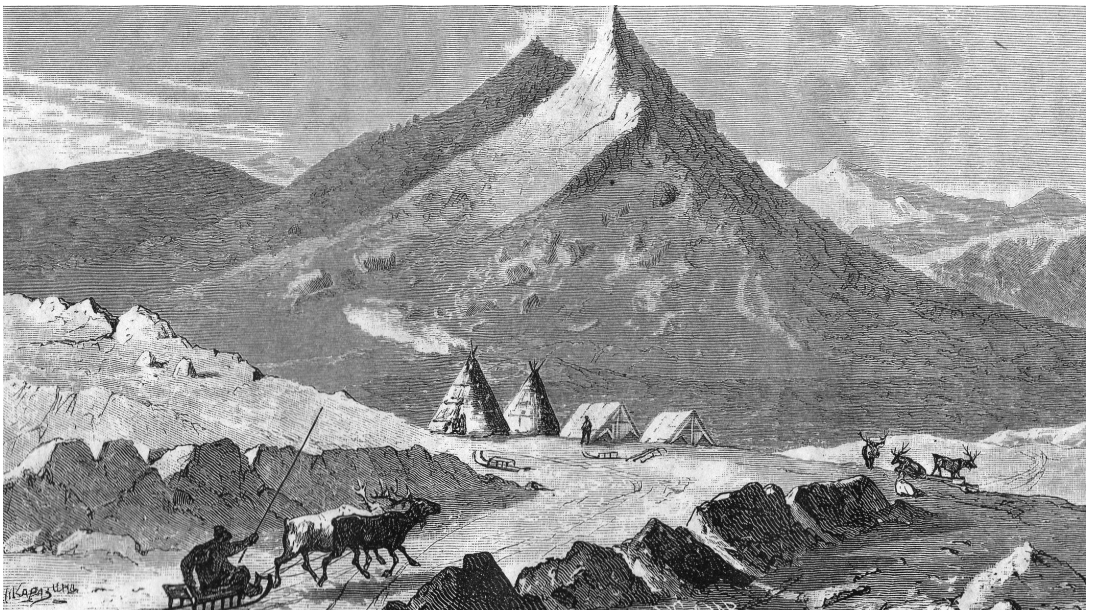
— Да нет, мать, чего мне радоваться, когда годки погибли, а я... словно дезертир.

Матрос попрощался со мной за руку, а отходя, вполголоса сказал с беспокойством, что, дескать, особисты всю душу вымотают.

Дома, ближе к полуночи, поймал прорвавшийся сквозь глушилку «Голос Америки». С плохо скрываемой радостью диктор сообщил, что на базе Северного флота СССР произошла крупнейшая за последние десять лет катастрофа с человеческими жертвами*.

---

* Реальное событие, произошедшее 11-го января 1962-го года в восемь часов пятнадцать минут — время взрыва Б-37 и повреждение стоящей рядом у пирса С-350. Различные версии взрыва боезапаса торпед (взорвалась одна, остальные сдетонировали) в носовом отсеке см. в публикациях; их можно найти в интернете... хотя к ним надо острожно относиться. Моя одноклассница Елена Бегеба (сейчас Бивейнис, живет в СПб) — дочь командира Б-37, чудом оставшегося в живых (умер в 2005 году), много претерпевшего, но оправданного трибуналом Северного флота и оставленного на службе. То есть мои сведения о катастрофе — почти что «из первых уст»... и своих глаз.— Прим. авт.



Вид гор с реки Хайяги

Езда на оленях в тундре зимой

♦ Через неделю директору Сормовского судостроительного завода было предписано изыскать возможность и заложить дополнительно к плану две подводные лодки.

Если признаться честно, то те длинные каникулы показались нам тоскливыми.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ НЕ НА СКОВОРОДКЕ ГОТОВЯТСЯ

♦ Но еще не один год жизни Николки в полярнинском интернате, а летом и в промежуточные каникулы на Большом Оленьем, отделял его от взрыва в Екатерининской гавани, в плане познания жизни замкнувшегося с гибелью там же, но в иное историческое время, эсминца «Стремительный». И хотя от случая к случаю — здесь «сухое Заполярье», а во Дворцах отвлекающее «чаевничанье» отца с деревенскими мужиками — учился Николка у родителей мудрости и содержанию жизни человеческой, но «воспитательные мысли не на сковородке готовятся» — почему-то запали в голову, по совершенно иному поводу, отнюдь не обращенные к нему, сказанные Беллой Нурьевной слова. Как по другому случаю Николка опять же услышал ее разговор с директоршей интерната Ниной Тимофеевной: «...Я хотя офицерская дочь, а теперь и таковая же жена, всю жизнь дотеперешнюю и нынешнюю, конечно, провожу в чисто русской среде; на родине, не хуже наших интернатских ребят, только в отпускные «каникулы» бываю, из языка, вроде бы и родного, хорошо пару сотен слов знаю... словом, Нина Тимофеевна, говорю, опять же всю жизнь, и думаю исключительно по-русски, почти что и внешностью не выделяюсь, а вот порой ловлю себя на слове, так сказать: произнесешь фразу самую обычную, ничем

не выспренную, а по лицу собеседника вижу, что тот услышанное от меня как бы «переводит», получается с русского на русский же! Вот она — память предков...»

И, действительно, задумался Николка насчет воспитательных мыслей, что не на сковородке жарятся, как это следует понимать? Для интернатского парнишки, маячника с Большого Оленьего, диковатого в понимании людей из-за островной от рождения жизни, слишком мудровато.

Вот к примеру музыку взять... Николка непроизвольно усмехнулся — как в первый отпуск на Большом Оленьем отец купил в калужском музыкальном магазине мандолину, а затем всю осень и зиму самоучкой осваивал игру на итальянском инструменте. Явно вспомнил свое заведование оркестром самодеятельности в калужском сельхозтехникуме. Но с наступлением весны, привычно психанув на неподатливость мандолины, вдребезги расколошматил ее о сарайную стенку, напугав резкостью и громкостью произведенного действия коз Машку и Дашку и сидевшего обочь входной двери Малахая, еще не увезенного с острова съехавшими зенитчиками, то есть не замененного *личным* псом Боцманом III. Через полчаса все маячники и снисовские матросы ухмылялись в адрес «несостоявшегося композитора», как обозначил Андреяна усатый старшина первой статьи Прокопенко — начальник поста. Мать же коротко по-архангельски сказала, что-де «у него рука бро́ска, себе лоб расшибет, если баским не покажется».

...На мандолине не научившись играть, отец очень убедительно, главное, понятно для четвероклассника объяснил — раз на всю жизнь — сущность музыки, причем в противопоставлении: какая нужна слушателю, а каковая ее сочинителю. Получалось, что слушатель волен полностью в своем

предпочтении, кто-как воспитан и «какое ухо справа и слева на голове имеет»: кому партагитки про хрущевскую кукурузу «Я — культура хлебная, я и ширпотребная» по натуре приходятся, а кто всю симфонию или оперу («Загрустил миленок мой, ничего не кушает. У приемника сидит, оперую слушает»,— это уже из язвительного, архангелогородского — конечно, в сторону, мимо Андреяновых ушей — подталдыкивания матери...) на едином дыхании выслушает, да еще опосля и облизнется, словно одну за другой пару стопок «скандербега» хлопнет. «...Музыку, Коль, почему-то принято разделять на «серьезную» и, стало быть так получается, что на «несерьезную». Глупость это, а скорее хитрость с хорошо упрятанными концами. Вот взять нашего композитора Мокроусова, которому Сталин, как всякий грузин хорошо чувствующий музыку, всего за три песни его дал своего имени премию, то есть высшую в стране! Премии же сталинские были столь многотысячны, что на них можно, не считая алтушек, жить пять — десять лет, а экономным и вовсе вовек. Мокроусов же мужик чисто русской натуры, вырос и жил близ Горького в Сормове — это из его песни: «Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке парнишка живет». Слышал, конечно? А в Сормове огромный, еще с царских времен, судостроительный завод, где и посейчас подводные лодки и надводные корабли, разумеется не крейсера, одни за другими со стапелей спускают в Волгу и отправляют самоходом на все флота и флотилии, окромя Тихоокеанского. Кстати говоря, в основном для этого и построен Беломорканал, а после войны Волго-Дон. Так вот, получив от Сталина премию, Мокроусов, сам любитель выпить, на все лето прописался в «голубом Дунае» на окраине Сормова — с подачей пива и водки,— и все работяги гуляли от души за здоровье Генера-

лиссимуса: к утру подтягиваются с ночной смены, пополудни их сменяет первая, а к ночи и вторая. «Дунай» на всю «сталинскую» за лето двухгодичный план выполнил, а имя лауреата в Сармове навсегда стало легендарным».

...Отвлекшись с мечтательностью в глазах, но и с подспудной обидой, что его в то лето в Сармово не случилось, отец закончил-таки свою воспитательную мысль в части так и не удавшейся ему самому музыки: «По-моему, так называемую «серьезную» музыку чаще всего сочиняют жулики с хорошим знанием, или наоборот, вовсе без знания, нотной грамоты — для денег и своей известности — значит опять же для мошны своей. Но если даже очень серьезную, то есть сложную в исполнении, музыку с удовольствием слушает обычный человек — это уже истинно талантливый композитор написал. Вот Моцарта, Бетховена взять... а лучше наших — Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, и что? А то, что когда слушаешь такую музыку, то вопроса себе не задаешь: серьезная она или не серьезная, или серединка-наполовинку? Это как и в живописи. Вот «Утро на Куликовом поле», под которой ты спишь, кто нарисовал — художник? Я не про калужского своего родича говорю, что скопировал, а про автора картины. А?»

Николка, путаясь в словах, коль скоро речь пошла о предмете специальном, не обыденном, ответил утвердительно. «Правильно,— одобрил художественный вкус воспитываемого сына Андреян,— это крепкий художник работал. Навроде Репина, Саврасова и всех передвижников — когда к Лазарю на выходные с Волховстроя приезжал, то не раз и не два в Русском музее побывал. И в Третьяковской галерее был — когда в первый послевоенный отпуск в Калугу через Москву ехал. У тебя еще все впереди, обязательно в этих музеях будешь! Кстати, мать

наша по фамилии из рода Третьяковых. У них в архангельском крае крепостного права не водилось, помещиков тож, а значит и общины крестьянской не было, поэтому при сравнительной малочисленности населения тамошний народ исстари «считался» родами. Третьяковский — один из них. Как тот же род Ломоносовых. ...Так вот, о художниках. Теперь взять всяких абстракционистов. Мне опять же кажется, а скорее всего действительно так дело и обстоит, что все они скопом самые настоящие прохиндеи и дельцы, не умеющие рисовать, исключая испанского художника Сальватора Дали. Тот и рисовать хорошо умеет, но и в абстракцию его тянет. И сумасшедших среди этой братии хватает...»

Николка, заерзав на стуле, невежливо перебил: «А зачем же тогда такую жульническую музыку слушают, картины сумасшедших и халтурщиков смотрят — да еще все это похваливают! Ведь если бы все плюнули на них, то и денег бы им никто не платил?».

«Правильно соображаешь,— одобрил отец,— но здесь все дело в склонности многих людей к козырянью; якобы мы не лапотные, толк знаем в том, что всякие черносошные неспособны понять и оценить. Хотя и говорится, что воровское стяжанье впрок не пойдет, но здесь все наоборот. Вот если в люди выйдешь, то дури этой не поддавайся! Сам все про себя соображай, как и во всем в жизни. Опять же традиции. Вот если русский человек водку предпо... впрочем, тебе это рано. Здесь на древних греков оглядывайся: у них только с тридцатилетнего возраста вино разрешалось пить. Значит, если коренной русский к чаю приобычен, то пусть и дует его самоварами. А еще лучше с лимоном индийский или китайский цветочный. Кофей же нам особо не с руки, не тот вкус. Традиция!»

Радуясь с ребячьим лукавством, Николка вставил

супротивное, дескать, подловил отца на слове: «А как же мать? Когда за нами в Полярный приходит, то обязательно в «Циркульном» или старополярнинском «На порожках» банку кофе покупает!»

Отец, с сожалением ощущая, что последние винные пары удовольствия покидают его, явно свертывал просветительскую беседу: «А это у них, у архангельских, всякие чудачества. И говорят вроде по-русски, но хохла скорее с его мовой поймешь. Опять же живут с древности в самой лесной глухомани, на отшибе от всей России, а тут на тебе! С царских времен еще кофеи распивают словно голландцы какие или англичане!»

И Николка вспомнил как мать, вспоминая свое прежнее житье в селе Великий Халуй, а в самые детские годы в деревне Погост, упоминала, что-де про них говорили, мол, в «кофейной деревеньке» проживают. А окрест еще несколько таких сел и деревень, в которых исстари чаю кофе предпочитают. Лавочники-нэпманы, как она говорила, всегда его из Плесецка и с онежской стороны завозили, а в тридцатые — сороковые годы заваривали кофейные напитки из овса и ячменя, что также всегда в сельмагах имелись. Ни мать, ни тем более отец о таком пристрастии потомственных северных крестьян к заморскому («А чай-то, кроме разведенного по указанию Сталина грузинского и краснодарского, разве не заморский?» — перекрестная мысль Николки) ничего толкового сказать не могли.

Разгадка, как то часто в жизни и бывает, пришла оттуда, откуда он не ждал. Правда, почти год спустя. Когда отец или мать утром отрывали прошедшего дня листок настенного календарика, то клали его на кухонный стол, зная, что старший сын всегда читает его обратную сторону, где всегда находил что-либо занимательное. И на очередном оторванном

листке прочитал стихотворение поэта*, явно родом из архангельских мест, в котором описывалось появление в этих-то местах привезенных из Англии шотландцев, которые сразу сдружились с русскими, перекрестились в православных, смешались с местными. И привычка *пить кофе* от них пошла.

Отец, пришедший с маяка, выслушал разгадку Николки, внимательно прочитал стихотворение и спросил у матери: «Из чего *у вас* в деревне самогон гнали?» — «Понятно из чего, из ячменя; пшеница и рожь у нас не урождаются». Отец усмехнулся: «Оно и понятно, почему эти пришлые так скоро подружились и перемешались с местными. Ведь самогон из ячменя — это и есть виски, а Бёрнс, самый знаменитый шотландский поэт, писал, что каждый шотландец еще в утробе матери умеет гнать виски... да, пробовал я ее в войну на Торосе: как только на наш пост новая смена англичан прибывала, так обязательно проставлялась нам несколькими бутылками. На вкус похуже даже нашего свекольного!»

♦ «Повезло родиться на Севере, как креститься в Касьянов день!» — порой говорила мать, когда в летних поездах в деревню Дворцы Николка гордился перед местной ребятней своим заполярным рождением и проживанием. Он уже знал от нее же, что в старые времена люди праздновали не день рождения, но свои именины, то есть когда их поп в церкви окрестил. А если крестили в Касьянов день, то есть двадцать девятого февраля, то такой бедолага получал именинные подарки раз в четыре года... До десятилетнего возраста Николка не то что не понимал

* Кажется, Сергей Марков. Десять тысяч изгнанных при Марии Стюарт шотландцев-гугенотов по договоренности с царем Алексеем Михайловичем были перевезены в Россию и расселены в малолюдном Архангельском крае, а вожди кланов в Москве осели; отсюда Рыленты, Бальмонты и Лермонты.— Прим. авт.

мудреность этой присказки, но не принимал в размышления свои, словом, отмахивался. Поумнев после четвертого класса, когда Анфиса Петровна, украдкой смахивая с молодых глаз слезинку-другую, передавала свой «начальный» выпуск сонму их будущих математичек, историчек, географичек и вплоть до астрономичек и прочих певичек, он начал все же догадываться насчет Касьянова дня. Николка уже понимал: почему в их школе, исключая матерого физрука Рэма* Давыдыча и один лишь год преподававшего в школе химию молодого, осанистого, с ухоженными пышными усами учителя со странной фамилией Берлин — с ударением на первом слоге, сплошь одни учительницы. А потому, что все офицеры-подводники прибывали в Полярный из Ленинграда, где на последнем курсе высшего училища подводного плавания, знаменитого ЛВВУПП — кузнецы кадров советских подводников, женились на тож выпускницах этого года: университета ЛГУ и пединститута имени Герцена. Поскольку же в Полярном эти жены могли найти работу только в школе, то и преобладали в учительстве. Кстати, скоро Рэм Давыдыч и вовсе остался в одиночестве. Как раз на судоремонтном заводе в губе Пала построили огромный цех по ремонту атомных подлодок, и Берлина сманили туда начальником лаборатории дозиметрии. Рэм же Давыдыч не только физкультуру вел, но и военную подготовку в старших классах. Учебное оружие, по причине ответственности за него, он хранил на своей квартире, поэтому утром шел в школу, а вечером домой обвешанный — был он крепким, плечистым,

* До прихода к власти Гитлера в 1933 году между СССР и Германией существовали достаточно тесные взаимоотношения: Советская власть в Баварии, Тельман с его «Спартаком», поначалу даже... и Рэм со своими штурмовиками. Отсюда и имена, дававшиеся в СССР тех лет детям: Рэм, Эрнст, Адольф, Альфред...— Прим. авт.

как ротный старшина — винтовками, автоматами ППШ и АК-47, с примкнутыми к поясному ремню штыками от мосинской винтовки и «калашникова» и парой гранат. Тоже учебных, конечно. Встречные патрульные офицеры и матросы шутейно козыряли ему, а солидные одиннадцатиклассники упрашивали «папу Рэма» сфотографироваться с ними...

А в части Касьянова дня, уразумев-таки смысл материной присказки, Николка все же больше склонялся к мнению отца: «...Конечно, житье здесь не сладкое, но и не приторное. Взрослым часто будешь вспоминать нашу северную жизнь, далеко не всем пришлось родиться и вырасти здесь!» — Не раз и не два научал он Николку. Понятно дело, в легком хмелю и в приподнятом настроении оттого. «Главное,— выводил он дальше свою линию,— как это не покажется странным, но именно здесь, в полной флотской дисциплине и уставности всей жизни, зажатой между скалами и морем,— все более и более распалялся в ораторстве (после второй стопки) отец,— человек обретает высшую, в смысле достижимости, свободу! Я же не раз говорил тебе, что свобода — это не вседозволенность, навроде как плевать на школьный ваш паркет начищенный, а, как ее определил, точно припечатал, Гегель: свобода есть осознанная необходимость. А в этих местах во всем нужна полнейшая осознанность происходящего в себе самом и окрест, в то же время такая осознанность вызвана именно необходимостью собственно жизни здесь, которая по сути есть и выживание. Понятно?»

Николка, в силу малого еще разума, понимал не философские слова отца, но более поддавался их интонации. Вроде как обобществленный маячный Малахай (потом и Боцман III). Отец же добавлял для понятности: «Вот по «Голосу Америки»,— он кивнул на приемник «Родина» на угловом столике кух-

ни,— как попугаи талдычат, каждое второе слово «свобода»! Но их буржуазная свобода есть полнейшая демагогия. Свобода же может быть только гегелевской и истинной — лишь при социализме. Но это каждый человек для себя понимает только во взрослении, набираясь опыта жизни...»

К опыту жизни отец в разговорах — не с Николкой, но для него! — обращался часто, причем настойчиво убеждал сына отделять этот опыт от «научного познания», как он мудрено выражался. При этом рассуждения его по научной части обычно сводились, опять же по его словам, к «русской специфике». Выходило по его словам, что не татарское с монгольским игом, «как вам в школе говорят», привело к вековым отставаниям России от Запада, ликвидированное лишь советской властью со Сталиным, но собственно государственная молодость русского народа и сторонность географическая от Европы. «Потому-то Ломоносов, земляк матери, еще арифметику по учебнику Магницкого учил, а великие ученые Эйлер и Бернулли, которых царица Елизавета переманила в Петербург, уже создали к этому времени основания той математики, что и сейчас таковыми являются. Молодость... Потому Михаил Васильевич и мечтал только:

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Земля российская рождать.

А для молодости,— пояснял отец,— свойственно устремление к познанию, но это самое устремление торопится, оно неусидчиво, веером разбегается во все стороны. Это как десять сортов... гм-м, конфет в ярких фантиках положить перед пацаном, а тот, обомлев от такой щедрости дарителя, без разбору начинают их пригоршнями хватать. Да за палуху их, за пазуху! Пример наипервейший той молодости в науке — сам Ломоносов, как образец всего русского, в

чем-то и до сих пор, мышления в части науки. Не было у него, как у тех же Эйлера и Бернулли, двухтысячелетнего, от времен древних Египта, Греции и Рима, накопленного историей Европы постепенного знания. Потому и имея великий от рождения талант, все свои устремления Ломоносов распылял на все науки, искусства и ремесла: от стихотворчества и выкладывания мозаичных картин во всю стену до открытия всемирного закона сохранения и атмосферы на Венере. Как в таких случаях нам сосланный в калужский техникум профессор Вениамин Григорьевич говорил, «не умел он специализироваться, не имел глубоких европейских научных традиций и базы». Другое дело, что в самых различных предметах он больших успехов добился — настолько головой своей архангельской силен был! Но, вообще-то говоря... в смысле тот же профессор говорил, что по большей части Ломоносов, по своей русской научной молодости, «заново велосипед изобретал». Не знаю, не берусь судить. Сам во взрослости разберешься, если желание и знание будут. Зато мы тогда в техникуме сразу смекнули, что были причины профессора сослать на сто первый километр...»

♦ Всякий раз, как мать приводила сыновей из Полярного на каникулы или выходные на Большой Олений, отец всегда интересовался: «Как там Чертов мост? Еще в ад не провалился?» И усмехался. По всей видимости, какое-то воспоминание из военных лет с этим мостом было связано. Кстати, с первого своего года проживания в Полярном, в интернате, Николка был уверен, что таковое наименование связано исключительно с определенной сложностью, особенно в февральские метели и скользские мартовские оттепели, перехода по мосту между двумя частями города: сотни ступенек вниз, в межсопочную низину, потом столько же вверх... Хорошо матросам, привычным к корабельным трапам и ребятне, ноги

которых от утренней побудки до вечернего отбоя, говоря по-интернатски, усталости не ведают. Да и взрослым мужикам, тем более круглосуточно трезвым в «сухом» городе. А вот для женщин, которые постарше, это все одно, что по альпинистской тропе идти. Как-то Николка сказал отцу про альпинистскую тропу, а тот одобрил сравнение: «Во-во, Коль, в корень смотришь! Ведь название-то мосту после его прокладки в тридцатые годы в нынешнем виде какой-то остряк неспроста дал, а имея в виду «Чертов мост», по которому Суворов переправлял свою армию в альпийском переходе в Италию.

«Здесь, в Полярном и вообще в этих местах, все названия либо старинные, новгородские и лопарские, а зачастую со смыслом или с подковыркой — навроде Чертова моста. Вот в Старом Полярном губа Кислая, откуда рейсовые пассажирские катера в обе стороны залива — до Мурманска и на север до Рыбачьего полуострова и Териберки с Кильдином курсируют,— тоже двусмысленное название. С одной стороны — она илистая, известняковая, то есть вода в губе хотя и горькая морская, но с кислинкой. А с другой — городское кладбище в верховье губы, ила где на несколько метров намыто, хоронить только там и можно. Хоронят же не с песнями и плясками, а с хмурыми, кислыми выражениями на лицах. Вот и второе к названию...»

«По радио говорят сейчас о скором строительстве какой-то электростанции в Кислой губе. Это там же, в Старом Полярном?» — поумничал Николка.

«Не какой-то, а первый в мире приливно-отливной. Нет, это в другой Кислой. Я ее-то хорошо знаю, на левом берегу залива, напротив острова Кувшинка, рядом с поселком пограничников и артиллеристов Кувшинская Салма — в получасе ходьбы на веслах от Тороса, где я три года войны служил. Места знакомые, объезженные и обхоженные.

Та Кислая, хотя и называется губой, то есть заливчиком, но вообще-то бухта глубокая и округлая в скалах с очень узким, в полтора десятков метров, проливом в Кольский залив. Поэтому в прилив и в отлив вода через него как из пожарного брандспойта идет, что-то навроде горизонтального водопада. Вот эту-то мощу напора в ту, а потом в другую сторону и хотят в электрическую энергию перелопатить».

Воспитательные мысли отца и матери, как соображал Николка, понятно, в более простых, неопределенных словах, действительно, не на сковородке жарятся-парятся, готовятся то есть. Главное — ненавязчиво, самотеком по отроческим его годам. В этом и отличие от школьного, дисциплинированного учения. Переезд их с Седловатого на Большой Олений явился определенным рубежом в умственном развитии Николки: от детства к отрочеству. Не считая особенностей этого самого школьного учения, познание детства — это окружающий мир, водами своими, звуками, йодистым запахом моря, поступками окружающих людей ощущаемый маленьким человеком. Но отрочество добавляет в полной мере отдаваемое ему взрослыми людьми, прежде всего отцом и матерью, опыт узнавания мира настоящего и прошлого, уже выходящего далеко-далеко за окоем видимого. ... Так бы определил различие детства и отрочества Николки он же сам, с годами помудрев, уже именуясь Николаем Андреяновичем...

♦ ...И став-таки им, с присовокуплением отчества от чудноватого, старообрядческого имени отца, Николай Андреянович четко отделял свое учение жизни в семейном общении, хотя бы во времени сжатое на каникулярные дни и недели и летние месяцы во Дворцах и на острове Большой Олений, и за школьной партой. А связывало их друг с другом, эти учения, книжное чтение. Книжный мир заставлял узнавать в тисненых литерами словах все сторо-

ны его жизни, хотя бы и часто в иной, совершенно отличной от наблюдаемой им, «одежке»... по которой и «протягивай ножки». В то же время все построение книжного мира достигала ума Николки только через дисциплинированную школьную премудрость. И уже взрослым Николаем Андреяновичем, изрядно хватившим от жизни и дисциплинированных наук, в памяти которого остров Большой Олений существовал некоторой вневременной картиной, в которой прошлое, настоящее и будущее (да-да, и оно тоже и всенепременно!) слились воедино, порой, в минуты, когда воспоминанием о той суровой, но славной жизни он затмевал, оттенял неизбежные досады и малые приятности текущей жизни, он выстраивал в ряд и вспоминал порознь рассказы отца. И всякий раз убеждался: в каждом из непрерывной цепи живущих воскресает *память отцов**, она и воспитывает этого каждого опытом жизни и устремлением к дисциплинированному знанию.

Вроде бы отрывками слышал Николка от отца о событиях его жизни, что откладывались в голове как основания будущего знания о мире и человеке, но иные краткие слова во взрослом осознании жизни позволяли ему бестрепетно и без волнения перелистывать, читать мудрые толстые тома. Всякое знание требует путеводителя. Взять те же «церковные дела». Николка с малых лет настолько привык к ворчанию матери, конечно, заглаза к отцу, навроде «старовер чертов», что и мысли не возникало задуматься о сути этого самого староверства, к которому та же мать не относилась. И зачем думать? — В озерке между маячным домом и маленькой казармой

---

* Память отцов — символ и основное содержание учения выдающегося русского философа, основоположника течения русского космизма Н. Ф. Федорова; «Философия общего дела» — его основной труд.— Прим. авт.

снисовских матросов вода пресная, а морская — горькая и соленая. Думай, не думай, но ничто не изменишь.

Правда, когда на старообрядческом лесном кладбище около Дворцов, куда Николку взяли с собой взрослые, он увидел старенького попа Маркела, что в революционном семнадцатом году молодым попиком окрестил Андреяна, он что-то задумался: а чем Маркел отличается от того «никонианского», как его называла тетка Настасья, попа, увиденного неделю назад, когда Настасья с матерью, опять же взяв с собой Николку, ходили на святой колодец, или Тихонову пустынь, что с другой стороны — по отношению к Дворцам — села Льва Толстого. Одеты вроде бы в одинаковые черные халаты до пят, кресты на груди висят на цепочках, шапки... и песни непонятные, но тоже схожие поют. Получается — ничем не отличаются. Задумался, но на обратной долгой, пешей дороге через лес, потом село и снова через лес от усталости задумку эту потерял. А вспомнил уже солидным пятиклассником на новогодних каникулах на Большом Оленьем и, улучив хотя и трезвое, но добродушное настроение отца, задал вопрос. И получил ответ: «В школе сейчас древнюю историю ведь изучаете? Но про русских царей вкратце уже знаешь. При царе Алексее патриархом, главой церкви, стал Никон. Властолюбивым оказался, все с царем сравняться хотел. На этом сыграл враг православия папа римский, и через своих агентов-иезуитов подставил Никона, подал ему мысль слегка изменить церковные обряды... так, мелочь всякая. Тот сдуру и провел ревизию и на радость папе расколол церковь на никониан и староверов. Сам-то Никон доигрался, в монастырь его сослали на покаяние — не за раскол, но за соперничество с царем, а сын Алексея Петр Первый и вовсе патриархов упразднил, сделал никонианскую церковь госу-

дарственной канцелярией, что есть полное нарушение евангельских установок: государство само по себе, а церковь тож сама в особе. Кстати, советская власть сразу же после революции это правило восстановило, отделив церковь от государства... ну и обучение школьное и иное от церкви. Староверы же со времен Никонова раскола ратовали за это евангельское правило, за что триста с лишним лет цари и государственная, никонианская церковь вовсю и гнобили нашего брата. Потому староверы сразу и без оглядки приняли советскую власть.»

Не все в точностях Николка по малолетству понял, но суть схватил. А точности и тонкости выявлялись им по мере взросления. Самое же существенное — он ни на сантиметр в сторону не отступил, обрастая знанием жизни и познанием мира предметов и их связей, от абрисной картины русских церковных перепетий, сходу нарисованной «двуеперстным» Андреяном всего в нескольких десятках слов. Как, правда, по другому поводу, по-архангельски сказала мать: «От слова девка брусвянеет*, а парень разума набирает». И точно также, мимоходом, отец сверхкратно и на всю Николкину жизнь определил коренную разницу между двумя главными — по численности сопричастных — церквями в мире: «Татарин, даже если он флотский офицер и свинину любому другому мясу предпочитает, а в мечети ни разу не был, все одно по традиции больше к року в жизни склоняется; наш же коренной мужик, от запойного пьяницы до адмирала, подспудно уверен в провиденье в своей судьбе». Опять же сказал, как лихой писарь или адъютант печатью по листку с приказом о демобилизации прихлопнул!

Эти «припечатанные» слова Николка откладывал

---

* То есть рдеет щеками, румянится от удовольствия — как ягода брусника (северн.) — Прим. авт.

в своей головенке как и школьные зубрильные премудрости навроде таблицы умножения в математике или по физике про семь основных цветов: «Каждый охотник желает знать где сидит фазан». Отец, услышав от него про фазана, усмехнулся, дескать, в мое школьное время похулиганистее говорили, что от гимназистов перешло: «Как однажды Жак-звонарь головой свалил фонарь. Меняются времена...»

♦ *Как на Тихом океане*
Тонет баржа с чуваками.
Чуваки не унывают,
Рок на палубе кидают.

Зиганшин — буги,
Поплавский — рок,
Крючковский съел
Чужой сапог...

— Так весело-хулигански распевали ребята в школе про героический полуторомесячный дрейф на угольной, несамоходной барже четверых солдат (в песенке почему-то не упоминался Федотов, видимо в рифму не укладывался...), которых в конце концов подобрал американский авианосец. А старшеклассники, поднявшись на перемене на чердачную площадку боковой лестницы левого крыла (к правому пристраивали буквой «Г» трехэтажный, как сама школа, «отсек» для начальных классов), отплясывали рок-н-ролл, распевая эту песенку, слова которой как нельзя лучше встраивались в ломано-нарастающий и обрывающийся ритм забугорного танца, начавшего прорываться к нам через радиоголоса...

Впрочем, героические дрейфовщики на оторвавшейся от камчатского причала барже-углевозе и неловкие еще «па» рок-н-ролла и буги-вуги старшеклассников — все это было попозже, когда и сам Николка уже принадлежал к этой славной школьной

«верхушке». Но задолго до этого, к иному случаю, отец подготовил его к таким сторонам жизни.

Когда электрическое хозяйство наутофона Большого Оленьего переустроили на переменный ток, то исчезла надобность экономного по времени слушания приемника «Родина», ранее работавшего от батарей, которые быстро разряжались. Как приятное следствие, радиоприемник теперь работал все то время, в которое маячный дом получал электрический ток от наутофона. А в разгар лета, когда наутофон не работал ввиду полярного дня и полного отсутствия туманов, то и слушать приемник было некому: Николкино семейство уезжали во Дворцы. То есть во все дни пребывания Николки с братьями дома на осеннее-зимне-весенних каникулах, а если повезет с погодой, то и на выходных, приемник работал слушай не хочу. Но вот если по интернатовским динамикам, что имелись почти во всех палатах, Николка мог слушать только главную московскую радиостанцию и передачи мурманского радио, то домашняя «Родина» открывала перед его ушами весь мир. Понятно, только музыкальный. Речевой же сужался до советских радиостанций и вражеских «голосов» по-русски. Их отец порой слушал, поминутно вертя ручку шкалы приемника, отстраиваясь от глушилки.

Заметив, что зимними каникулярными вечерами, когда Андреян приходил с маячной вахты, Николка также, научившись отстраиваться от глушилок, прислушивается к «Голосу Америки» и «Дойче велле»*, отец — в том числе по просьбе всегда осторожничающей матери — как-то ему заметил назидательно, но вовсе не запрещающе: «Ты слушать-то слушай,

* Deutsche Welle — «Немецкая волна» — пропагандистская радиостанция в Мюнхене, ФРГ, вещавшая на коротких волнах на СССР на русском и ряде других языков союзных республик.— Прим. авт.

порой кое-что на ус мотай, но всегда держи в голове: эти «голоса» самой чистой воды вражеская пропаганда. Пропаганда есть в любом государстве. Как говорится, у нас и у вас. Вот кто-то сказал, а может и сам я придумал: одно слово Геббельса в войну заменяло взвод солдат на фронте. Намного больше слово значит не на войне с танками, самолетами и пушками, но в войне политической. А такая сейчас вовсю ведется вроде бы в мирное время, причем не между отдельными государствами, хотя бы и Вторая мировая шла между двумя группами государств, но воюют «по-холодному» уже системы, как говорит политотделец, что наш маяк время от времени навещает со своими политинформациями».

...Годами позже, уже в студенческие годы Николкиного «первого университета», когда по стране загуляли анекдоты про Чапаева и чукчу, вспомнил он отцовы слова про навещающего маяки политотдельца, услышав схожий по теме чукческий анекдот. Когда советская власть до Чукотки добралась, то долго добрые чукчи, однако, недоумевали: зачем в их оленеводческие колхозы парторгов присылают? Председатель — однако, понятно: он чукчам зарплату начисляет, деревянные и кирпичные яранги для них строит, мало-мало радеет об увеличении стада олешков. Сельсоветовский начальник — тоже, однако, хорошо о чукчах заботится: молодых оленеводов женит, детей появившихся регистрирует, взрослым путевки в санатории на Большой земле дает, старикам пенсии оформляет. А закончат ребята в Уэлене школу, так шибко умных отправляет на начальников учиться в Ленинград в Институт народов Крайнего Севера... Только насчет парторга сомнение всех берет: все по юртам и ярангам похаживает, в совершенно трезвом виде все беседы беседует, а ничего никому при этом не раздает: ни путевок, ни огненной воды в революционные праздники, ни снастей

рыболовных. Однако, непонятно. Обратились к старейшине рода Алитету, больше не к кому — шаманов упразднила советская власть. И попа в рясе, что в Уэлене раньше крестил, тоже умчали куда-то на оленьей упряжке. Алитет три трубки подряд выкурил, огненной воды выпил и все разъяснил. Это, говорит, все о нас советская власть заботится. Зимой, однако, холодно, олени в изгородке содержатся, рыбу ловить — море замерзло. Чем чукче заняться? Сидят себе по юртам и ярангам, папиросы «беломор» курят, скучают. И чтобы занять их в непогодное время, добрая советская власть придумала для чукчей должность «разговорного человека». Ходит он по чумам, юртам и ярангам и народ веселыми сказками о светлом будущем развлекает.

...А тогда на Большом Оленьем, не хуже чукческого старейшины Алитета, отец разъяснял Николке про словесную войну советской власти и империалистов Америки и Европы: «Что есть слово? В народе говорят: «Всякое слово ложь, и я тож». А это значит, что словом можно вертеть на все курсы: от норда до зюйда и обратно. Как у церковников сказано про слово, что может убить и воскресить. Много чего здесь сказано. Вот в нынешней «холодной» войне радиослово, которое где надо подчеркнуто правдиво, а где требуется сугубо лживо, заменяют собой те самые танки и самолеты войны «горячей». Вот это в самую первую очередь ты и держи в голове, когда слушаешь эти «голоса». Хотя и слушай — кругозор в чем-то расширишь».

И Николке все в един миг стало понятным. В голове засело — колом не выбьешь. Также все очевидным стало, как то, что воюкса из тресковой печени полезна для здоровья в заполярном климате. Зубатка и палтус вкуснее трески, а она, в свою очередь, ется с бóльшим аппетитом чем жареные пертуи пикши. А петухи, то есть северные бычки, и во-

все несъедобны. Все познается в сравнении и четко откладывается в памяти.

Много чего отложилось в памяти Николки из не столь уж частых разговоров с отцом. Но сколько простой в своей основе ясности они привнесли в его жизнь! И про «партию и правительство», противостояние Хрущева с уже ушедшим из жизни Генералиссимусом. Политика внутренняя и внешняя, двуликость начальников всех рангов. Правдивость, хитрость, лицемерие человеческое — все оттенки характеров. Всякая воспринятая пацаном Николкой мысль — это новый, ранее не знаемый им гость. А гостя, как уже мать его учила, завсегда встречай за порогом и пускай наперед себя через порог. То есть всякую новую мысль встречай еще не особо ей доверяя, за «порогом» осознания ее, но и не отвергай зараз, а вежливо допускай ее в свою голову: наперед этого осознания ее. Потом уже по опыту своему или доверительного разъяснения решай: застолбить ее в голове, а может навылет — из одного уха в другое — отстрелить ее от себя. Так шло отроческое взросление Николки на острове Большом Оленьем.

ОСТРОВНОЙ БЕРЕГ НЕ ИМЕЕТ НАЧАЛА И КОНЦА

♦ Заканчивалось предпоследнее каникулярное лето (следующее, последнее — пионерлагерь и возвращение из него уже в Полярный) на Большом Оленьем. Северное лето уже отошло, но ночи еще короткие, нынешний август месяц отменно распогодился, как затишье перед бурей — и в прямом смысле тоже. В этом году отцов отпуск выпал на июнь-июль, поэтому весь август остров с его извилистыми берегами, которые, понятно дело, не имеют начала и конца, был в распоряжении Николки — не

в начальничестве, конечно, но в праве почти полные сутки с ружьем за плечом бродить по самым замысловатым курсам. Конечно, малолетние Славка с Сережкой и Петька Пряхин даже и не пытались составить ему компанию. Вовка же Канатчиков, что даже на год постарше Николки, со своим семейством находился в отпускном отъезде и ожидался на остров впритык к началу учебного года. Итак, один. Взрослые малочисленны и не в счет: они по острову не бродят, а если рыбу ловят, то на шлюпках чуть поодаль северного маячного берега это делают. Зенитная батарея и снисовский пост уже и забываться стали — в позапрошлом году ликвидиорваны, в смысле переведены в другие места или вовсе расформированы?

И охоты летом, кроме крупных куликов в мелководной внутренней островной бухте-заливчике, нет. На их-то предмет и ружье, ижевская двухстволка, неизменно на ремне за спиной. Ружье же ему отец доверил в восьмилетнем возрасте, сразу по переезду с Седловатого на Большой Олений. В один летний день, поутру, несколько условному при незаходящем солнце, Андреян, возившийся в своем сарайном отсеке с полировкой мелкой наждачной шкуркой и осколком стекла полочки для домашнего обихода, обратил внимание на старшего сына: через растворенную сарайную дверь он видел, что Николка несколько бесцельно туда-сюда, явно не зная чем себя занять, бродит по травянистой лужайке, что между сараем и торцем маячного дома. Пару секунд подумал, оставил почти готовую полочку, вышел из сарая и, позвав с собой Николку, пошагал в сторону дома. Велев ждать у входной двери, скоро обернулся, выйдя с ружьем и патронами в оттопыренном кармане брюк. «Пора тебе к серьезному делу приставлять»,— кратко пояснил отец, после чего велел Николке прислониться, расправив плечи, спиной к дру-

гой торцевой стене дома, выходившей на крутой спуск к гирлу внутриостровного заливчика, после чего зарядил оба ствола и подал ружье испытуемому. «Приклад к плечу, левой ладонью ствол посредине держишь крепко, большим пальцем правой, как петух когтями на насесте, зажимаешь сход приклада у казенной части, а указательный под левый курок, но не прикасаясь к нему. Расслабься, но руки навзводе держи, при выстреле не жмурься, найди условную цель на том берегу заливчика и жми курок. Давай!»

Николка выстрелил, вовсе не почувствовав какой-либо заметной отдачи в плечо, которым его стращал Вовка Канатчиков, уже сам стрелявший. Отец же и вовсе про нее не спросил, велел отойти от стены на пару шагов и выстрелить из правого ствола. «Ну-у хорошо,— сказал отец, забирая у Николки отстрелянное ружье,— нечего больше патроны зазря тратить,— он прихлопнул по оттопыренному карману,— дробь готовить и катать уже умеешь*, а попозже, как полку доделаю, для практики пару десятков патронов зарядишь и ружье после вот этой стрельбы почистишь. Охотник все сам делает... у нищих слуг нет! С того дня Николка и стал охотником. Первая охота состоялась через день и не была одобрена отцом. Что он пребольным ухватыванием и трясением головы за правое ухо почувствовал. А именно: зарядив накануне патроны, вышел он горделиво с ружьем из дома. Увидев же пару почему-то играющихся корабельных здоровущих крыс, прыгающих в траве возле фундамента, не долго размышляя, скинул ремень с плеча, приложился и с интервалом в секунду дважды выстрелил. Вопреки строгому наставлению отца — заряжать только уже

* См. уже указанную выше книгу «Страна холода. Детство в Гипербореях» (в эл. виде на сайте www.pz.tula.ru).— Прим. авт.

на месте охоты, он вогнал оба патрона в стволы еще в коридоре. На выстрелы из окна своей квартиры высунулся Седалин и забранился. Николка же с интересом смотрел на место побоища: в примятой двумя порциями дроби траве со сдернутыми цветами-колокольчиками лежала крыса и неведомый Николке зверек, принятый им тоже за крысу: с узкой, не крысиной, мордочкой, шерсть имел пушистую, непонятного, с темнотой, цвета и, что особо поразило, с белым пушистым хвостиком. На Николкину беду отец был дома, выскочил на выстрелы первый, даже быстроногого Вовку опередив, острым глазом флотского сигнальщика мигом оценил диспозицию, пребольно подергал охотника «на дому» за указанное ухо, вырвал из рук ружье, отстегнул у щеголя поясной патронташ, после чего закурил и неторопливо начал обсуждать с подоспевшим Седалиным о появлении на острове ранее здесь не замечаемых горностаев. Для усиления наказания и закрепления урока велел Николке, брезгливо относившемуся к корабельным крысам, непременным жителям всех обитаемых человеком мест побережья, голыми руками взять ее за противный голый хвост, отнести к близкому от дома гранитному обрыву и выбросить в море. Правда, предварительно пнул ее носком сапога, убеждаясь в полной дохлости. Мало ли чего, эти твари и раненые опасны. Горностая же велели взять Вовке — его отец Степан Канатчиков имел наследственную профессию скорняка; иногда, чтобы не забыть сноровку, подстреливал тюленя или выдру и выделывал меховые коврики под ноги — перед дверью дома, на веранде и в коридоре. «Скажи отцу, пусть матери твоей к песцовому воротнику на пальто как-нибудь приспособит»,— объяснил Вовке Седалин. Николка, не хуже Тома Сойера и Гекльберри Финна, уже прочитанного им, с крысой за хвост в руке стоящий, даже обиделся: он, видите ли, зверя

выследил и метко подстрелил (с двух шагов...), а добычу, его не спросивши, Вовке отдают нипочем!

Дома отец, как всегда кратко и запоминающе, объяснил: что нужно и чего нельзя делать, выходя из дома с ружьем. «Да-а, промашку я сделал. Думал, если стрелять умеешь, значит и думать правильно можешь. Ошибся». ...Только через год, поумнев по расчетам отца, Николка получил доступ к двухстволке. Стрелял он куликов в отлив на почти обсыхающем внутриостровном заливчике. Из них мать варила самый любимый Николкой суп. Из кастрюли она сначала доставала порционных куличков, раскладывала их по тарелкам, а затем половником разливала по ним картофельный супец.

Зимой, в дни когда шторма стихали и на весь их мир спускались густые молочные туманы, в полдень — для относительной видимости — отец с Николкой охотились на гаг. Спускали свою шлюпку-двойку и тихо шли по проливу между их островом и Екатерининским, сопровождаемые любопытными взглядами тюленей, набравших к зиме жира, потому в вертикальном положении благодушествовавших в воде, так что на поверхности оставались только их короткоухие собачьи усатые морды. Охотников они нимало не интересовали: мясо их, ворванистое, похожее на черную смолу, несъедобно, а шкуры тем более даром не нужны. Разве что любитель-скорняк Степан Канатчиков одного-другого в год подстрелит. Правда, печенка у тюленей едва ли не поболее коровьей и очень вкусная, но, во-первых, по хлопотам овчинка выделки не стоит; во-вторых, все же жалко такого здорового и красивого зверя для одной лишь печенки губить...

А гаги именно по этому узкому проливу торили свои перелеты стаями с одного места на другое — где в это время порыбнее. Николка на веслах, а отец стоит с ружьем у носовой банки. Вот и стая прямо

над шлюпкой летит. Отец вскидывает ружье: первый выстрел, за ним второй — и несколько подстреленных серых гаг с хлюпом падают в воду. Только подбирай. Стая летит низко в тумане и густо, то есть «стрельба по площадям», как артиллеристы говорят. Под конец охоты, когда совсем темнеет, гаги завершают свои экскурсии, и Николка встает с ружьем на носу шлюпки. Худо-бедно, но на пару его выстрелов одну-то птицу и он подстрелит. Как-то раз отличился: одиноко летевшего, обычно очень осторожного, баклана сшиб. Гаг маячники стреляли для свежего мяса — не все пайковую солонину есть! Чтобы ощипка их даром не пропадала, пером набивали подушки и матрасы, а из пуха мать пряла пряжу и вязала всему семейству носки и руковицы. Очень теплые.

♦ Идет себе, задумавшись, Николка в замечательный августовский день предпоследнего каникулярного лета, придерживая большим пальцем правой руки (не левша ведь как Сережка!) ружейный ремень. Куда и зачем идет? Насчет куда понятно: островной берег без начала и конца, куда не идешь, все одно дальше Большого Оленьего не уйдешь. Если только в отлив по песчаной насыпи военных еще лет на соседний Екатерининский. Но сейчас время прилива. «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу...» — в малолетстве Славки и Сережки мать под такие песенки укачивала их в люльках — по времени появления их на свет, понятно дело.

Спустился с северной, маячной горки, пошел вдоль заливчика. Ружье с плеча не снимал: прилив; кулички, в полный отлив стайками кормящиеся всякой мелкой морской живностью, улетели. Хорошо шагается по ровной, широкой, торной дороге — память об уехавших зенитчиках: зимой ежеутренне ротный старшина Пилипенко выгонял почти отделение бойцов раскидывать с дороги снег. «Чтобы как

в городе на главном проспекте было!» — весело от хорошей погоды командовал он. А как снег по поздней весне стает, так и сам командир капитан Фомичев, выйдя из офицерского дома и следуя в казарму или на батарейную горку, окинет хозяйским взглядом дорогу — от маячной горки до казармы и — глядишь, уже целиковое отделение под присмотром того же Пилипенко или одного из взводных лейтенантов шанцевым инструментом выравнивает, даже стоковые канавке по обочинам ровняют. Главное, дорога эта никому не нужна, осталась от военных, даже от предвоенных лет, когда кроме зенитчиков на острове имелось еще береговая артиллерийская батарея, склады боеприпасов и вообще хозяйство внушительное. Опять же все это одновременно строилось, поэтому по острову дороги были проложены, по которым техника все нужное перевозила: трактора, даже машина имелась. Но — во флоте и в армии сила традиции есть один из главнейших источников дисциплины. Так и эта дорога, что сейчас из ниоткуда в никуда...

Но дорога мимо брошенного хозяйства зенитчиков навевала на него грусть. Из офицерского дома уже не выскочит на крыльцо молоденькая жена лейтенанта Паши с конфетами для проходящего маячного пацана, а пустая казарма с почему-то вмиг почерневшими бревнами сруба и вовсе мрачно выглядела. Тишина, полное безлюдье и умытые недавним дождем стекла больших казарменных окон, за которыми темнота, ибо выходят они на север, августовское солнце перекатывается над крышей, не заглядывая в них. Все одно никого там не осветит, зачем понапрасно трудиться? И так за круглосуточно светлое полярное лето утомилось. Предчувствие этой грусти Николка испытал без малого год назад, когда, прибыв домой на летние каникулы, застал окончание убытия батареи с острова. Уже опустели казарма и

офицерский дом, с зенитной горки исчезли пушки. Как их с крутизны стаскивали вниз — этого никто из маячников ему сказать не мог. Все громоздкое имущество, как он догадывался, переносили и перетаскивали по короткой дороге обочь зенитной горы к низкому гранитному берегу, естественному причалу, и затем грузили на пришвартованную баржу. Пришлось потрудиться на росстанях с островом солдатикам!

Очевидно баржу загрузили под завязку, а может боезапас по регламенту положено отдельно везти... словом, на момент появления на острове Николки с братьями и детьми Канатчиковых и Пряхиных за казармой стояли сложенные друг на друга зеленые ящики с зенитными снарядами — в трех пирамидах. Николка с Вовкой прикинули: под три сотни ящиков, в каждом по два снаряда почти метровой длины. Их также снесли с горки, где боезапас батареи хранился в бункерах зенитных капониров. Еще по дороге домой через Екатерининский — всю интернатскую ребятню вела Наталья Пряхина — узнали о снятии и перевозе батареи, а оставшееся, то есть все укладки ящиков со снарядами, теперь охраняют трое солдат с сержантом за старшего. Живут они в опустевшей казарме, готовя там же на печи себе похлебку и кашу.

Но Николка с Вовкой никого около ящиков и в самой казарме с настежь растворенными дверями не обнаружили. Как уже дома, вечером, усмехаясь, сказал отец, что охранные солдаты явно в списках приказа о дембеле, дисциплина и все прочее для них уже в далеком прошлом. По наблюдениям — с маячной горки весь остров в обозрении — с утра подкрепившись кашей с тушенкой из выданного сухпайка и напившись чая, солдаты в хорошую погоду отправляются на западную часть острова, где много ягодных полян, обжираются ими, спят под теплым солнышком, затем в отлив идут в сторону пролива

между Большим Оленьем и Екатерининским, где копают в иле морских червей, на которых затем ловят треску. Наличие на Большом Оленьем других людей, маячников и их детей, в их уставном понятии как бы не существует. «Да-а,— задумчиво сказал отец,— всю жизнь считал, что самый бардак там, где крепче дисциплина, то есть на флоте и в авиации. Оказывается, что в артиллерии еще похлеще будет...»

Убедившись в полном отсутствии караульщиков... впрочем нет, их Николка все же обнаружил, присмотревшись за километр к вершине западной сопки, поросшей вереском и ягодами, и различив там три сидящие фигуры, явно играющие на свежем теплом воздухе в подкидного. В общем, убедившись в чем надо, ребята подошли к зеленым пирамидам боезапаса. Несколько ящиков неряшливо были раскиданы между пирамидами — значит старшина Пилипенко недосмотрел при временном складировании. Скрипнув пружинами двух боковых защелок, повернули на петлях тяжелую деревянную крышку. На полукруглых деревянных же подставках лежали два снаряда в тавотной смазке. Как устроен такой снаряд и собственно особенность зенитной стрельбы ребятам хорошо знакомы по плакатам в учебной комнате казармы, что они не раз любопытством, да еще с пояснениями солдат, рассматривали, ожидая начала фильма. Конус снаряда заканчивался наверченным по резьбе алюминиевым колпачком. Перед заряжанием снарядом зенитки колпачок свертывался. Под ним трубка с визиром, передвигаемом по шкале с цифрами, означающими высоту взрыва снаряда. Командир орудия получал от батарейного расчетчика-планшетиста нужные цифры, в том числе и высоту пролета вражеских самолетов, выкрикивал ее заряжающему, а тот двигал визир по шкале.

Меж тем Николка с Вовкой размышляли: если вытащить снаряд из ящика, что им двоим под силу,

скрутить колпачок, установить визир на самую нижнюю отметку, почти нулевую, а затем допереть на весу до ближней скалы, вертикально уходящей в воду, и сбросить с нее снаряд, то возможно он и взорвется. «Вот фонтанчик-то будет! — восхитился Вовка,— главное, успеем метров на десять отбежать, нас даже водой не промочет.» Николка с доводами приятеля согласился. Уже начали приподнимать ближний к ним снаряд в четыре руки, скользящие в тавотной загустелой смазке, чтобы поставить его для начала на попа, а дальше видно будет. Кстати или некстати Николка вспомнил слова отца, что «этим хмырям караульщикам» автомат оставили, они его с собой и таскают, идучи по ягоды и на рыбалку. Он и выразил свои сомнения Вовке, что если взорвется, солдаты услышат, на прямой видимости с западной сопки их тотчас засекут, сообразят, что им вместо дембеля продление службы в почетной должности штрафников светит, и прямо по ним дадут длинную очередь. Теперь Вовка с доводами Николки согласился. Сожалея, опустили головную часть снаряда в ящик на подкладку, захлопнули крышку ящика, защелкнули его. Отойдя в сторону, нарвали по пуку травы и долго оттирали руки от тягущего тавота.*

♦ Опять тот же теплый, ласковый августовский день предпоследнего лета на Большом Оленьем. Миновав пустую казарму, прошел все по той же сохранившейся дороге вдоль оконечности внутриостровного залива, затем под прямым углом свернул в южном направлении, где остров заканчивался боль-

* Сам бы 100 %-но не поверил, прочитав подобное у другого автора, сочтя это глупой выдумкой в духе современной нелепой «фэнтази», но, увы — все из личного опыта... Кстати, официальная версия взрыва подлодки Б-37, о чем речь шла выше,— матрос носового отсека паяльной лампой ликвидировал трещину в стеллаже с торпедами. Краска стеллажа загорелась, пожар, взрыв боекомплекта. Дисциплина...— Прим. авт.

шой песчаной лощиной меж двух небольших сопок, правильнее — гранитных окаймлений лощины. Под ногами явно угадывалась бывшая дорога, сейчас за давностью лет ее использования уже заросшая вереском, травой и крохотными кустиками. Николка шел на тот могильник древних людей, о котором со слов Тольки знал еще на Седловатом. «Остров мертвых», как тот назвал Большой Олений явно с чужих слов. По нескольку раз каждое лето ходил он на могильник и безуспешно пытался уловить возникающую и тут же улетающую мысль, которую не мог облечь в понятные, простые слова. А хотел он связать во что-то единое, непрерывное давно прошедшее, нынешнее и неведомое будущее. Всякая связь держится на чередовании узелков. Как на пряже матери, особенно из гагачьего пуха, которую никак нельзя многометрово ссучить и навить на веретено без обрывов. Еще маленьким Николка мог долгими зимними вечерами, как кот на вращающиеся спицы колес пробегающих мимо него велосипедов, неотрывно и зачарованно, то клонясь от монотонности в легкий сон, то резко пробуждаясь, смотреть на прядомую матерью нить. Поставив деревянное, с закругленным концом веретено на колено, верхний же конец уперев очень легонько в центр ладони правой руки, ловко, с деревенского детства заученно, всеми пятью пальцами закручивало веретено, при этом пальцами левой руки скручивала вытягиваемую шерсть или гагачий пух из взбитого пука, закрепленного на лопатке прялки, основание которой придерживала ступней ноги. Ссучив из пряжи нить где-то под метр длиной, выравнивая этот участок и проверяя его на равномерную прочность, она начинала, также придерживая веретено ладонью руки, быстро-быстро сматывать нить левой рукой со скоро вращающегося веретена, а затем также ловко и быстро вращая веретено в противоположную сторону, работая пальцами правой руки, на-

матывать распущенную было нить. Где тонко, там и рвется — и мать ловко связывала порыв крохотным, почти незаметным узелком. Затем принималась за следующий метр свивания в нить пряжи. Когда, не обязательно в этот вечер, веретено целиком заполнялось — у концов совсем мало, к середине в несколько сантиметров толщиной — спряденной нитью, мать отдавала веретено Николке. Тот некрепко зажимал его между ладонями обеих рук, а мать также быстро-быстро сматывала с веретена нить в клубок, с которого, когда приходило время, уже и вязала носки и варежки. Николке же при сматывании с веретена в клубок и занимательно и смешно: концы веретена щекочут ладони.

...Вот такими связующими бесконечное время узелками в неясных пока ему самому размышлениях о единстве всего прошлого, нынешнего и неугадываемого человеком будущего для Николки казались маяки, где он в последовательности проживал, и нынешний Большой Олений. Но это в его личной жизни, а она ведь лишь крохотная частичка, школьный физический атом всего явления жизни. А для этого что есть узелки? Из школьных познаний, из чтения уже многих для его возраста книг главным узелком прошедшего времени полагал он древнего человека, того, к могильнику которого Николка держит недлинный путь по старой, давно заросшей дороге. Все промежуточные от такой древности до настоящих времен узелки суть многочисленные события истории, о которых неутомимо рассказывает им на уроках Наталья Капитоновна. Рассуждая таким манерам, Николка полагал свою предшествующую жизнь вписанной между двумя узелками безотносительной, общей жизни: «снизу» — война, спустя три года после которой он явился на свет, а «сверху» — начавшиеся несколько лет тому назад запуски в космос советских спутников, сейчас уже и с собаками, зна-

чит, совсем недалеко и с человеком. Вроде как и американцы спутники запускают — по «Голосу Америки» слышал. А раз космос, так значит все прошлое, нынешнее и неизведанное будущее заключено в единстве вечной жизни? Даже крупинки пота ощутимо захолодили Николкин лоб: наконец-то он сумел выразить в простых, понятных словах прежде неявную, все улетающую мысль о бесконечности и единстве жизни: от Николкиной на острове Большом Оленьем и в полярнинском интернате, летом в калужских Дворцах, до бесконечного космоса, зримо видимого ясными ночами. На душе стало легко, ноги увереннее зашагали зюйдовым курсом.

♦ В первый год жизни на Большом Оленьем, как только сошел снег, Николка, прибыв с братьями домой (мать за ними пришла — что-то в магазинах понадобилось, а главное, за праздничным первомайским днем следовало воскресенье), в тот же день отправился на южную оконечность острова, где, по давешним словам Тольки, находился древний могильник. Кстати, маячники о нем ни словом, ни духом, что Николка выяснил через Вовку Канатчикова, что и сам это узнал лишь от него. Тем более и не поверил: «Вранье все, сказки твой Толька сказывал!»

Лощину, полого спускающуюся и расширяющуюся к морю между двумя, тож раздвигающимися скалистыми горками, он нашел сразу — к ней от казармы зенитчиков вело что-то похожее на давно заросшую дорогу, по ширине явно не тропу, под автомобильную колею выровненную в торфе. Вспомнив свой сон — фантазию о могильнике, а сейчас увидев это место въявь, Николка поначалу почувствовал что-то навроде обидного разочарования. Вместо ровной песчаной, полого спускающейся к морю правильным треугольником поляны между гранитных валов, навроде — только прямоугольного — футбольного поля в Полярном, что выровнено между

скал в лощине от пирса до дэкафа, увидел он неряшливо состряпанную береговую низину, ископанную большими и малыми ямами. Все это от давности копания покрыто торфом на нетронутых местах и порослями вереска и вороничника в сглаженных ветрами, дождями и снеговыми таяниями ямах. Собственно песчаная неширокая полоса окаймляла берег; явно она проступала, как сейчас, во время отлива.

Побродил он по лощине, чертыхаясь на неровностях и ямах, сообразил все же по причине мягкости ходьбы по заросшему торфу, что под его слоем не гранит, а песок или ил; ничего интересного не обнаружив, пошел в сторону дома через весь остров. По пути с раздражением, помянув и Толькины рассказы, рассуждал сам с собой в том смысле, что какой черт давно минувших тысячелетий подсказал диким древним людям хоронить своих покойников на этом, богом забытом островке? И где они сами проживали, кто их погнал — без нынешних северных окладов и надбавок — сюда, на продуваемые всеми ветрами, с полярной двухмесячной ночью, гранитные скалы? Что им на Большой земле, тогда и самой малонаселенной, места не нашлось? От отца, уроков Натальи Капитоновны знал, что обживаться эти места современными людьми и начали-то всего лишь полвека с небольшим назад. А так от самой Колы и до полуострова Рыбачьего каменная пустота здесь была, лишь архангельские поморы на своих карбасах сюда в сезон ловить треску, селедку и семгу для царского двора заплывали. Древним же первобытным людям, видите ли, даже свое кладбище на отдельном острове понадобилось!

...И в этот августовский день предпоследнего лета на Большом Оленьем, предпоследнего года маячной жизни, Николка, дойдя до южной лощины, даже спускаться с горушки, от которой она начиналась узким мыском не стал, а присел на давно присмот-

ренный гранитный выступ, что-то вроде стула. И сидеть на нем приятно, нежестко — за лето мох на «стуле» иссох, зажухловел и чуть похрустывал, когда Николка поудобнее устраивался. Прошли те летние времена, что ходил он к лощине с саперной лопаткой в руке и противогазной брезентовой сумкой на ремне через плечо. И не только для «дежурных бутербродов» с вяленой треской и салом предназначалась она. Кое-что в ней уносил и из лощины.

Когда в первых числах этого августа Николкино семейство вернулось из отпуска, то узнал он от Вовки, что незадолго до этого Седалину позвонили из городской комендатуры, сообщили, что на следующий день на остров, на его южную оконечность, прибудет на моторке из Полярного по своим научным делам археолог из Москвы с сопровождающим. Это чтобы в курсе дела на маяке были. Узнав об этом, Вовка на другой день сбегал к лощине. Действительно, по ней расхаживала женщина с фотоаппаратом, время от времени делала снимки, что-то чертила или рисовала в блокноте, с помощью матроса с моторки меряла рулеткой лощину в разных направлениях. К вечеру уехали в обрат. На это Николка сказал во всем сомневающемуся Вовке: «Вот вилишь, из Москвы приезжают на могильник, а ты все чепуха, сказки твоего Тольки, кости там всякие, черепки... Мало ли кто из рыбаков, промышленников лет пятьдесят, ну-у, сто назад здесь останавливался. А ты вон, мол, куда — в каменный век!»

Саперной лопаткой Николка из лета в лето снимал в разных местах, в разных остатках ям тонкий слой молодого торфа, поросшего вереском и ягодником, неглубоко копал песок. Со временем на его личной полочке в сарае, отведенной ему отцом, накопилось несколько вещиц явно древнего человеческого происхождения: пара заизвестковавшихся костей, осколки, напоминавшие горшочные — это когда

во Дворцах в хозяйстве тетки Настасьи кто-нибудь неловко разбивал горшок, в котором хранилось молоко утреннего удоя... Обломки явно выделанных костей животных, что-то навроде обломка ножа. Из трех кремнистых камней два уж точно обработаны под зубило или рубило, чем можно шкуры выделывать — соскребать мездру, как это теплым летним днем делает любитель-скорняк Степан Канатчиков в соседнем отсеке сарая... понятно, что не каменным скребком, но специально приспособленным стальным.

Николка не семи пядей во лбу, не сам додумался до старины этих предметов, но отбирал их в лощине, держа в памяти схожие, виденные в калужском краеведческом музее, куда его отец водил и в предбаннике которого стояло очень поразившее Николку чучело огромного медведя почти под три метра высотой... Но вот с ямами, вернее, с их оплывшими с краев следами, в лощине Николка разобрался сам. Небольшие, едва различимые, и то по ягодникам — мокрость от стаявшего снега и дождей, вроде как в определенном порядке расположенные — это несомненно следы археологических раскопок. А две, даже не ямы, по размерам похожие на карьеры, что Николка, правда, во много раз большие, видел, когда из Дворцов, то есть из Льва Толстого, ездил с отцом и Славкой прошлым летом на рейсовом автобусе на Полотняный Завод, откуда родом была жена Пушкина. Около поселка находились карьеры, где добывался камень-известняк. Регулярно взрывы в карьерах хорошо слышались во Дворцах, вернее когда купался он в Угре. Отец это объяснил: звуки очень хорошо распространяются вдоль воды — препятствий навроде холмов и леса нет.

Выходило по здравому размышлению: для сооружения бетонных капониров под зенитки, фундаментов всех построек на острове, а особенно для отсыпки перешейка на Екатерининский остров в свое

время потребовалось много песка, речь здесь шла не о тоннах, но, скорее всего, о сотнях тонн. Может и больше. Других песчаных мест на их острове и на Екатерининском нет. Значит, отсюда и брали, вывозя на машинах, скорее всего на тракторных прицепах, что в то время специально завозили на Большой Олений. А то, что перешеек на Екатерининский не природный намывной, как это иногда наблюдается в узких и неглубоких проливах, Николка догадался, как-то переходя в большой отлив на Екатерининский и обратив внимание на то, что справа и слева от просохшего песчаного перешейка на отливном мелководье ясно различалось вовсе не песчаное, но сизое илистое дно пролива.

♦ Первую уверенность, что в южной песчаной лощине действительно древний могильник, а не следы остановок, как говорил Вовка, рыбаков пятьдесят — сто лет назад, или может постарее — архангельских промысловиков, ибо старейшему на Мурмане городу Коле, по словам Натальи Капитоновны, четыреста лет, Николка получил на второй год их жизни на Большом Оленьем. В отпуск в Дворцы, как получится с билетами, ехали через Москву, иногда через Ленинград. Летом, когда все Заполярье устремляется в более теплые места, мурманская железная дорога перегружена, выбирать не приходится, даже если билеты заранее заказываются через кассу в Полярном. Вот и в этот год получилось с пересадкой в Ленинграде, куда мурманский состав прибыл поутру, а билеты далее до Калуги на проходящий поезд удалось взять только на вечер. Оставив мать с малолетними Славкой и Сережкой на Московском вокзале с обилием в нем буфетов с мороженым и ситро, отец взялся показать Николке «город его молодости», как он выразился.

Пешком спустились по Невскому проспекту, перешли на Васильевский остров, где отец повел его в

Кунсткамеру, объяснил: старейший в Ленинграде музей, основанный Петром Первым. Николке крайне не понравились младенцы-уродцы, заспиртованные в банках профессором Вольфом, как написано в пояснительных табличках, зато с интересом рассматривал всякие древности и — не сразу поверил своим глазам, прочитав на табличке одного из стендов с этими древностями, что-де это из раскопок Кольского Оленеостровского могильника на севере Мурманской области в Кольском заливе. И указан возраст: столько-то тысяч лет до нашей эры. Показал отцу, тот хмыкнул, дескать, не зря Толька говорил, откуда-то узнал...

Музей, тем более старейший, это не шутка, сомневаться не пристало. Но все же полная и ясная картина сложилась в Николкиной голове, когда с нового класса, с нового учебного года их стала учить Евгения Осиповна, старейшая и опытнейшая в школе учительница, как на первом уроке сказала ребятам вошедшая в класс вместе с ней Вера Ивановна, тогдашний директор школы.

...Конечно, брательник Толька всегда мог присочинить с самым серьезным выражением лица, внушающим полнейшее доверие. Но так получалось по наблюдениям Николки, что все или почти все рассказанное старшим братом со временем находило подтверждение. Еще в начальных классах, в седловатовское житье-бытье, когда он если и видел Евгению Осиповну в школьном коридоре, то и слыхом не слыхивал про нее и как звать не знал, конечно, но уже из рассказов Тольки выходило, что есть такая, очень в возрасте, учительница географии с интересной биографией. Получалось, еще при царе не только окончила гимназию в Москве и университет в Германии, что могла себе позволить при отце в чине статского советника (это не было понятно Николке) служившего по министерству путей сообщения, но и

поучаствовать в северной экспедиции Колчака, будущего адмирала, командующего Черноморским флотом и главного врага советской власти в Гражданскую войну. По всей видимости, из-за такого знакомства с «правителем омским» Евгения Осиповна и проживала еще с далеких довоенных годов в Полярном, на краю света, где властей мало, а забот у них много посущественней, чем копаться в биографиях людей, тем более специалистов. И так их мало здесь. Толька, рассказывая про «географичку», ссылался на издавна ходящие в школе среди много чего знающих — в том числе от отцов в больших чинах и разных служб — старшеклассников.

Все это Николка слушал вполуха, как лично его мало интересующее, но когда с нового учебного года в их классе стала иногда появляться Евгения Осиповна, то вспомнились Толькины рассказы. Но и всего лишь — до поры, до времени. А почему *иногда* появлялась? — Так она же вела географию в более старших классах, а у них подменяла на уроках истории Наталью Капитоновну, у дочери которой, жившей в Мурманске, родился мальчик, поэтому, уговорясь с директоршей Верой Ивановной и с дружной ей Евгенией Осиповной, она раз — другой в месяц на несколько дней ездила помогать дочери, муж которой, механик в торгфлоте, по два — три месяца находился в плавании. Это Николка услышал от всезнающих девчонок его класса. Историю же, образованная при русском царе и германском императоре Евгения Осиповна знала не хуже своей географии. И вообще много чего знала и умела. Опять же от Тольки Николка слышал, что любимая присказка почтенной годами, но физкультурно стройной Евгении Осиповны звучит как «самые успевающие ученики могут знать географию *у меня* на «хорошо», а на «отлично» даже я не всегда претендую». И действительно, до школьников доходили через

ребят — детей учителей — достоверные слухи о сражениях на педсоветах, где обсуждались возможные медалисты выпускников. Надо сказать, что марка медалистов в школе с давними традициями, единственной в городе и на флотском побережье, не считая Североморска, ценилась очень высоко: не более двух-трех медалей за выпуск и только одна золотая. По образцу старых гимназий, на стене площадки между первым и вторым этажом висела большая, со школьную доску, мраморная плита с искусно начертанными фамилиями золотых медалистов. Каждый год в списке добавлялась очередная.

...А педсоветовские сражения велись именно с Евгенией Осиповной: уговаривали превозмочь свой похвальный принцип и вывести итоговую пятерку кандидатам в медалисты, на худой конец — золотому. Те же учительские дети, похваляясь своим многознанием, сообщали, явно с «домашних» слов своих матерей, что вовсе не старческими капризами и самодурством объясняется такое поведение Евгении Осиповны, но ее сравнением царских гимназий и советских школ — явно не в пользу последних. Опять же Николка все эти разговоры пропускал мимо ушей, помятуя отцово наставление: когда о ком-то говорят заглаза, то не всякому слову верь, ибо любое произнесенное слово, как говорили древние философы, не всегда обозначает тот предмет, о котором говорят. Не совсем это понимал Николка, не искушенный в логике и философии, но суть схватил. Слушай да на ус мотай, а придет время все поймешь.

Не знаешь где найдешь — это уже от матери часто Николка слышал. Вот так получилось и с Евгенией Осиповной. Именно она свела воедино в голове своего ученика все то разрозненное, все догадки о могильнике на Большом Оленьем, что никак не складывались друг с другом доселе. А именно: в

субботу пришла мать забрать ребят на выходные, то есть обратно привести в Полярный в понедельник пораньше с утра, чтобы, пропустив урок-другой, успеть на остальные. Дело привычное, следовало лишь предупредить учителей, своих и братьев, о понедельничном опоздании. Поэтому Николка зашел на перемене в учительскую, нашел там математичку, и Сережкину учительницу, что и его опекала в начальной школе — Анфису Петровну. Славкиной не было, но Анфиса обещалась передать. «Так вы теперь на Большом Оленьем живете? — утвердительно спросила она,— это вам хорошо сейчас, даже выходные можно дома проводить». При этих словах сидевшая за соседним столом Евгения Осиповна повернула голову, внимательно посмотрела на Николку, но ничего не сказала. В глазах ее тот прочитал явный интерес.

А в следующий вторник, когда Евгения Осиповна замещала Наталью Капитоновну на последнем уроке, то после отбойного звонка учительница заметно помедлила у своего стола, а когда мимо шел на выход Николка, то сделала рукой знак подойти к ней, сама села за стол, указав ему на первую парту: «Присядь, Коля. Ты ведь, как я слышала, на Большом Оленьем живешь? Про древний могильник на острове знаешь? И мне он знаком, вернее, пришлось общаться с людьми, что там делали раскопки до войны и немного спустя после ее окончания. Я ведь когда приехала в середине двадцатых годов на Север, меня, как географа и отчасти антрополога по университетскому курсу, мурманский наробраз определил в Полярный, тогда чаще называемый селом Полярное, где располагалась опытно-биологическая станция от ленинградского — тогда весь Кольский полуостров входил в состав Ленинградской области — отделение Главнауки. От него же в конце двадцатых годов и первые раскопки могильника на

вашем острове проводились, а я на биостанции описывала для Главнауки найденные там материалы. Так что, Коля, причастна была. И в сорок восьмом году, когда ты только на свет появился, еще раз на могильнике экспедиция работала. Я тогда уже в школе этой учительствовала, но встречалась с ее участниками».

От увлекшейся давними воспоминаниями Евгении Осиповны, нашедшей благодарного и еще не отягченного сомнениями слушателями, Николка наконец-то составил в своей голове полную картину древней жизни на *своем* острове и на соседнем Екатерининском.

♦ ...Хотя это лето на Большом Оленьем в позднейших воспоминаниях Николки и обозначалось как предпоследнее, но по сути было последним, ибо следующие летние каникулы начались поездкой в Геленджик в пионерлагерь Северного флота, откуда он вернулся уже в Полярный — городским жителем. Пригревшись на тепло-томящем августовском солнце на гранитном стуле с мягкой прокладкой иссохшегося жухловатого моха, что в изголовье лощины с древним могильником, Николка блаженствовал, откинувшись на «спинку» импровизированного стула, тож нагретый прямыми лучами солнца гранит, но уже без мха, что не укрепляется на вертикальных камнях. Чтобы руки не отеками, как у стоящего или сидящего на посту солдата, он засунул их в карманы белой холщевой летней куртки, которую мать когда-то, на вырост для подрастающих один за другим сыновей, переделала из флотской рабочей робы, несколько которых сохранились еще со времен службы отца. Совсем приятно Николке стало в ненавязчивом тепле солнца, совершенной тишине, близком зеркальном море. Даже говорливые чайки и чирики примолкли — видно тоже задремали вместе со своими воспитанниками, летошними выводками птенцов.

Перешивая толстые, груботканые флотские робы в ребячьи куртки, мать оставила нагрудные карманы слева — это где у матросов по верхнему краю клапана пришита полоска материи с буквенно-цифровым обозначением нужной боевой части корабля, к которой приписан матрос или старшина.

Скосив ненароком глаза на левый карман, Николка вспомнил о кубинской сигаре в алюминиевом патрончике с завинчивающейся крышкой. Он козырял ею с весны, даже во Дворцы брал. Никто тогда не знал, что совсем скоро всевозможными видами кубинских сигар, в ящичках, в патрончиках, россыпью, по смешной копеечной стоимости будут завалены штучные отделы всех советских магазинов — от сельпо и сельмагов до роскошных «бывших филипповских».— Дружеский, по необходимости торговой блокады, дар благодарной Кубы. Но в этом году транспорты с сигарами еще не дошли до портов Ленинграда, Мурманска и Одессы... И все старшие учащиеся страны на школьных задворках щегольски дымили настоящими гаванами, в то время как американские миллионеры, втихомолку поругивая Белый дом, сложной системой перекупок экономно баловались этими гаванами, платя по двадцати — тридцати долларов за штуку, против тридцати пяти копеек в соседней со школой табачной палатке или киоске «Союзпечати»...

Но в тот год, когда в портах Лининграда, Мурманска и Одессы еще не приступили к разгрузке Фиделева дара, только школьники Полярного и Североморска могли щегольнуть перед своими соученицами клубками дыма «сигары Генри Клея». Перед Кубинским кризисом, как его стали называть по радио, Екатерининская гавань непривычно опустела: все подлодки второй эскадры, все надводные корабли из Полярного и Североморска выдвинулись из Кольского залива на боевые рубежи в сторону Ат-

лантики. Бригада подлодок и часть кораблей обеспечения ушли на Кубу. Когда же Хрущев с Кеннади ударили по рукам мировую, то полярнинские и североморские корабли по приказу спешно покинули Остров свободы и взяли курс на базы приписки Северного флота. Поскольку же накануне советская финчасть на Кубе выдала морякам командировочные в песо, на которые, впрочем и на любые деньги, и купить-то на острове было нечего кроме рома и сигар, то ими офицеры и затарились (но с ромом строго было!) на расставанье. Только пришвартовались корабли к пристаням Екатерининской гавани, как ребята, большинство которых из офицерских семей, обзавелись кубинскими сувенирами: сигарами различных марок — от «Большой короны» до хрестоматийного «Генри Клея» — и двадцатипесовыми, непотраченными в спешке отцами, кредитками. Именно в двадцать песо с изображением высадки на берег с шхуны «Гранма» отряда повстанцев с американскими винтовками и пулеметами в руках, опоясанные, не хуже балтийских братишек семнадцатого года, крест-накрест патронными лентами. Впереди бойцов бородатые Фидель Кастро и Че Гевара. Почему-то «аванец», как посмеивались офицеры, выдали только в таких купюрах; наверно как раз свежую партии отпечатали.

Дело было летом, а с началом сентября старшеклассники уже попыхивали сигарным дымком за школьным сараем, а «камчадалы» на последних рядах на уроках скрытно, под крышками парт, дулись в подкидного на интерес в кубинской валюте...

Николка не курил и в карты не играл, следуя искренне воспитательным родительским запретам, но вскоре и у него завелись пара двадцатипесовых и сигара «Малая корона» в алюминиевой тубе-патрончике — выменял у Сашки Белозерова за кастет, который ему отлил из свинца Толька еще на Седловатом.

...Сейчас, вспомнив о сигаре в левом нагрудном кармане, Николка вынул ее, отвинтил крышку тубы, вынул сигару, поднес к носу, гурмански понюхал с затяжкой, как в кино видел, водя ее вправо-влево. И сигарный дым, конечно, ни в какое сравнение не идущий с табаком «Золотое руно» из отцовой трубки, ему все же нравился — принюхивался к курящим рядом старшеклассникам, сам играя в пристенок с ребятами своего класса за школьным сараем. Также он постоянно держал в голове, что пора уже самое ценное, то есть блестящую тубу с крышкой, использовать по назначению — хранить в ней всякие мелкие ценные вещицы. А где хрупкую сигару держать? В интернате, где все общее, кто-нибудь слямзит для смеха или для дела? А дома обязательно Славка с Сережкой найдут и изломают. И так захотелось ему в эту райскую тишину, в дымку теплого солнечного дня, в свежий йодисто-солоноватый запах от близкой морской воды внести горьковатый аромат вирджинского (это отец объяснил, что в мире только два вида табака: турецкий и вирджинский) табака, что, гася слабое внутреннее сопротивление, вынул из кармана спички и складной перочинный ножик, без каковых предметов нормальный маячный пацан из дома не выходит. Как обрезают кончик сигары и курят ее — легонько вдохнул дым, задержал его во рту, медленно выпустил через неплотно сжатые губы и из образовавшегося облачка втянул носом, опять же выпуская через рот — он хорошо знал из прочитанных книг, фильмов и наблюдений за старшеклассниками за школьным сараем. Закурив в первый раз в жизни, Николка ожидал, что раскашляется до слез, как уверяли знакомые ребята, уже пробовавшие эту забаву, но никаких позывов к этому не почувствовал. И сообразил: сигара не папироса, что в затяжку смолят, а здесь лишь нюхают табачный дым!

А в голове так стало чисто-чисто, таким роем

понеслись в ней мысли, одна яснее другой, что Николка почувствовал, как весь окружающий мир ощутимо раздвигается в своих скалах гранитных берегов, в водах залива, в безоблачной синеве неба. И все окутывается ароматным, но не затеняющим ничего окрест дымком. В этом аромате и чудесном раздвижении мира Николка крепко уснул на своем гранитном кресле над лощиной и близкой водой залива, выронив раскуренную гавану, которая самостоятельно еще подымила, а затем и погасла, довольно пыхнув напоследок.

♦ Через пару часов, что он отметил по заметно склонившемуся солнцу, Николка поснулся. Как то бывает после дневного сна, тело невесомо расслаблено, в голове ясность, да еще во рту горьковатая терпкость, не без приятности, от сигарного дыма. Она же, до половины дотлевшая, валялась на покрытом мхом торфе справа — куда уронил, уходя в сон. По воспитанной привычке, опять же от предельной флотской аккуратности отца («Чистоплюй этакий!» — порой ворчала мать), не оставлять после себя никакого мусора, поднял коричневый окурок и пальцами раскрошил его, осыпав пяточок торфа крохотными обломками доселе плотно свернутых табачных листьев. Хотя курение ему даже понравилось, но, мысленно упрекнув себя, решил это дело отложить на потом... чего и придерживался далее до студенческой поры. Но — все впереди, а пока что возвращался через весь остров домой, невольно прокручивая, как на повторном сеансе уже просмотренного фильма, в голове только что увиденный сон, собравший воедино, в четкую движущуюся кинокартину, вобравшую все слышанное и виденное об островном древнем могильнике — от слов Тольки на Седловатом и ленинградской Кунсткамеры до подробного рассказа Евгении Осиповны после урока, на котором участница полярной экспедиции адмирала Колчака

(«мундир английский, погон французский...») замещала тетешкавшую у дочери в Мурманске новорожденного внука Наталью Капитоновну. В жизни все также связано воедино, нет ей начала и окончания, как у островного берега.

...Сон перенес Николку по времени на пять тысяч лет назад. Еще не началась та древняя Греция, о которой Наталья Капитоновна, еще только мечтающая о внуке, лучше внучке, рассказывала на уроках истории , но уже вовсю по земной суше ходили, расселялись люди, недавно вышедшие из пещер первобытного каменного века, но только-только постигавшие умение делать еще простенькие бронзовые и железные наконечники копий и ножи. С ними ловчее намного, нежели с отбитыми до острия камнями, охотиться на зверя и на людей враждебного соседнего рода, которые хуже понятно кого, съязвил бы отец по зловредному укладу калужского старовера.

То ли климат на планете в те стародавние времена, особенно в этих северных местах, был мягче (Евгения Осиповна к этому склонялась, рассуждая о взаимоотношениях хорошо знакомого Николкой Гольфстрима и неведомого ему тихоокеанского течения Эль-Ниньо), или, повинуясь и древним людям присущим стремлением искать «хорошо там, где нас нет» и «славны бубны за горами», рода и племена безустанно бродяжничали по всей Земле, останавливаясь только перед океанами, а может теснили и оттесняли друг друга усовершенствованными копьями с железными наконечниками... словом, и в кольском Заполярье, совершенно непригодном для жизни без северных надбавок и продуктовых завозов с Большой земли, завелись рода неведомого нам сейчас племени. Может и предки далекие начальника маяка Большого Оленьего Седалина-старшего, то есть лопари, а по-ученому саамы, утлый во все века и тысячелетия финского корня народец.

По всей видимости климат на кольском севере, действительно, пять тысячелетий назад был благоприятен, угодив в теплую середку между двумя малыми ледниковыми периодами*; стада полудиких тогда в Ловозерской и Монче-тундрах тучнели и добирались до кольского побережья. А раз олешек много, то и численность тамошнего племени на неиссякаемом харче возрастала. По человеческим же законам, что одинаковы для каменного века (говоря об этом, Евгения Осиповна сослалась на Фридриха Энгельса) и для нашего времени, исключая страны социализма, «где много народу, там меньше кислороду», всех не прокормишь даже при тучнеющих оленьих стадах. Вот и один из родов, у которого то ли в моровой хвори пали все их кормильцы-олени, а скорее всего более могучий род покрал их, оказался не у дел и пошел далее на север, ибо на юге их копьями и стрелами встретят.

Шли, шли бесприютные странники и дошли до Кольского залива, но и здесь свои уже обитатели, что рыбой и морским зверем кормятся. Гонят пришельцев взашей все дальше по левому берегу (правый столь скалист, что и к воде доступа нет) залива. И догнали до края земли... в смысле гранитных сопок, до нынешней Екатерининской гавани. А дальше остров ближний, в большие отливы на который можно перебраться по отмели, что за сотни тысяч лет образовалась из натаскиваемого в приливы в узкую горловину между материковым и островным берегами донного песка. Перебрались странники на остров, осмотрелись и сообразили с подачи старей-

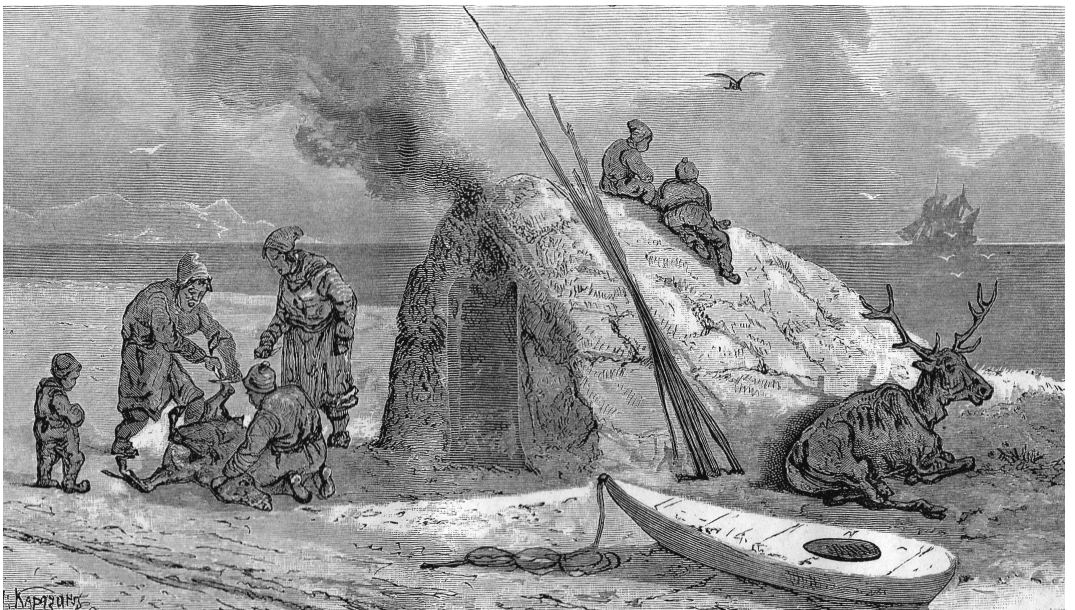
* Напомним, что последний к нам по времени малый ледниковый период состоялся совсем недавно, в XIII—XIV вв.; поэтому на полотнах «старых голландцев» обычный сюжет — катающиеся на коньках дети на замерзших водоемах и игра в хоккей, родина которого вовсе не Канада...— Прим. авт.

шины рода: дальше идти некуда — море, а остров-то удобен во всех отношениях. Во-первых, чужаков очень просто не допустить, достаточно пару-тройку копейников в случае опасности поставить в большой отлив у открывающегося песчаного перешейка, всех супостатов вмиг по одному перебьют! (Вспомнил Николка из истории Древней Греции Фермонильский проход в Спарте). Во-вторых же и в главных, отменное место для постоянной стоянки есть на низине; возле илистой бухты с крутым берегом просторная площадка под число чумов сколько пальцев на двух руках. А высокая крутая горка прямо у северного края этой площадки надежно зимой защищает от самых злых ветров с недалекого студеного моря.

За горой же пологий спуск к узкому, неглубокому, с илистым дном проливу между *их* островом и другим, что поменьше, ровнее, без скалистых сопок. А проливчик этот так и кишит тюленями — источником мяса и жира на долгую зиму, шкур для одежды и построения чумов. Деревьев (как сообщила Евгения Осиповна, достаточные заросли невысоких деревьев на Екатерининском и Большом Оленьем под корень извели в двадцатых годах на топливо заготовители из Полярного) и кустарников на обоих островах хватит их роду на много поколений, а к этому времени и новые вырастут. Пролив рыбой богат, а камбалу в отлив и вовсе острогой только успевай прикалывать! На соседний остров в тот же отлив можно в самом мелком месте (это где в войну насыпали перешеек из песка могильника — сам для себя уточнил во сне Николка) вброд летом перейти.

Еще больше обрадовал сородичей шаман: он нашел на соседнем острове большую песчаную лощину. Вот и свой остров мертвых у рода появился! Мало кто из родов племени может этим похвалиться... Все остались довольны новым местом жизни и нелегкого

первобытного труда: старейшина, шаман, мужчины, женщины и дети рода. А больше всех — вступивший в права отрочества Николка, маячный пацан с Большого Оленьего, для которого наконец-то сложилась в единое целое последняя для него загадка последнего в его северной жизни острова и маяка. Впереди — городская бытность и ожидание волнующей юности.



Лопарская вежа

Лапландский лес и летние юрты

ЛЮБОПЫТСТВУЮЩИМ О БУДУЩЕМ: ВМЕСТО ЭПИЛОГА*

Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать.

Ф. М. Достоевский «Бесы»

♦ Ян Парандовский в своем бестселлере семидесятых годов «Алхимии слова», к которому мы еще вернемся ниже, отмечает, что работая над произведением крупного жанра, автор зачастую обращается к ранее написанному и берет из него «готовые» фрагменты. Это в порядке литературной традиции. Так и мы, ничтоже сумняшеся, выше в настоящей повести поступили. Но с настоящим «вместо эпилога» дело обстоит по иному. Данный очерк, как вещь сугубо самостоятельная по очерковому жанру и назначению, предназначался для публикации в литературной журнальной периодике. Увы, даже журналы, ранее нас охотно печатавшие, ответили вежливыми или безотносительными («не подходит») отказами; дескать объем большой или не наш «формат» — это не полиграфический термин, но современный американизм, мол, неча со свиным рылом в калашный ряд... Но мы тоже не пальцем деланы (извиняемся за грубоватый эвфемизм) в части литературы «и ее окрестностей», мигом сообразили: уважаемые редакторы журналов, почти что и друзья наши, нашего журнала «Приокские зори», поставлены этим очерком в щекотливое положение: печатать его — значит признать правоту сказанного, а речь идет о глобальном расче-

* Собственно говоря, на этом читатель может и завершить чтение сугубо художественной книги, ибо эпилог суть литературно-философская «мораль», а это уже на особо дотошного читателя. Потому эпилог и сверстан петитом.— Прим. авт.

ловечивании в связи с литературой; а признать таковую правоту — увидеть в своем издании все следствия такого расчеловечивания. Это как в масонском символе: змея кусает собственный хвост. По-человечески все ясно. На том и аминь. А в качестве «вместо эпилога» этой повести вполне подходит на тезе и антитезе: оптимизм и пессимизм.

♦ Из двух, всего лишь имевших место быть в человеческой истории, гениальных социально-нравственных писателей, а именно Шекспира и Достоевского, безусловным, что называется до испуганной дрожи души, в каждом новом поколении убеждающейся в высказанной им истине, провидцем был и остается Федор Михайлович. Таковое выделение не обидно, например, для Льва Толстого, Гёте и Томаса Манна — великих *человековедов* в своем творчестве. Здесь верно определил различие творчества двух величайших русских писателей в своем трактате «Л. Толстой и Достоевский» проницательный Д.С. Мережковский, обозначив первого как исследователя *телесного поведения* человека, а вот прерогативу познавателя *души* отдав Достоевскому.

... Еще далеко было до озвучивания нынешних понятий *расчеловечивания*, *человейника*, *глобализации* с ее *умозамещением* и *цифрофренией**, а Достоевский в «Бесах» представил миру Шигалева с его же «шигалевщиной», сущность которой Достоевский изобразил в нескольких строках — см. выше эпиграф,— и которая, спустя полторы сотни лет, оказалась точнейшим, в масштабе *М1:1*, как ставят на инженерных чертежах, слепком наших безрадостных будней... равно и официально-постановочных празднеств. Отметим сразу, что пишем о всемирном человейнике, ибо в эпоху торжествующего глобализма выделять какую-либо «отдельно взятую» социумность или государственность суть сужающая тематику эмфаза**.

Определение, точнее гениальное предвидение, Достоевским расчеловечивания, как потери личности и обращения в стадо, сбывающееся сейчас в невероятном ускорении, многократно превышающем обычно соотносимое с временными показателями человеческой, социальной эволюции (человек обогнал свою эволюцию — по Конраду Лоренцу), происходит сейчас — в

---

* Термин «человейник» введен А. А. Зиновьевым; авторство «расчеловечивания» обычно относят к Конраду Лоренцу, а «умозамещение» и «цифрофрения», как говорится, наших рук дело — см. далее.— Прим. авт.

** Эмфаза (лат.) — подчеркивание, акцент на чем-либо.— Прим. авт.

терминах обезличивания и превращения человека в крохотный винтик глобальной машины Молоха глобализации, родного брата Великого инквизитора из «Братьев Карамазовых», а еще точнее — в биологический придаток *кликовых недолайкиных* к мировым телекоммуникационным сетям. Это все настолько самоочевидно — оглянитесь вокруг, не забыв и на свое отражение в зеркале посмотреть! — что не стоит лишний раз бередить раны человека-читающего, еще как-то сопротивляющегося, хотя бы в мыслях своих, натиску волны, девятого вала расчеловечивания. Мы же вовсе не «от лукавого» бередим эти раны. Просто это тема наших научных, естественно-философских, системных исследований*. Упоминаем это «не корысти для», как говорил известный персонаж дилогии одесских классиков, «но токмо» для констатации того факта, что выходящее из-под нашего пера (действительно, пишу старорежимно только «от руки») не есть порядком поднадоевшее нашему читателю — неужто и таковые еще остались? — нытье по уходящей в историю некогда великой русской и советской литературе и уже давно ушедшей туда западно-восточной художественной словесности, но без каких-либо личностных эмоций признание дефакто наступившей *постлитературной* эпохи. Это как данное американо-японским философом Фукуямой определение нашего времени: *постисторический* период цивилизации.

Как говорится, с логикой в уме и тревогой в душе будем воспринимать происходящее неким *status quo* неумолимой социальной эволюции человечества, переходящего в статус человейника. Словом, «ума холодных наблюдений».

От вводного философствования переходим к литературе времен глобального расчеловечивания.

♦ Литература по определению не является исключением в части действия законов социальной эволюции человека. А в рамках таковых глобализация, как первоначальный, зато самый бесчеловечный, жестокий этап более общего процесса перехода Земли в новую биогеохимическую оболочку (по акад. В. И. Вернадскому, создателю учения о ноосфере) — *ноосферу*, дает следующее целеуказание *всем* художественным творче-

---

* Результаты таковых изложены в продолжающейся серии «Живая материя и феноменология ноосферы» (ЖМФН), издаваемой, начиная с 2007-го года (различные издательства Москвы, СПб, Твери, Тулы). На сегодняшний день вышло 17 томов. В электронной форме с ними можно ознакомиться (см. по поисковику) на различных сайтах, например: www.pz.tula.ru, www.trinitas.ru, www.vixri.com и др.— Прим. авт.

ствам: (а) в отношении «одной десятой доли» у Достоевского, а по-нынешнему «золотого миллиарда», девиз Древнего Рима: вино, женщины и искусства принадлежат избранным (в наших пенатах см. цены на билеты в Большой театр...); (б) для «остальных девяти десятых» только примитивнейший суррогат таковых художественных творчеств, где-то по значимости после торговли (в тех же пенатах усеявшие города «торгово-развлекательные центры»); (в) суррогат направленно продуман и выверен, несмотря на внешний примитивизм, а именно, сочетает в себе информационный шум, психолингвистическое и прочее «психо» (музыка, литература, пластические искусства, живопись, все сценические действия) зомбо-программирование; (г) для литературы и других словесных творчеств — полное преобладание (у авторов и потребителей) утилитарного цифрового мышления (цифрофрения) над аналоговым творческим. Варианты и разветвления названных целеуказаний читатель найдет в развернутом виде в ЖМФН.

Итак, отмеченные целеуказания не есть пресловутые «происки империализма», «руководящие указания партии и правительства», «оскалы» всевозможных «измов». Это есть эволюционный закон, не кем-то придуманный, но отображением Мироздания. И если нам выпало сомнительное удовольствие попасть в генеалогической цепи поколений в уникально жестокий и бесчеловечный, умозамещающий период глобализации, то остается только вспомнить юридическую формулу о жестокости закона, но — закона!

Другое дело, опять же обращаясь к образной логике римского права, что *herba mala cito crescit* — дурная трава быстро растет, то есть человек с охотой великой скатывается в примитивизм, ибо по природе своей он великий хитрец, а лень ему мать родная. Та же самая феногенотипическая лень (Ильи Муромца до тридцати годов...) одинаково подвигает человека к творческой деятельности, см. присказку о лени как матери изобретений, и к духовному отуплению и инерции жизни — тоже Илья, но Обломов. И совсем другое дело, если скатывание в умозамещающий примитивизм директивно, целеуказуемо направляется мировой социальной эволюцией.

Целеуказание (а) уже пояснено «билетом в Большой» (это не о сторублевке в исполнении Стоянова), но в нашей стране, сравнительно — по историческим меркам — недавно пришедшей в постсоветские годы к реставрации атавизма частнособственничества, да и учитывая историческую русскую общинность, наблюдается еще некоторое колебание в раскладе на 1/10 и 9/10. Но ведь директивно-то спешим, «задрав штаны», за

Европой, при этом не уставая ее поругивать. Бегом, бегом все умозамещающее от нее, надменной, в себя вобрать! Отсюда и конфузы торопливости, как черт в бреду Ивана Карамазова говорит: «*То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений — один только вред!*» А великолепный публицист, он же ленинский Иудушка, Троцкий вторит Ф. М. Достоевскому: «*Мы пришли слишком поздно и потому осуждены проходить историю по сокращенному европейскому учебнику*».

...И еще существенный момент: в отличии от европ и америк, наш олигархический *минимиллиард*, но с полновесными миллиардами в долларах, поспешая «задрав штаны», пока что не дошел до избранничества в творчествах художественных; винище из осторжности не пьет, чтобы не потерять бдительность начального накопления капитала; правда, еще лет десять назад, до устрожения нравственности, радовали нас на телеэкранах репортажами о поездках в Куршавель «властителей дум» с вагоном девок: наши красивые и дешевые, а западные — тощие кобылы и алчные... Но — время идет неумолимо вперед. Может и изящные искусства избранным воспотребуются; даже — в старшном сне такое не увидишь — возжелает нефтяной или алюминиевый *олигархер* на досуге полистать книжку запиаренного сочинителя. Так что будьте «на товсь», грядущие Сенеки, Цицероны и Овидии... нет-нет, с Овидием мы хватили лишку, можно будет подпасть под образцово-показательную кампанию борьбы с аморалкой и быть сосланным куда следует: «...В Молдавии, в глуши степей, вдали Италии своей».

Про целеуказание (б) мы также выше кратко высказались. Тем более, в части литературы о таковом ниже будет достаточно сказано; аналогично и о (г). Классическим примером довлеющего воплощения (в) является популярная, то есть эстрадная, музыка. Но не «отстает» от нее и музыка, по традиции называемая «серьезной». Этот пример намного характернее той же литературы и живописи, тем более он сейчас, что называется, на слуху: извиняемся за смысловую тавтологию... Но общий принцип расчеловечивания — будем ниже избегать специальной психологической и иной терминологии — одинаков для всех искусств.

Отличительную от всех других видов художественных воплощений особенность музыки давно, но очень точно определил Артур Шопенгауэр в своем основном произведении «Мир как воля и представление». Позволим себе процитировать (последний раздел третьей книги названного трактата) Шопенгауэра в его определении сущности музыки: «*Музыка — это непосред-*

ственная объективизация и отпечаток всей воли, подобно самому миру, подобно идеям, умноженное проявление которых составляет мир отдельных вещей. Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой воли, объективностью которой служат и идеи; вот почему действие музыки настолько мощнее и глубже действия других искусств; ведь последние говорят только о тени, она же — о существе... Она раскрывает интимную историю воли, живописует всякое побуждение, всякое стремление, всякое движение ее, все то, что разум объединяет под широким и отрицательным понятием чувства и чего он не в силах уже воспринять в свои абстракции. Поэтому всегда и говорили, что музыка — язык чувства и страсти, как слова — язык разума».

Именно в силу такой специфики музыки, ее единичности в сфере искусств, главное — непосредственного воздействия «сущности» на органы чувств человека (ухо воспринимает мелодику, а кожный покров и биофизиомасса мозга — ритмику), заключается все коварство исполнения целеуказания на зомбопрограммирование человека, уготовляемого к качеству носителя умозамещения и цифрофрении — неотъемлемых качеств винтика машины Молоха глобализации.

...Не следует наивно полагать, что глобализация взяла да спрыгнула на наши головы где-то на рубеже 1990—2000 гг. В эволюции всегда наличествует предтеча; как в армейском наступлении артподготовка. Объективно рассуждая, можно сказать: эволюция запроектировала современного человека еще три миллиарда лет назад, создавая еще предживого (сложная молекула в белковой оболочке — капсиде) вируса с его ДНК... Так и в части зомбо-программировании человека посредством музыки.

В начале прошлого века теоретик музыки Арнольд Шёнберг предложил новый строй музыкальной композиции и исполнения, а именно так называемую двенадцатитоновую систему. Кстати, в своем выдающемся романе «Доктор Фаустус» Томас Манн, хотя бы он и имел в виду судьбу и философию Ницше, «облек» главного героя по житейской атрибутике в «одежды» Шёнберга с его музыкальной новацией.

Некоторое время спустя, но в том же двадцатом веке, Теодор Адорно из Англии, чье имя очень известно во многих кругах, что называется, от искусства до философии, развил двенадцатитоновую музыкальную концепцию Шёнберга, но уже в практических целях заложив в нее (зомбирующее) управление сознанием человека слушающего. Это и была предтеча мирово-

го зомбирования — расчеловечивания посредством музыкальных масс-психозов. Далее идет известная легенда, но очень похожая на действительность и уж тем более похожая, что результат-то был получен ошеломляющий! Суть же былилегенды, несколько лет назад «попавшей в лапы» жадным до сенсаций западным СМИ и растиражированной ими на весь мир, состоит в следующем.

В самом начале 1960-х годов британская разведка МИ-6, выполняя явно заказ тогда еще тайных мировых сил, готовивших предтечу глобализации, поручила Теодору Адорно разработать спецпроект — ни много ни мало — по музыкальному зомбированию больших масс, преимущественно молодежных, с использованием возможностей двенадцатитонового строя. Теория у Адорно уже готова была, а для практического опробывания то ли специально была создана (на деньги-фунты МИ-6) в 1963-м году, или просто веселые парни из Ливерпуля подвернулись под руку... словом, появился «Битлз», который за считанные годы разрушил *всю* массовую музыку прежнего классического строя, с честью выполнив задачу апробации зомбирования широчайших масс. Как всякое пробное начало, ливерпульская четверка недолго и просуществовала. Выполнив свою задачу, получив из рук королевы рыцарские кресты (по представлению МИ-6?), в семидесятом году ребята-«жучки» разбежались уже поодиночке собирать дивиденты. И папа Адорно годом ранее почил... по своей ли воле-судьбе? Разведчики во все времена следов не оставляют. *Додекакофония* — ироничное название двенадцатитоновой системы.

Здесь даже истовый меломан забурчит в наш адрес: но где обещанная литература? А вот и она.

♦ Лично ваш покорный слуга уже в годы «битломании» ни в малейшей степени не сомневался (далеко еще было до легенды-были в СМИ) в разрушительном начале новых эстрадных веяний. А вот литература тогда, особенно советская, даже и не помышляла о сдаче позиций. Ленинские и Государственные премии в СССР, Гонкуровские во Франции, тем более Нобелевские, вручались писателям с устойчивой известностью, и не только в своей стране.

Советский Союз подлинно, без самохвальной рекламы, являлся самой читающей в мире страной. Более того, дело даже не в сравнении с иными царствами-государствами, просто в СССР *читали все*: от «столиц и университетских центров» до зыбучих песков и барханов среднеазиатских окраин, жителей которых еще не столь давно дети лейтенанта Шмидта — из тех же одесских классиков — полагали неграмотными... На

этом фоне самыми читающими были инженеры, особенно молодые. А сословие это в советской стране, во-первых, являлось многомиллионным; во-вторых и в главных, тогдашняя инженерная служба представляла собой некий симбиоз полезной занятости и клубного времяпрепровождения: легкий флирт, умеренное потребление того самого по поводам и без, хохот анекдотов про «руководителей партии и правительства» в переполненных курилках... тогда с потребителями травки никотианы никому бы в голову не пришло сражаться, ибо сам *Ильич Второй* еще баловался «Новостью» за восемнадцать копеек пачка; впрочем, тема курения сейчас официально не приветствуется. Но это к слову, а именно к тому, что служебно-клубная обстановка, когда вовсе не эвфемизмом понималась присказка: «Утром на работу с удовольствием, вечером домой с радостью»,— непременно включала обмен мнениями и суждениями о прочитанных новинках литературы: книгах и художественных журналах: от «Юности» до «Нового мира».

...В первый год моей инженерной службы из рук в руки, с «записью в очередь», переходила только что изданная «Алхимия слова» Яна Парандовского — с предисловием аж самого Сергея Залыгина, что из числа наиболее читаемых тогда писателей. Заметим, что несколько позже по рукам заходили «Законы Паркинсона» — книга названа по имени автора,— но это несколько иное.

Ян же Парандовский посвятил «Алхимию слова» тому, что сам назвал «лабораторией литературы». В понятийной, зачастую остроумной, для самой широкой читательской аудитории, высокохудожественной форме автор вводил в святую святых творцов словесного искусства. А «что там за кулисами?» — всегда занимательно для находящегося в зале. Но одно дело нынешние ТВ-спектакли, адресованные самому низменному инстинкту обывателя, в каковых (спектаклях) некогда кумиры этих самых залов кино- и просто театров, вытряхивают свои старческие кальсоны, брюзжа на молоденьких содержанок, обобравших до нитки артпапиков, совсем другое — творческая лаборатория писателя не так уж и далеких от нас времен. С устоявшимися традициями самого творчества, их глубинным содержанием и внешним антуражем.

...Пространное «силлабо-лирическое» отступление к тому, что с античных времен и до недавнего оцифровывания и умозамещения литературное творчество являло собой *профессию*, хотя бы, согласно табели о рангах, в послужном списке писателя и стояло: камер-юнкер или камергер, дипломат, путешественник на фрегате «Паллада», а потом главный цензор Россий-

ской империи, помещик, разночинец, чиновник не выше коллежского асессора, исключая статских генералов Г. Р. Державина и М. Е. Салтыкова-Щедрина... И так далее. Даже в советское время, когда писательство являлось профессией де-факто, но де-юре в соответствующих реестрах не обозначалось: пенсия по каким-то косвенным статьям оформлялась.

Нынешний же безлошадный сочинитель, уже и забывший этимологию слова «гонорар», только что может горестно повторять слова капитана Лебядкина из «Бесов»: «Если бога нет, то какой же я после того капитан?»

Завершая краткий ностальгический экскурс в безвозвратно ушедшее доцифровое время, в сонетной манере свяжем окончание с началом, а именно скажем еще несколько слов об образцово-показательном сведении музыки к средству эффективного зомбирования. Как «битломания» разрушила мелодику популярной, эстрадной музыки, сведя ее в итоге к преобладанию ритма, то есть кодирующей сознание цифры, так в течении первых двух третей прошлого века и так называемую серьезную музыку, симфоническую, оперную, балетную, оркестрово-концертную и пр., оцифровали в указанном выше смысле и назначении. Если девизом нынешних — на подхвате, подголоске и подтанцовке у Великого глобализатора — СМИ является рекламный девиз «Вместо слова цифра», то (опять вспомним афористику все тех же одесских классиков) для современной, бывшей «серьезной» мелодичной музыки характерен зомбозапрограммированный ритм «негрских плясок у истоков Замбези». Таковой облик современной «классики» в отечественном варианте можно, хотя и осторожно, в качестве истоковых, усмотреть у Игоря Стравинского и Александра Мосолова, далее Шостаковича и, конечно же, у Шнитке. Уже особо и не останавливаемся на «Симфонии гудков» Арсения Авраамова (это псевдоним; сам он был сыном донского казачьего генерала...). Этот оригинальный русский композитор по праву считается *мировой предтечей* зомбо-музыки. Однако — снова к литературе.

♦ Потеря профессиональности, упразднения лаборатории литературы и понятия творческого авторитета — таковой, воочию наблюдаемый процесс, уложился по времени в неполные три десятка лет. Темпы, конечно, космические — в сравнении с двумя с половиною столетиями возникновения, становления и расцвета отечественной словесности. Но ведь и сама социальная эволюция в период глобализации неимоверно ускоряется, говоря ученым языком, переходит на возрастающую экспоненту, семимильными шагами убегая от традиционной духовности и

творческой художественности в суконно-цинковую оцифрованную среду прозябания и невостребованности.

Литераторы, особенно поэты, как натуры восторженно-нервические, суть сугубые индивидуалисты. Это ни в коем случае не порок, но специфика творческого человека, в своем мышлении субъективирующего весь отражаемый в сознании мир объектов и процессов. Поэтому неуклонный рост их профессионализма во многом, если не в основном, стимулируется тем развитым в них качеством, которое вольно поименовать равнением на мастера — это для трибунного красного словца. В душе же своей, или в узком кругу доверенных лиц,— *творческой завистью*. Таким образом, естественное выделение из среды писателей мастеров слова, то есть *авторитетов*, есть процесс позитивный, движитель развивающегося литературного процесса. Опять же литератор, даже все тот же вдохновенный, знающий себе (порой) завышенную цену поэт («Я, гений Игорь Северянин...»), есть натура совершенно реалистическая. А «*в реалисте*,— говорит персонаж «Братьев Карамазовых»,— *вера не от чуда рождается, а чудо от веры*». То есть устремление в совершенствовании своего творческого потенциала с равнением на признанных авторитетов и есть та вера в свои способности и усердие на сочинительском поприще, которая в итоге и может сотворить творческое чудо: и сам писатель «воссияет на скрижалях» (Леонид Ильич, сам уже с пятью геройскими звездами на пиджаке, вручит лауреатскую медаль), а число читателей зашкалит за десяток-другой миллионов. Главное, душа художественного сочинителя возрадуется одновременно горделиво и самоуспокоенно... Так и было в столь недавнюю пору *признания* авторитетов: именно мастеров-авторитетов, вовсе не «литературных генералов».

Все прошло как сладостный сон. Исчезло само понятие авторитета в литературе, которое даже близко не заменит термин «пиарщик в оной же». Это все из различных опер... и оперетт. Провозглашенный Великой французской революцией 1789-го года лозунг, взятый у масонов,— *liberte, egalite, fraternite*,— в части *egalite* — равенства следует воспринимать с осторожностью. Равенство трехсот миллионов жителей СССР в правах и обязанностях — это мировая вершина социальной справедливости. Общемировая практика римского права в части равенства перед законом — тоже справедливо... если, конечно, таковое равенство на практике исполняется. Но говорить о поголовном *творческом* равенстве людей есть абсурд и предельное лицемерие. Да, Декларация прав с трибуны ООН (кажется, с американской конституции списанная?) о том, что все люди появля-

ются на свет *равными*, возражений не вызывает. Но вот творческий заряд в этих людях усреднению не поддается — это как средняя температура по больнице... *Творчество есть категория персонифицированная*!

...Кстати, раз упомянули об Америке... Северной, конечно, что между Канадой и Мексикой, то в этой мировой вершине прагматизма и утилитаризма сложилось уникальное равенство, о сущности которого, правда безотносительно к Америке, сказал в «Подростке» Ф. М. Достоевский: «*Деньги, конечно, есть деспотическое могущество, но в то же время и высочайшее равенство, и в этом вся главная их сила. Деньги сравнивают все неравенства*».

То есть деньги не источник равенства, но средство его достижения. Причем таковое, денежное равенство есть *нивелирование*, усреднение человека в социуме. И с наступлением эпохи глобализации практика такого усреднения от сугубо экономической была распространена на все сферы социума, литературу и все остальные искусства-художества тож.

А Лев Николаевич Толстой с намного большей, нежели Достоевский, категоричностью исторически видел таковое нивелирование ума людей в... изобретении книгопечатания ювелиром из Майнца Иоганном Генсфляйшем Гутенбергом (!) Уже упоминавшийся выше другой Лев, но только Давидович, то есть Троцкий, «умягчил» резонно высказывание классика: «*Толстой когда-то сказал, что изобретение книгопечатания создало самое могущественное орудие распространения невежества. Н е в е ж е с т в а — это, пожалуй, слишком сурово, но д и л е т а н т и з м а — это несомненно*» («Литература и революция», 1923).

Еще раз повторимся: в эволюции вообще, в социальной тем более, все изначально запрограммировано. Всякое новое социальное явление в истории цивилизации и культуры изначально позитивно, прогрессивно для развития человека разумного и всего человечества в целом. Но все эти новации, возникающие в течении социальной эволюции, в итоге и *одновременно* достигли своего апогея ко времени биосферно-ноосферного перехода, когда человек разумный *биологический*, увы, выполнил определенную ему эволюцией задачу высшего развития, то есть достиг предела совершенствования *индивидуального* мышления. Дальше той же эволюцией предопределен (см. ЖМФН) переход к доминированию *коллективного* разума, то есть преобладанию биотехнического симбиоза информационной виртуальной реальности, предтечей которой являются нынешние глобальные телекоммуникационные сети (интернет), а индиви-

дуальный человек стремительно, буквально на глазах, становится их придатком-пользователем.

Это все к тому сказано — возвращаясь к нашей тематике,— что Лев Николаевич (с поправкой Льва Давидовича) обличал не собственно архиполезное для человечества изобретение Гутенберга, но уже в годы его жизни имевшее место быть профанирующее качество доступности к печатному слову. Как читающего, так — и особенно! — пишущего. Но таковая профанация, дилетантизм в наше время полной доступности к печатанию, оргтехники его подготовки и дешевизны — в небольшом числе экземпляров — издания мощно способствовали потере профессионализма, утрате творческих авторитетов, упразднению понятия и содержания «творческой лаборатории». Опять же все это на виду и на слуху; особого пояснения не требует.

...Сейчас с самых высоких мировых трибун человечество, напуганное стремительным глобальным натиском цифрофрении, уверяют, что напрасны опасения в части самой скорой передачи всех трудовых функций человека роботизированным механизмам. Дескать, эти системные автоматы будут выполнять всю рутинную и тяжелую работы, а освобожденное от забот о хлебе насущном человечество *все целиком* отдастся творчеству. Но ведь таковое утверждение (см. выше) уже не только средняя температура по больнице, но еще и усредненное артериальное давление! Словом, в современном духе препарируя слова из оперы: не счесть талантов пламенных в неоне джунглей каменных.

♦ Параллельно с потерей писательского профессионализма и понятия творческого авторитета, но в общем-то независимо от этого, произошла и утрата массового читателя. И вовсе не потому, что таковой в един миг поглупел с натиском глобализма. А если и поглупел отчасти, то с него и взятки гладки. Опять же Федор Михайлович в своих статьях о русской литературе (1861 г.) не в бровь, но в глаз сказал: «*Дурак-то именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком...*». Это все одно, как бы и великий талант полагал себя обиженным матерью-природой, что сотворила его не мирным бюргером и любителем баварского пива, но обрекла на каторжный пожизненный творческий труд до умоисступления, причем сугубо «за интерес», а не за звонкую монету! — Та же палка, да с другого конца... Теория относительности, словом. И уж совсем категоричен Чехов, утверждавший, что дело не в оптимизме или пессимизме, но в том, что у 99 людей из 100 вовсе нет ума. Что-то в этом роде сказал.

Итак, мы не об умных и дураках ведем речь, но об утрате массового читателя в наступившую эпоху *не в зависимости* от степени совершенства или несовершенства устроения правого и левого полушарий головного мозга индивидуума, отвечающих, соответственно, за образную художественность и логику мышления, но о явлении *системном*, социально-эволюционно обусловленном. А таковое всегда обусловлено категорическим императивом действенности философской категории *причинности*. Иной скептик возразит: причем здесь причинность? читал себе человек, грамоте обученный, в свое удовольствие в свободное от трудовых и иных подвигов время и чего бы ему не продолжать набираться ума-разума и всяких романтических чувствований вне зависимости от «погоды на дворе»? Да, пусть глобализация за окном и на экране телеящика набирает обороты, свирепствуют цифрофрения и умозамещение, но мне-то что до всего этого? Лежу на диванчике и почитываю, благо и писатели еще пописывают...

Ан нет, отвечаем скептику, от причины не отмахнешься. Это не телеящик с волнующей программой «В гостях у цифры», что можно, сопроводив легким матерком, выключить, а порыв гнева погасить на кухне стопкой «очищенной». Ибо причина — задатчик любого социального процесса. Ту же глобализацию вовсе не в Белом доме (который настоящий, г. Вашингтон, федеральный округ Колумбия) придумали и не в «совете нечестивых» — предполагаемом Тайном мировом правительстве. Оные только исполнители категорического императива причинности. Последняя же суть развертывание матрицы некоего фундаментального кода Мироздания (см. ЖМФН) — в данном случае в движении социальной эволюции человека. Причинностью обусловлено и явление глобализма, как высшей и завершающей стадии империализма (это как у В. И. Ленина сам империализм есть высшая стадия капитализма...), относительно короткой в эволюционном масштабе — по разным оценкам 80...200 лет,— после окончания которой человечество приобретет «полный статус» *человейника* — всемирного общества полного (социального, экономического, умственного, творческого и пр.) *равенства*. То есть прогноз Маркса о всеземном коммунизме и акад. В. И. Вернадского о ноосфере в таком же ключе через век-другой сбудутся... только равенство это окажется равенством гаек-шестеренок, придатков телекоммуникационных сетей глобальной виртуальной реальности.

А затем и вовсе завершится отведенная эволюцией роль человека биологического... Но — это-то нескоро еще. И не

следует сейчас оплакивать грядущего робота в человейнике. Человек — самое адаптивное животное в биоэволюции. Ведь только два-три десятка лет мы в объятиях глобализации; умозамещения и цифрофрении тож. А разве чувствуют свое ущемление средние, тем более младшие поколения, уже обретшие качество *недолайкиных*? — Отнюдь нет. И старшие поколения скорее лишь по традиции бурчат, но и то о низкой пенсии; мол, небольшая, но хорошая...

Все сказанное в пространном отступлении преследует цель: пояснить роль причинности, то есть *не* случайности, утраты писателем своего читателя.

♦ Но куда же он делся — наш бывший читатель? Тем более у нас в отечестве, повторимся, еще не столь давно воистину, не для пропагандистского словца, бывшем самой читающей страной в мире? Оглядитесь округ себя и узрите людей новой формации: Кешбэка Кешбэковича Онлайнюка, Нанотана Постеровича Цыфринского, Катцапа Апплиевича Вайнберга и самого Фейсбука Кликовича Недолайкина.— Все сплошь ваши вежливые соседи, сослуживцы, телесериальные «говорящие головы» и пр. и пр., увешанные китайской выделки гэджиками, сам-один разговаривающие при уличной ходьбе. Перенесись на машине времени в наши дни человек из не столь уж далекой эпохи «пятнистого консенсуса», так первая мысль его будет: наверное, в Кащенка проводят — в духе либеральных реформ — день открытых на выход дверей!

...Правильно, уважаемый читатель, мыслите. Но, к сожалению, не в корень зрите. Интернет, гэджики, цифрофрения во всем и всея (а у нас, как то принято, в рамках кампании, «месячников» и пр.— со смехоподобным перехлестом) — это вовсе не замена чтению «бумажной» художественной литературы, как неуклюже силятся внушить народу масс-медиа, но сугубые технические средства расчеловечивания грядущего робота Молоха глобализации, достижения уже упомянутой выше главной цели: перехода в индивидуальном и коллективном разуме от творческого аналогового мышления к утилитарному цифровому. Последнее уже принято называть *компьютерным мышлением*. Вот в этом-то и зримый корень того явления, что связываем с утратой <литературного> читателя. А который (их все меньше и меньше...) еще остается, то все чаще с уровнем восприятия писаний Ратазяева из «Бедных людей» Достоевского: «— *Владимир!..— шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели... Новый, ужасный брак был совершен! ... Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей.— А что, душечка, не приказать ли для дорогого*

*гостя самоварчик поставить? — сказал он, потрепав жену по щеке».**

Опять же всякие ссылки на заботы современного, отечественного в особенности, человека по добывания хлеба насущного — кручусь, мол, от зари до зари! — тем более с маслом и икрой, совершенно неубедительны. Этот самый хлеб в истории страны никому даром не давался. Но все же при свечах читали, в окопах, после трудового дня. Время на чтение всегда найдется, если есть побуждение к этому. Но свершившийся уже буквально и прямо на глазах переход среднестатического человека — не без директивного довления телеэкрана и гэджиков — в категорию адептов компьютерного мышления поставил жирную точку: баста, книги читать — не дензнаки считать! Книги — на помойку, глаза — на экраны! Выстраивается цепочка запрограммированной подготовки тружеников-роботов периода глобализации: человек читающий → «подключение» его к телекоммуникационным сетям (интернет) → «загрузка» гэджиками → цифрофрения → отказ от чтения какой-либо литературы → справочный <через интернет> характер памяти → умозамещение → справочный характер мышления → компьютерное мышление. Как следствие — не то что отсутствие позывов к чтению, но и непонимание такого рода занятий. ...Сразу вспоминаются выражения лиц моих коллег по службе, добрых знакомых, но особенно «собратьев по перу», когда я презентую им свою новую книгу. Но — это надо только видеть, словами передать можно, не живописуя, лишь абрисно: самое невероятное, как обрезки копченой колбасы в винегрете, сочетание обиды, ведь не бумажку, на худой конец с портретом Вашингтона**, дают! с непониманием сущности странного дара, а главное — в глазах облагодетельствованного, доцент он или полный профессор, слесарь-интеллигент (как у одесских классиков), тож знающая грамоте домохозяйка и так далее по всей социальной иерархии, мечется самое полное отчаяние: да разве

---

* Еще Фрейд заметил («Остроумие и его отношение к бессознательному»), что обилие анекдотов — признак творческой эпохи. Таковы были советские 60—70-е гг. А блестящезлая ирония Достоевского с «цитатой из Ратазяева» породила в названные годы серию анекдотов по схеме: «— А не испить ли нам кофейку? — сказал граф <... далее описание действа>... А за окном ковали сталь».

...Сейчас анекдотов не сочиняют вовсе. Это и есть самый верный признак угасшего творчества...— Прим. авт.

** То есть однодолларовая купюра...— Прим. авт.

можно прочесть (даже средней толщины) книжку? Это-то попривыкши к «мыльным» телеграфным сообщениям в парутройку строк, к таковым же эсэмэскам... А главное, зачем? Ведь за труд чтения никто не даст тебе бумажку, на худой конец...— см. чуть выше. Как говорят физиологи, порочный круг патогенеза замкнулся.

Так, или примерно так, всего лишь за два десятка лет бывший массовый читатель обрел качество компьютерного мышления, сущность которого состоит в следующем. Раз выше упомянуты физиологи, то с позиции физиологии работы человеческого мозга все три главнейшие функции этой работы, а именно, базовая (подсознательная) память, логическое левополушарное и художественное правополушарное мышления, нивелируются по всем субъектам этого мышления. Как Макар Нагульнов из «Поднятой целины» советского классика рассуждал (и в точку попал, не целясь!) о будущем человечества в том смысле, что все будут одинаковыми на лицо и мысли, «смугленькими такими». По отношению к логике и художественности мышления неприменим принцип Архимеда — Лейбница: если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Хотя все по той же физиологии правое и левое полушария трудятся совершенно автономно друг от друга, лишь «технически» соединяясь так называемым мозолистым телом (в известных опытах с перерезанием такового у обезьяны, последняя особь не изменялась в поведении после этого...), но иначе как лукавством и малограмотностью нельзя не считать уверения «телевизионных авторитетов» («*В русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов*»,— Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя» за 1873 год), что-де ослабление художественности в современном человеке «компенсируется» усилением логики мышления. Нет, уважаемый имярек, ты самовольно законы эволюции не переписывай! Как в очеловечивании — в движении социальной эволюции — логика и художественность мышления всю дистанцию периода цивилизации и культуры «шли на равных», так и в обратном процессе расчеловечивания, увы, они тщатся вспять, имея один старческий посох на двоих...

♦ В компьютерном мышлении оцифрованный* мозг нивели-

---

* Ф. М. Достоевский, столь часто — и всегда к слову! — здесь цитируемый, больше всех своих великих романов гордился тем, что ввел в русский язык новое слово: стушеваться. Мы — люди скромные, но также указываем на свои (извините, назойливо повторяемся) нововведения; в частности, термины «умозамещение» и «цифрофрения», озвученые, соответственно,

руется по всем трем названным функциям. Базовая память, как уже говорилось выше в очерке, хранящая в себе все накопленное и воспринятое человеком за сознательную жизнь, с безгласным ужасом осознает свою невостребованность. Это как современный писатель. Зачем сколь-либо мощная память современному Недолайкину, если двумя-тремя нажатиями клавиш компьютера или столькими же касаниями подушечкой указательного пальца экрана смартфона он получает ответ на возникший вопрос? И это никакое не преувеличение тенденциозное, а уже сугубая обыденность. Пример из жизни всегда воспринимается нагляднее и убедительнее туманных ссылок на психологию мышления и прочие научные дисциплины, коль скоро пишем для массового читателя — уже не оговариваясь вдругорядь: а есть ли в природе сейчас таковой? Вот и пример. Из ничтожного числа читателей моих рóманов самым усердным полагал средневозрастного доцента. Он действительно читал и сейчас читает мои книги — это сразу видно по отдельным его репликам по части сюжетов и персонажей. Был я в восторге и всячески привечал столь редкую особь в современном человейнике (а в вузах «преподы» и в советское-то время беллетристикой пренебрегали, только лекции свои талдычали...). Но весь восторг ушел в бездну уныния, когда тот однажды признался: «Уф-ф! Закончил ваш роман; почти полгода читал — очень уж часто приходилось обращаться к интернету: много «непоняток» встречается».

«И ты, Брут!» — мысленно вскричал я, а самого как ушатом холодной воды окатили. Как? современный, грамотный человек, не лишенный тяги к художественному, уже без интернета не способен прочесть роман, написанный по всем канонам (грешен, не уважаю всяческих эпатажно-пиаровских вывертов) русской и советской художественной прозы?! Более тому доценту книг не даю. Да и он «повзрослел» — не просит. Так и лишился последнего читателя на горестной ноте «си» и с доминантой «быстрее, еще быстрее к компьютерному мышлению».

Полагаю, пример убедителен. Владея корпусом знаний в эволюционной и социальной биологии, а также в современной математике описания информационно-энтропийных систем, можно точно рассчитать число поколений в ряду расчеловечиваемых компьютерным мышлением, после чего у такового индивидуума базовая память остается лишь артефактом. Что и

в книгах: Алексей Яшин. Задушевные беседы об умозамещении: Роман-новеллино.— М.: «Московский Парнас», 2017.— 343 с.; Алексей Яшин. Житие наше оцифрованное: Новеллино.— М.: «Новые Витражи», 2019.— 329 с.— Прим. авт.

сделано в сугубо научной серии книг ЖМФН. Получается лишь счетное число поколений... Но ведь базовая память есть и базис (извиняемся за невольную тавтологию) литературного творчества! Вывод неутешителен: компьютерное мышление и художественное творчество несовместимы.

От ущербления при компьютерном мышлении качества и содержания базовой памяти расчеловечиваемого индивидуума переходим к логике. Очень сложно в неспециализированном очерке объяснить угнетение логики мышления в оцифрованном человеке. Поэтому ограничимся примером, но — все прекрасно объясняющем. Не только психологам, но и любому наблюдательному, самодостаточно мыслящему человеку хорошо известно: если при разговоре *vis-a-vis* все время, что называется не моргая, собеседник пристально смотрит вам в глаза, то значит... он врет. Вспомните, именно так «*лупит на вас свои зенки*» (это у Даля так сказано) продавец, пытающийся всучить залежалую китайскую некондицию, убеждая в ее замечательной высшесортности. Или начальник, заверяющий подчиненного в самом благожелательном к нему расположении...

Но мы не о «зенках», которые просто к слову пришлись, хотим сказать, а о жестикуляции руками. Опять же практикующий психиатр (или просто квалифицированный психолог), как дважды два, объяснит, что навязчивая жестикуляция руками при разговоре есть самовернейший признак... скажем мягко: логической недостаточности. Вы, читатель, злорадно вскричите: да-да, ведь женщина и пары слов не может произнести, не сопроводив их такими выкрутасами рук, особенно соблазнительно обнаженных от плеча до мизинца, что даже великий актер-мимик Марсель Марсо позавидовал бы! Не торопитесь, если даже намедни обиделись на супругу, сварившую на обед пустой борщ вместо наваристых щей с бараниной. Да, у женщин слабовата обычная, формальная логика мышления, то есть «да — нет — или», чем и гордится сильный пол. Но зато, как отметил и обосновал еще полтораста лет тому назад популярнейший тогда «разговорный философ» Бокль, женщинам, более чем мужчинам, присущ *дедуктивный* характер мышления (это как у Шерлока Холмса...), что есть вернейший признак намного более продуктивной *аналоговой логики*.* Так что мы квиты

---

* Наш друг и научный коллега Александр Иванович Субетто, президент Ноосферной общественной академии наук (СПб), всячески ратует за разработку научных основ аналоговой логики, рекомендуя и нам обратить на это внимание. Есть над чем подумать...— Прим. авт.

в части логики! Опять же таковая логика и жестикуляция слабо коррелируют, но вот обычная логика — см. выше. А теперь посвятите два-три часа телепередачам начала вечера, когда идут сплошь «разговорные» программы, и обратите внимание на руки страстных мужиков-говорунов: тот же Марсель Марсо отдыхает... Выводы за вами.

Одна *nota bene*: если среди ваших знакомых или коллег (не дай бог, родственников!) присутствует представитель достаточно редкого типа мужчин, что даже при ходьбе ни на миллиметр не пошевельнет руками, держа их строго вертикально, то — отрекитесь от такового. Полное отсутствие жестикуляций есть вернейший признак характера с набором негатива: себе на уме, подозрительность, своекорыстие, мстительность и пр. Упаси бог!

♦ Итак, логика у «компьютерно мыслящего» (в отличие от собственно компьютера, работающего строго по законам формальной логики) человека ущемлена. А раз, как сказано выше, у логики и художественности один посох на двоих, то снижение логичности мышления влечет за собой и антипотенцирование художественной творческой мысли. Опять же не станем особо умничать, но упомянем высказывание признанного авторитета эволюционной биологии Джулиана Хаксли, что-де высшие животные тоже мыслят, но не осознают этого своего качества. То есть не обладают понятийным языком, а язык — это и есть предмет и содержание логики — и сама логика, добавим мы вслед за Хаксли и выдающимся нашим философом и логиком А. А. Зиновьевым.

Оставим в стороне наших родственников обезьян, как жителей иных климатов. Но в час вечернего досуга, особенно умеренно «употребив» за ужином, посмотрите внимательно на своего домашнего питомца Ваську или Полкана. Оба они, умнó наморщив лбы, уже давно воззрились на главу домашней стаи — это для Полкана, или мирного сожителя — для Васьки. Нет, в отличии от домохозяйки, они и словом не желают упрекнуть в «горячительном» (под селедочку) старте ужина, но в их глазах прямо-таки читается желание рассказать о проведенном без работяги-хозяина дне — в форме доноса друг на друга (у хозяев научились): как Васька гулял на запретном для него кухонном столе, а вот Полкан, вскочив на подоконник, лаял на дворовую Жучку... Много чего есть поведать, но лишенный логики разум не в силах собрать донос в цельный образ и хотя бы промодулировать мяуканье и лай смысловым звукорядом. Тогда бы даже слегка охмелевший хозяин понял сущность верноподданнически докладываемого. А вот хозяйка с

ее дедуктивной аналоговой логикой все и так понимает. Но прощает шалости по извечной женской доброте...

Бредите, сударь! Это наш «поток сознания» прервал разгневанный читатель. Ведь сколько эсэмэсок можно было выщелкнуть на «компе» или «смарте» за время, что понапрасну потрачено на чтение про Ваську и Полкана. Жучку тож. Нет, уважаемый, не бредим, ибо наяву пишем, а на часах нет двух пополудни, с коих еще предыдущий губернатор наш, трезвенник и долларовый миллиардер, распорядился продавать акцизную... А на примере с преданным Полканом и доморощенным философом Васькой образно и архипонятно показана сущность (без умничанья!) хромоты — вослед за таковой у логики — художественного творческого мышления у ныне расчеловечиваемого усердием Великого глобализатора индивидуума; в нашем случае литературного сочинителя и читателя с благоприобретенным характером компьютерного мышления. То есть, *утрата логики имеет прямым следствием функциональную безграмотность*.

Опять же, стиснув волю в кулак, посидите часок-другой перед телеэкраном, выбрав программы, где телеведущая в глубоко декольтированном наряде или молодой тележурналист с модной уже третий сезон среди «патриотов» антипатриотической растительностью (стрижка с оселедцем «под хохла» и бородка на кадыке — явно под «игиловца, смелого бойца») интервьюируют... кого угодно, любого возраста, образования (по диплому лишь, впрочем), должности и рода занятий. Ну-у, например, по теме цифровой экономики, футбола, всяческих успехов во всем сразу. Теледива и молодой репортер задают вопросы заученно, потому грамматически и даже в смысловом наклонении почти правильно. Допрашиваемый же, виртуозно маневрируя сухонькими ручонками, выдавливает из себя некие слова-термины, преимущественно американизмы, кое-как связывая их междометиями и словами-паразитами: э-э-э, м-м-м, вроде как, типа того, как сейчас принято, классно и т.п. Эллочка Людоедка на таком фоне за эстрадного чтеца-декламатора сошла бы!

То есть функциональная безграмотность, как возврат эволюции от человека разумного к высшим животным (см. выше определение Джулиана Хаксли), есть потеря логики языка, который, как было сказано, и есть сама логика. Это не эвфемизм, но закольцованное определение сущности происходящего. Человек помнит набор слов, понимает этимологию каждого из них по отдельности, то есть сопоставляет с ним *образ в оперативной памяти*, но связать их в осмысленную, законченную

семантико-семиотическую, как бы сказал ученый в части психологии мышления, форму, увы, он не в силах.

Вот такого «читателя» с уже сформировавшимся компьютерным мышлением и имеет нынешний сочинитель... вдобавок, и он уже сам затронут таким поветрием.

Чтобы не запутать читателя из числа не разучившихся понимать литературные тексты, то есть знакомящегося с настоящим очерком, все же уточним выделенные выше понятия в их взаимосвязи. Человек — это не компьютер, и наоборот. Как бы ни старались современные масс-медиа убедить нас в скором наступлении «эры искусственного интеллекта», в которой, как уже говорилось выше, человек биологический и бездушная железка-пластмасса компьютера и их сетей сравняются в разуме, но это есть сущая профанация. Во-первых, законами эволюции таковой «искусственный интеллект» не достижим (см. в ЖМФН) — он был, есть и будет *только* запрограммированной человеком машиной. Во-вторых, в контексте нашей темы, действенен принцип «у больного здоровья не просят», то есть если человек может бесконечно — в разумных пределах — совершенствовать ЭВМ и их <глобальные> сети, основанные на нейропринципах, самопрограммировании и пр., в какой-то степени имитируя в их работе-вычислении свое, человеческое, мышление, то обратный ход, то есть обретение человеком компьютерного мышления, дает обратный же эффект: расчеловечивание. И все это по части законов эволюции! Дадим суммирующее определение.

То есть сущность компьютерного мышления человека заключается в приобретении им функциональной безграмотности, как следствие утраты логического мышления, то есть сведения мышления к оперированию отдельными словами-терминами с минимальной смысловой связкой между ними. В отличии от человека, компьютер вычисляет по строгой логике, заложенной при создании ЭВМ человеком, но компьютерно мыслящий человек утратил эволюционно заложенное качество опережающего самопрограммирования.

Единственное, что осталось у «компьютерного мыслителя» от человека в прежней, творческой ипостаси в том же качестве,— это оперативная, или «разговорная», память. На нее-то и перенесена вся «нагрузка», ранее парциально раскладывавшаяся на базовую память, логику и художественное мышление. Но и здесь, с учетом языкового общения, налицо смещение понятий. Несколько трансформируем известную пословицу: что у компьютерно мыслящего человека на уме, то есть в оперативной памяти, то и на языке. Но в таковой связке «оперативная па-

мять — язык» по определению (см. выше) логика мышления ущербна. Отсюда и современная формализация языка — со словарем Эллочки Людоедки, американизмами и пр. То есть слушаешь нынешнего человека и вроде как кажется: по делу говорит, суховато, но вроде убедительно, слов мало, говорятся они по многу раз... Но прослушал — и тотчас забыл, ибо не было логической увязки. Ведь формализация языка — это не логика, хотя по первоначалу таковой может и показаться. Словом, привкус жеванной ваты во рту... Или чтение нынешних газет: как «правых», так и «левых».

♦ Вот и представили облик современного «читателя-нечитателя». Заметим, что это не брюзжание, не негативизм по образцу «раньше масло было маслянее (хотя и это сущая правда!) и вода мокрее». К сожалению, все сказанное есть то же самое «ума холодных наблюдений» — см. ЖМФН, а кто нам не поверит — перечитайте величайшего провидца Ф.М. Достоевского, в отношении которого литературоведы обычно отмечают, что из его предвидений очень многие сбылись, но именно все они из числа пессимистических в отношении грядущих этапов социальной эволюции человека. С этим надо не то что смириться — законы эволюции пересмотру не подлежат! — а человек, как уже говорилось, сверхадаптивное ко всяким изменениям создание природы, но просто иметь в виду, не задаваясь в данном аспекте исконно русскими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?» С первым разобрались, а вот что делать современному писателю при наличии компьютерно мыслящей «читательской аудитории», то есть о чем же писать, в каком «наклонении» и пр.— вплоть до сокраментального: а стоит ли вообще мудрствовать-сочинять и тискать литерами все дорожающую бумагу?

...Книгоиздатели и книгопродавцы (см. разговоры в стихах с представителями этих почтенных профессий у Лермонтова и Маяковского) и представляющие их на «медиарынке» СМИ призывают мастеров словесности потакать изменяющимся вкусам потенциальных читателей. А кто, дескать, не захочет следовать девизу «чего изволите?» тот загодя избавит господ книгоиздателей от хлопот тиражирования своих сочинений, ограничившись печатанием одного экземпляра — для себя любимого.

С другой стороны, азартно следуя «чего изволите?» социальному заказу компьютерно мыслящей массы, в плане историческом легко впасть в конфуз-пассаж, триста лет тому назад случившийся с Генделем — извиняемся, опять о музыке, но ведь она тоже величайший ареал творчества,— а именно, когда он создал свою знаменитую оперу о завоевателе Египта Кае

Юлие Цезаре, написав партию римского императора специально под «заказ» — голос знаменитого тогда певца-кастрата. И вот уже три столетия постановщики оперы ищут по всему свету исполнителей с редким контр-тенором! А то и просто в декор-доспехи великого воителя полумира одевают певицу с меццо-сопрано.

Так и сочинитель «чего изволите?», написав на потребу сегодняшнего дня, уже завтра рискует быть причисленным к лику писателей из числа «ныне совсем забытых». Ведь, повторимся, социальная эволюция человечества именно сейчас, в эпоху глобализации, мчится навстречу неизвестности стахановскими темпами: сегодня массы расчеловечены до статуса компьютерно мыслящих на 10 % от прежнего творчески воспринимающего естества; поутру завтра глянь — уже на 50 %, а к позднему ужину и на все сто про́центов! Не успеешь торопиться — по женской (которые с дедуктивным мышлением...) присказке: бегу и падаю, рыдаю на ходу.

К социальному заказу еще вернемся, но сначала дадим облик современного труженика пера. Это, по преимуществу, тот, кто еще сохранил в себе отголоски — по времени недавнего — императива того же соцзаказа, главное, не мыслит в унисон с самым «блестящим» Людовиком: «*Apres moi le déluge*» («После меня хоть потоп»). Попутно, для наивного читателя, заметим: не следует путать компьютерное мышление и авторскую работу, то есть набор, редактирование, корректуру, верстку, с использованием своего домашнего «компа». Хотя, по здравому размышлению, можно сказать, что таковая технизация творческого процесса несколько отвлекает от сущности его, особенно в поэзии и драме... впрочем, может это и дело сугубой привычки. Но мы — сомневаемся, и все тут!

Такой вот «запоздавший» сочинитель, почти что из предыдущей эпохи, хотя и лет-то мало прошло, а потому еще в поре творческой активности, несет в своих душе и характере самый странный симбиоз, который на Западе формулируют известным эвфемизмом — раз уж вспомнили выше французскую мову, то вдругорядь обратимся в ней: «*Grattez le russe et vous verrez le tartare*» — «Поскребите русского, и вы увидите татарина». Нет, мы, конечно, не наших, почти что братьев татар, с которыми живем бок о бок за шестьсот лет, здесь имеем в виду, но именно то, что в современном, еще не расчеловеченном, русском образованном человеке, к каковому можно зачастую и писателя отнести, наблюдается вот этот самый престранный симбиоз — *grattez* землепашного крестьянина и... дворянина. Каждого с его характерными чертами — хотя бы и в предель-

но малом масштабе. Первое — по преимущественному происхождению; ведь все мы «от сохи» наших дедов-прадедов. А уж прадеды у нынешнего старшего поколения еще и крепостное право застали! А вот второе — от высокой советской культуры, преемственно воспринятой от величественной русской культуры же XIX века, по преимуществу дворянско-помещичьей. И здесь лидирует по глубине и ширине массового охвата именно литература. Полагаю, смысл данного разъяснения симбиоза понятен — безо всякой обиды для потомков мужика и помещичье-служилого дворянства.* ...Чтобы по-бабски тотчас на нас не ополчились, сразу скажу, что оба мои деда пахали землю, а затем в Империалистическую воевали солдатами-окопниками, правда, один из них — все в той же Франции под Верденом в составе русского корпуса, посланного «дружественной Антанте» Николаем Вторым...

Итак, таковые сочинители переходного периода от человечества к человейнику скорее пишут по творческой инерции: как разогнавшийся паровоз не в состоянии сразу дать стоп ходу.

♦ *Вернемся к социальному заказу*, отвлекаясь от категории литераторов: «переходные» ли, современные генерации... Таковой заказ определяют не цари, генсеки или президенты. Его формирует, понятно дело, социальная же среда. Советский Союз не являлся, как нас убеждают, неудачным экспериментом Истории. Это был пробный ход социальной эволюции, каковая в своем движении и есть сочетание пробных — опережающих, ложных, тупиковых, проверочных и иных — ходов (подробно см. в ЖМФН). Советский социализм — в отличии от параллельных с ним национал-социализма Третьего Рейха и Социальной (фашистской) республики Муссолини — был именно *успешным опережающим* ходов эволюции. С позиции законов ее это была проверка возможности создания жизнеспособного социально ориентированного общества-государства. С окончанием проверки магистральный путь эволюции вернулся к исходной доселе точки, выработав «решение»: путь к всеобщности такого социума лежит через глобальный переход от капитализма-империализма к социально-ориентированному всемирному

---

* Понятно дело, не имеем в виду скороспелое современное «дворянство» (из грязи в князи), оформляемое в многочисленных столичных геральдических ООО. А в Туле, и при царях-то дворянами бедноватой, вдруг взяли да и переименовали Дом офицеров, где в войну летчики «Нормандии — Неман» очаровывали на танцах местных красавиц, в Дом дворянского собрания...— Прим. авт.

социуму. То есть прав оказался гениальный прозорливец Маркс: *только всем миром*! Другое дело, что путь здесь лежит через расчеловечивающий глобализм, а грядущий Марксов коммунизм суть всемирное царство технической виртуальной реальности с приданной к нему роботомассой бывших индивидуальных людей. Опять извиняемся за «краткий курс» политграмоты — это для дальнейшей ясности.

Частнособственничество, как давний атавизм человека и существующая на нем (как мухи на навозе, извиняемся) мелкобуржуазная биомасса, несомненно, давала свой соцзаказ, от противного, как в математике, породив в литературе метод критического реализма. Но имеет ли такую потенцию глобализм, тем более в нашей стране, *искусственно-насильственно* возвращенной к названным артефактам-атавизмам частнособственничества и биомассы? Предложенный и обоснованный нами метод нового русского критического реализма (см. различные издания; в интернете — по поисковику) применим, по существу, только к отечественной литературе, которая, в отличии от Запада — Востока, еще долго будет сопротивляться, то есть не терять свои истоки. Самое существенное, что сейчас исчезает основа, базис критического реализма — классовость социума, ибо в глобализме *классы отсутствуют*. Это особенность олигархического устройства мира, что уже давно проверено во времена античности. Вместо классов — пирамида общества потребления. Надеемся, особо пояснять не следует.

Наш русский народ, особенно советский, был *творческим конструктором*; сейчас же он молниеносно перерождается в *квалифицированного потребителя*. Это даже не наши слова, а одного из (многочисленных в девяностые-двухтысячные годы) министров по части образования. По крайней мере, может и не лучшим из министров был, но сказал откровенно, с «прямотой римлянина». А какой соцзаказ может быть у преобладающей профессии «манагера» и «офисной креветки»? — Если только о преимуществе коворкинга и фрилансера, то есть работы не в конторе под надзором начальника... Но все одно манагеры и креветки читать давно разучились; точнее говоря, и не умели. Тем более, что вовсе нулевой социальный заказ будем иметь на грандиозное полотно, всесторонне показывающее безысходность человека творческого, самоосознающего в глобалистском человейнике, сравнимое, например, по мощи с показанной М. А. Шолоховым в «Тихом Доне» безысходности казачества (а в области Войска Донского тогда проживало пять миллионов!), попавшего в социально-политическую ловушку. Таковой современный писатель не то что на Нобелевскую (тоже уже глобалистскую)

премию не сможет претендовать, но даже на диплом III степени участника конкурса ЖЭУ № 17 «Наш оцифрованный двор»!

Так что, в отсутствии соцзаказа — по определению самой глобализации — остается нашему старинному сочинителю писать все для той же обнуленной аудитории по принципу артиллериста: выстрелил и забыл.

♦ *Продолжим о симбиозах*, которыми насквозь пронизана история России: от официального девиза графа Уварова «самодержавие — православие — народ» до современного неофициального, сформулированного А. А. Зиновьевым: «западнизм — советизм — феодализм (церковь)», причем советизм — это где «надо еще немного подождать, штаны подтянуть», а западнизм — постоянные ссылки в СМИ: а вот у них так-то, нам надо тотчас перенять... исключая ссылки на западные зарплаты, конечно.

Естественен вопрос: если должно нам равняться на Европу — Америку во всем (кроме зарплаты), то теперь-то в эпоху глобализма разве не спасение для русской словесности и ей *подравняться*? Немного совсем уж близкой истории. В середине семидесятых годов журнал «Иностранная литература» как-то в одночасье обрушил на неискушенного советского читателя целый ворох (условно) современной западной литературы; на памяти: «Портрет художника в юности» автора «Улисса» Джеймса Джойса, «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша, «Рыжие сестры» Франсиско Гарсиа Павона, «Кружевница» Паскаля Лэне, «Теофил Норт» Торнтона Уайлдера, «Человек-ящик» Кобо Абэ, «Черный принц» Айрис Мердок... можно еще на пару-тройку строк продолжить. А в сборнике «Писатели США о литературе» (1974 г.) и главного теоретика современной западной литературы Дж. Сантаяну опубликовали. В той же «Иностранке» напечатали «Чайку по имени Джонатан Ливингстон» молодого европейского писателя. Коль скоро других его публикаций на русском языке тогда не было, то и имя его (скорее всего псевдоним) не запомнилось. Что-то вроде Ричарда Баха. Но именно эта «Чайка» с уважительным именем и стала квинтэссенцией новой западной беллетристики. В девяностые годы у нас начали печатать и тех, кого на Западе именуют (скромно) «современные классики»: Кастанеда, Урсула ле Гуин, испанский писатель из Валенсии Хуан Хосе Мильяс.

Из чтения всех названных выше «почти современных и уже современных классиков» вырисовывается основная (и довлеющая!) творческая манера западных писателей: опять же *симбиоз реальности и вымысла*.

...Вроде как Запад, особенно Европа, давно социально-политически и экономически едины; глобализм их-то уже полностью поглотил. Но едина ли их литература, как того следовало ожидать, бесконечно пережевывая это сочетание реальности и вымысла? На первый взгляд — утвердительное «да». Читая роман «У тебя иное имя», за который Мильяс был удостоен престижной испанской премии *Nadal*, и мы как бы не выходим за стены-рамки уже и своего сектора глобализма: главный герой романа Хулио лечит простуду тем же колдрексом, что и мы приносим из аптеки; в видении Хулио (реальность + вымысел) телевизионщики устраивают реалити-шоу встречи внучки с бабушкой после многолетней разлуки (см. на наших экранах целый сонм таких телеспектаклей...). И так далее: все «родное», все стало схожим на земшаре. Пожалуй, единственное отличие от «наших палестин» — Хулио регулярно посещает «своего психоаналитика». Это скорее сходство с американским бытом, где каждый Джон имеет своего адвоката и психоаналитика. У нас же пока народ в массе головой здоров, а потом опасается всяких наименований, содержащих корень «псих», полагая носителей таковых подозрительными. «А то занесут в какую-нито картотеку, потом и прав водительских не получишь!» — вполне справедливо рассуждает добрый наш народ, опутанный суконно-цинковой бюрократией...

Но мы отвлеклись на злободневное. Читая же «глобализованный» по деталям быта роман Хуана Хосе Мильяса, «современного классика», сквозь все эти колдрексы, психоаналитиков, телешоу «Жди меня» вдруг неосознанно вспоминаешь ... «Дон-Кихота». Ни много, ни мало! Даже в нашу злосчастную эпоху глобального нивелирования *именно* в литературе нельзя заглушить ее *корни и истоки*! Точно также читая современную французскую, англо-американскую, немецкую литературу, в особенности прозу, находишь, также неосознанно, ее корни: Монтеня и Руссо, Лоренса Стерна и Шекспира, Гете и Шиллера, соответственно.

И в какой степени нам равняться во всем и всея на Запад в части словесности, имея свои корни и истоки, идущие от Ломоносова и Державина, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Карамзина (хотя бы последний испортил русский язык введением французской буквы «ё», а русскую письменную историю переписал своей «чего изволите?» под династию Романовых...), а ближе к нам и вовсе умолкаем от гордости и восторга за нашу великую русскую литературу.

♦ *О цензуре и самоцензуре*, этих извечных спутницах русского писателя, которых мы фривольно сопоставим со стро-

гой супругой-домоправительницей и игривой, но требующей бдительного присмотра любовницей (содержанкой у людей, как сейчас говорят, состоятельных), соответственно, мы уже публично *донесли*.* Кстати говоря, и собственно междоусобные доносы, так замечательно, почти что любовно описанные в «Мастере и Маргарите», доселе в ходу. Как это ни странно, когда собственно литература в забросе у властей. Обратная сторона доноса — неимоверно усилившаяся именно сейчас взаимная неприязнь литераторов; по закону Дарвина межвидовой борьбы (главное, ведь не за что и бороться-то!): все против всех. От скуки жизни, надо полагать. Ведь известно, что похвалить собрата-писателя все одно, что улыбнуться, скушав лимон или ложку горчицы. А вот в наше время — выпив стакан уксуса... Так что все это неистребимо, а главное, есть та лакмусовая бумажка, что свидетельствует: жив курилка (Ромен Роллан)! Есть еще порох в пороховницах, то есть жива еще литература. Опять же — утверждение от обратного, как в математических доказательствах.

Вот мы и добрели-таки до вопроса вопросов: о чем же писать современному сочинителю при «нулевой» аудитории читателей? Вроде как жизнь (якобы) бурлит... но скорее сродни мыльной пене в корыте, возмущенной кувшином влитого кипятка. Та же Европа полностью опидорасилась, говоря словами Никиты Сергеевича, и на Россию всем кагалом — пока словесно — плюет. Вот бы о чем рóманы тискать! Но для кого? И стоит ли вообще про Европу-то? Опять же здесь все сказал Достоевский: «*И вообще мы так поставлены нашей европейской судьбой, что нам никак нельзя побеждать в Европе, если б даже мы и могли победить: в высшей степени невыгодно и опасно. Так, разве какие-нибудь частные, так сказать, домашние победы нам они еще могут «простить»,— завоевание Кавказа например*» («Дневник писателя» за 1876 год).

Все сказал Федор Михайлович про наше нынешнее: и про «Кавказ (увы, сейчас далеко не весь) подо мною» — частная победа, и повсеместный снос (кроме Германии и Венгрии — наиболее непримеримых наших противников в войне) в Европе памятников советским воинам — «невыгодно и опасно» нам побеждать в Европе.

Так что тема Европы для русского писателя сейчас закрыта. Равно как и вся *современная история*. И зачем писать,

---

* Алексей Яшин. Салонные рамки литературы // Дон.— 2019.— № 7—9 (строенный номер).— С. 216—222.— Прим. авт.

душу рвать? Обывателю из трудовых офисных и иных масс выше горла информационного шума от СМИ. Потом — напишешь романище, облегченно вздохнешь, «...в конце письма поставив *vale*», включишь по рассеянности вместо утюга телевизор — а там в духе глобализма уже великое примирение! Живем-то все как на вулкане. Вокруг самое неприкрытое лицемерие, всякие толерантности и общечеловеческие ценности (то есть доллары и евро), а у нас еще и щедро сдобренные суконно-цинковым административным восторгом.

Опять же писать, полагая запариться, «по-европейски» (см. выше), мешая сказку-вымысел с действительностью, не всякому по нутру. Не получается по-европейски, все смахивает на рекламу презерватива, по нанотехнологиям китайцами сотворенным. Словом, «17*D*-водка оцифрованная безалкогольная»!

Вроде как чиновников-взяточников у нас поругивают, даже особо одаренных образцово-показательно в узилища препровaживают. Казалось — пиши не хочу! Ан нет, у нас опять же традиции на этот счет ограничительные. «*Отцы отечества начинаются у нас с чина тайного советника*»,— писал Достоевский, а Михаил Евграфович и вовсе понижал границу неприкасаемости до коллежского асессора, то есть майорского чина. В советские времена таковым рубежом являлся руководитель горкомхоза товарищ Саахов. Традиция!

Но ведь имеется еще история СССР, история царская? Есть и фантазии, детективное чтиво? Старинный наш сочинитель последними брезгует, женским сочинительницам отдает... История СССР? — как-то неуютно сейчас «агитировать за советскую власть». Климат не тот, а остатки традиционного советизма (см. выше) прилагают к нынешним докукам властей.

...Словом, куда ни кинь — всюду клин. Современность — информационный шум не перекричишь; опять же тема здесь архисужена: ничего, дескать, личного, только бизнес. Но писателю-то более всего эта современность приемлема, свой личный опыт. Для «пограничных» сочинителей здесь есть творческая лазейка: как Лев Толстой, что создавал «Войну и мир» спустя полсотни лет после событий Наполеоновых войн — близкое видится на расстоянии — так и наш современный писатель, одной ногой еще уверенно стоя в советском прошлом, а другой брезгливо нащупывая опору в сонме кишашей частнособственнической мелкобуржуазной биомассы, способен на творческий подвиг: окинуть единым художественным взглядом советское прошлое, ведомое ему и переданное ближними пращурами, и современное — не все же гадливо и в нем! — хотя бы свои дети и внуки. А о «партии и правительстве» пусть пишут

Юрий Мухин и Владимир Бушин; Максим Калашников и Игорь Пыхалов тож. Им дозволено условно, через тираж в тысячу-полторы экземпляров, выпускать пары.

Своя жизнь с сопричастной ей «удельной» и более пространной историей, преломляющая окружающую действительность через себя, опять же в свете исторического опыта,— наиболее устойчивая платформа современного писателя, хотя бы по принципу страуса и закрывающегося от малоприятной реальности оцифрованного жития нашего (см. сноску выше). Любой творческий труд не должен пропасть! — Это как библейские семена добрые... Была бы земля для них еще.

Мой товарищ и литературный коллега Леонид Кириллович Иванов, окормляющий Тюменскую писательскую организацию СПР, как-то заметил в своем письме: «...*Опять пишу о деревне. Наверное, никогда я не отойду от этой темы, как и ты, мой друг, никуда не денешься от своего Севера и Северного флота*». Так тому и быть, вот и сочинили повесть о советском, северном, флотском взрослении отрока Николки. «*Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишье пристав, и странник, в отечество свое пришед; так же радуется и книжный списатель, дошед конца книгам. Тако же и аз, худый, недостойный и многогрешный раб Божий Лаврентий мних...*» (Лаврентьевский летописный свод 1377 года).

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....3
Лиха беда начало, а мы пойдем с конца маячной жизни Николки.....7
Несостоявшийся нахимовец, а впереди поездка в пионерлагерь Северного флота.....17
«Мальбрук в поход собрался», или диспозиция политотдела флота.....31
Геленджик и самый сладкий виноград «солнцедар». Обожженные пятки и ужи.....46
С Седловатого на «остров мертвых».....68
Дорога с двумя переправами и через один остров на другой.....85
На море зыбит, каникулы на новом месте идут неторопко.....108
Мил черт одному сатане, или знакомство с новым островом.....124
Обряжание бани. Пекарня. Страх.....145
«Торпеда, подожди до обеда»... или снова о страхе.....156
Чужая докука — злая мука, или живи да оглядывайся.....175
Мы к вам, а и вы к нам тоже: гость с Большой земли.....190
И второй гость не заждался, или снова Новый год на маяке.....205
Гость на охоте и его любопытные рассказы из жизни.....221
За морем телушка полушка, да рубль перевозу.....237
«Какое лето, что за лето!..».....258
Не тупи ученье — потеряешь соображение.....269
Обдумай в уединении то, что узнал от людей.....287
...Опять «воспоминание о будущем», но в параллель рассказов отца о военных годах.....298
Воспитательные мысли не на сковородке готовятся.....327
Островной берег не имеет начала и конца.....347
Любопытствующим о будущем: вместо эпилога.....379

АКАДЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ»

ЯШИН
АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

СТРАНА ХОЛОДА (2):
ПОД ОПЕКОЙ АРКТОГЕИ

16+

ISBN 978-5-6045542-5-8

Редактирование и корректура А. А. Яшин
Компьютерная верстка и изготовление оригинал-макета
С. В. Никитин

Издатель: Академия российской литературы.
Издательство «Новые Витражи»
105062, Москва, ул. Покровка, 45, корп. 4, к. 10
E-mail: dauria-vl@yandex.ru; тел. +7-926-850-36-05

Подписано в печать 30.05.2021 г.
Формат бумаги 84×108 1/32. Печ. л. 18,0.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура «Akademy».
Тираж 300 экз. Заказ №
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Аквариус»
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а.
Тел./факс: +7(4872)49-73-73
E-mail: aquarius-press@mail.ru, grif-tula@mail.ru
http://www.grif-tula.ru

Алексей Афанасьевич Яшин родом из Заполярья. В числе его высших образований — Литинститут им. А. М. Горького. Член Союза писателей России (СССР) с 1988 года и член Белорусского литсоюза «Полоцкая ветвь». Автор 33 книг прозы и свыше 500 публикаций в периодике Москвы, Тулы, Воронежа, Екатеринбурга и др. городов. Главный редактор всероссийского ордена Г. Р. Державина литературного журнала «Приокские зори», член редколлегий ряда московских, белорусских и региональных периодических изданий. Лауреат литературных премий им. Л. Н. Толстого (дважды), А. С. Грибоедова, Г. Р. Державина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова, В. В. Маяковского, Александра Фадеева, Валентина Пикуля, Ярослава Смелякова, Вениамина Каверина, премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова и «Московского Парнаса»; белорусских премий им. Симеона Полоцкого и им. Вениамина Блаженного, премии им. святителя Макария, митрополита Алтайского. Награжден рядом литературных медалей, Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Благодарностью Министра культуры РФ. Кавалер орденов «Г. Р. Державин», «М. Ю. Лермонтов» и «Владимир Маяковский». Академик Академии российской литературы, член ее Правления. Литературное творчество совмещает с научной работой. Ученый-биофизик с мировой известностью. Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, доктор биологических наук, имеет два ученых звания профессора, Почетный радист России, лауреат премий Тульского комсомола (1977 г.) и им. Н. И. Пирогова (2008 г.), академик ряда российских, иностранных и международных академий. Почетный член Международного биографического центра (Англия, Кембридж). Удостоен ряда почетных наград, в том числе медалей им. А. Нобеля, В. И. Вернадского Н. И. Вавилова, И. П. Павлова, С. П. Боткина и И. М. Сеченова. Имеет академические звания «Основатель научной школы» и «Заслуженный деятель науки и образования». Почетный изобретатель Европы и Почетный деятель науки Европы (Ганновер). Биография А. А. Яшина опубликована в нескольких десятках энциклопедий и биографических словарей (Москва, Тула, США, Англия, Швейцария и др.); см. также книгу Л. В. Ханбекова «Тульский энциклопедист: Штрихи к творческому портрету Алексея Яшина» (М.: «Московский Парнас», 2008) и статью в «Википедии».